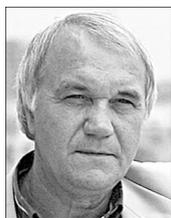


ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

НИЖНИЙ НОВГОРОД

N I Z H N Y N O V G O R O D 4 (3 3) / 2 0 2 0



АЛЕКСАНДР
КОВАЛЁВ
С-ПЕТЕРБУРГ

4



АНДРЕЙ
ГАЛАМАГА
МОСКВА

10



МИХАИЛ
САДОВСКИЙ
НИЖНИЙ НОВГОРОД

17



ДЕНИС
МАКАРЫЧЕВ
НИЖНИЙ НОВГОРОД

21



ДЕНИС
ЛИПАТОВ
НИЖНИЙ НОВГОРОД

43



АЛЁНА
БАЙКИНА
ВЫКСА

56



АЛЕКСАНДР
ГРИГОРЬЕВ
ПЕРМЬ

77



ЭДУАРД
УЧАРОВ
КАЗАНЬ

92



СВЕТЛАНА
ГОРДЕЕВА
ЧЕБОКСАРЫ

95



ОЛЕГ
ЗАХАРОВ
КОТОВО

104



МАРИЯ
БУШУЕВА
МОСКВА

108



НАТАЛЬЯ
ЕМЕЛЬЯНОВА
НИЖНИЙ НОВГОРОД

148



ОЛЕГ
ДЕМИДОВ
ХИМКИ

165



БОРИС
ПУДАЛОВ
НИЖНИЙ НОВГОРОД

195



ГЕРМАН
САДУЛАЕВ
С-ПЕТЕРБУРГ

234

16+

В НОМЕРЕ

Поэзия

Александр КОВАЛЕВ БАЛЛАДЫ О ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ.	4
Андрей ГАЛАМАГА РУСЬ-НЕДОТРОГА – НАГРАДА МОЯ...	10
Надежда СОЗИНОВА ЭТА ЖЕНЩИНА БУДЕТ СМЕЯТЬСЯ ГРОМКО...	14
Михаил САДОВСКИЙ УГНАННАЯ ДУША	17
Денис МАКАРЫЧЕВ УЙТИ СЛЕЗОЙ... А ВОЗВРАТИТЬСЯ – СМЕХОМ...	21

Проза

Вячеслав ОСОСКОВ БРАКОНЬЕР	24
Денис ЛИПАТОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	43
Алена БАЙКИНА ОЛЮШКА	56
Лев ГРИГОРЯН БЕЛАЯ ДВЕРЬ	61
Александр ГРИГОРЬЕВ ФЕЕЧКА	77
ВТОРОЙ МУЖ ВТОРОЙ ЖЕНЫ	83

Поэзия

Людмила КАЛИНИНА ОН ЗАСМОТРЕЛСЯ НА ЗВЕЗДУ...	89
Эдуард УЧАРОВ ...ВЕДЬ ПАДАТЬ – ЭТО КАК ПИСАТЬ СТИХИ	92
Светлана ГОРДЕЕВА ПЕСНИ И ПЛАЧИ ЦАРИЦЫ ПИКЕ	95
Александр САВОСТЬЯНОВ ...У ВРАТ РОДНОГО ЯЗЫКА	98
Олег ЗАХАРОВ НО ТАК ПОРОЮ ХОЧЕТСЯ НОРМА...	104

Проза

Мария БУШУЕВА ОБДОРСКИЙ СЛЕД	108
Николай БОЖИКОВ ВРЕМЯ ПРОЩАНИЯ	142
Наталья ЕМЕЛЬЯНОВА ГОРЬКИЙ	148
БАБА СВЕТА	151

Юриус МАРИЙСКИЙ	
ТЕМНОТА	153
Маргарита СМОРОДИНСКАЯ	
НЕОКОНЧЕННЫЙ РОМАН	157

Стихи по кругу

Мария ЗАТОНСКАЯ	159
Елена ФРОЛОВА	160
Мстислав ШУТАН	161
Илья КРИШТУЛ	162
Александр КОНОПКИН	163

Из будущих книг

Олег ДЕМИДОВ	
НОРМАЛЬНЫЙ, КАК ЯБЛОКО. Главы из биографии Леонида Губанова	165

Публицистика

Владимир КУТЫРЕВ	
ЕСЛИ ПОЛОЖЕНИЕ БЕЗНАДЕЖНО, НАДО СДЕЛАТЬ ВСЕ, ЧТОБЫ ЕГО ИЗМЕНИТЬ	178

Навстречу 800-летию Нижнего Новгорода: эпохи, судьбы, факты

ВЕКОВ МИНУВШИХ ШЕЛЕСТЯТ СТРАНИЦЫ... Предисловие Н. БЕНЕДИКТОВА . . .	194
Борис ПУДАЛОВ	
НУЖНО УМЕТЬ ПОСТАВИТЬ ВОПРОС	195
Протоиерей Владимир ГОФМАН	
КУПОЛА, СМОТРЯЩИЕ В НЕБО (<i>продолжение</i>).	207
Николай БЛОХИН	
КАРАНТИН ДЛЯ ПУШКИНА	211
Александр ЦИРУЛЬНИКОВ	
ВНУК НАРКОМА	221

Литпроцесс

Марианна ДУДАРЕВА	
«ИЗ ДАЛЬНИХ ДАЛЕЙ СЛОВО...»	226
Елена ВИНОКУРОВА	
РУБАНОВ. РОМАН В РАССКАЗАХ	229
Сергей КУЛАКОВ2	
КОШМАР УЛИССА	232

Далекое — близкое

Герман САДУЛАЕВ	
АСЫ И ВАНЫ	234

Александр КОВАЛЕВ

Родился в 1949 году в Донецке. Окончил Московский энергетический институт. Инженер-энергетик по образованию, доктор технических наук, профессор, академик ПАНИ. Одновременно более 40 лет профессионально работает в литературе. Поэт, публицист, автор двух десятков книг поэзии и прозы.

Лауреат премий Ленинского комсомола, имени св. блг. князя Александра Невского, имени маршала Говорова Законодательного собрания и правительства Санкт-Петербурга и других.

Член Союза писателей России. Живет в Санкт-Петербурге.

БАЛЛАДЫ О ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ

Баллада о последнем шаге

Он упал не по правилам, боком,
(так не учит военный Устав),
не дойдя до чужого окопа
только шаг из приказанных ста.

Он упал в темно-бурый суглинок,
ткнувшись в бруствер пробитым виском,
за четырнадцать верст от Берлина,
под чужой деревушкой Шварцблом.

Он упал двадцать пятого, в среду,
смяв нерусскую землю в горсти,
за четырнадцать дней до Победы,
и за пять до своих двадцати...

А с годами и место, и сроки
уточнились для целой страны:
Он упал в середине Европы
на исходе Великой войны!

Баллада о кронштадтском артиллеристе

Сашка Грач жил на станции Стрельна,
и не Сашкина это вина,
что в июньское то воскресенье
в Сашкин дом саданула война.

«Не посмеет. Слабó...» –
думал Сашка.
И отважно с зари до темна
он в то лето держал нараспашку
все четыре грачевских окна.

А она не спросила,
посмела,
все решила по-своему влёт.
И поставила Сашку к прицелу –
наводящим в кронштадтский расчет.

А потом подползла черной тенью,
отвела орудийный затвор,
и заставила Сашку по Стрельне
бить снарядами прямо в упор.

И однажды, в пылу артобстрела,
он по вспышкам чужого огня
положил перекрестье прицела
на четыре знакомых окна.

Он узнал все четыре. А рядом,
врывшись в землю у самой стены,
по растерзанному Ленинграду
били,
били чужие стволы.

И тогда он рукой онемелой,
обжигая металлом ладонь,
довернул маховик по прицелу,
с кровью выдохнув слово:
«ОГОНЬ!...»

Он кричал его хрипло и страшно,
позабыв все другие слова.
Он расстреливал дом свой вчерашний,
Сашка Грач из десятого «А».

И, наверно, от этого крика
и несказанных Сашкою слов,
в небе
огненной дамбой возникли
все две тыщи
кронштадтских стволов.

Поднялись и ударили разом
над кипящей балтийской водой,
мстя за кровь
и за боль Ленинграда,
и за Сашкин расстрелянный дом.

...В остывающем небе прогорклом
настороженный ястреб кружил,
а под ним, петель стиснутый город,
задышался и все-таки жил.

Баллада о слепом солдате

Солдат Петров не слышал о Гомере,
не ведал про судьбу его и славу.
Ему фашист в конце войны отмерил
осколок в десять граммов под Бреслау.

Дивизионный врач осколок вынул,
не лгал, не обнадежил словом лишним.
Заштопал, залатал,
перчатки скинул, сказал:
«Живой, а в остальном привыкнешь...»

И он привык.
Обжился худо-бедно.
Другой без рук, без ног,
и то – «в привычку».
А у него «очки-велосипеды» –
два синих колеса на перемычке.

А у него – ни матери в деревне,
ни женщины в Орле,
ни дяди с тетей...
Через плечо аккордеон трофейный,
а музыка – она везде в почете.

...Гремели поезда на частых стыках.
Послевоенный люд до песен жадный,
срывая глотки в хоровой до хрипа,
просил:
«Ещё-ё! Надбавь, братишка, жару!...»

И он играл, выматывая душу
из черно-белых магдебургских клавиш,
про валенки, про девушку Катюшу,
и про бои под городом Бреслау.

Потом, сойдя под Брестом или Тверью,
он пел другим про «медсестрёнку Клаву»...
Солдат Петров не слышал о Гомере,
Не ведал ни судьбы его, ни славы.

Баллада о трех процентах

Жил на свете бухгалтер Леснихин
от державных забот вдалеке,
в старом доме, на улочке тихой,
в незаметном своем городке.

Был он робок, со всеми приветлив,
был не молод – виски с сединой,
и под именем ставил в анкете:
год рождения – двадцать второй.

Жил он просто: вставал спозаранку,
ровно в восемь – в конторе не гость –
он с коротенькой орденской планкой
пиджачишко свой вешал на гвоздь.

В нарукавники синего цвета
он привычно влезал всякий раз,
и высчитывал точно проценты,
и сводил аккуратно баланс...

Но однажды с рябой киноленты,
полыхающей с белой стены,
он услышал о страшных процентах
– трех процентах,
пришедших с войны.

А с экрана – наотмашь по нервам
– голос все уточнял, как живой:
...Год рождения – двадцать первый.
Год рождения – двадцать второй.
Год рожденья...

То цепко, то зыбко
цифра билась, впивалась в висок:
– Три процента?
Нет-нет, здесь ошибка.
(Он ведь знал в арифметике толк.)

Одиноко над стареньким фото –
тридцать три позабытых лица –
вновь и вновь вспоминая кого-то,
он всю ночь просидел до конца.

– Ваня, Миша, Алеша – наш выпуск,
весь десятый... –
но билось в виске: –
Если я в этом крошине выжил,
значит вы... Неужели вы все?..

Он не верил:
Здесь явно – ошибка.
Он исправит, найдет ее сам.
Он звонил и спрашивал хрипло,
слал запросы по всем адресам.

Но безжалостно, непоправимо
приходил за ответом ответ:
Миша Волков – у Старого Крыма.
Под Моздоком – Иван Пересвет.
Леша Громов – 20 марта,
за Дунай, на исходе войны...

.....

Ничего не исправил бухгалтер,
лишь добавил вискам седины...

В городке неприметном и тихом,
с полинявшей на солнце листвой,
проживает бухгалтер Леснихин.
Вы, возможно, встречали его.

Он живет в двух кварталах от центра,
в старом доме над сонной рекой.
Он из тех, он из тех трех процентов:
год рождения – двадцать второй.

У ворот Бранденбургских (баллада совести)

У ворот Брандербургских –
шельмоватый оскал –
парень нашенский, русский,
ордена продавал.
По серпаستому флагу
в тротуарной пыли –
и медаль «За отвагу»,
и медаль «За Берлин»...

На каких пепелищах
самой гордой из стран
у забытых и нищих
обменял на стакан?
Разве кто-нибудь взыщет,
разве плюнет в лицо?
Разве кто-нибудь сыщет
безымянных бойцов?

На прилавках блошинных
был товар хоть куда –
тормозили машины,
шли пешком господ.
Кто – матрешку, кто – дудку,
Кто – с лампасом штаны –
Вона, сколько придурков
из великой страны.
Бойко, весело брали,
за бесценок, за так.
Только вот на медали
не клевали никак.

Спроса нет на «Отвагу»,
спроса нет на «Берлин».
И мрачнел, бедолага,
курской матери сын. –
Мол, промазал с товаром,
пролетел, дуралей...

Но взревел над базаром
многосильный «Харлей».

Осадил рядом с флагом,
в черной коже спина,
лапой в кожаной краге
нагло ткнул в ордена,
бросил русскому деньги
и, смеясь, приколот
к черной коже, где тенькал
крест за город Орел...

А вокруг копошился
муравейник людской.
И от счастья светился
недоумок курской.
Торговались Урал,
и Рязань, и Ухта.
И никто не сгорал
от тоски и стыда.
Не шептал, виноватый
вселенской виной:
«Что ж ты сделал, Горбатый,
со своею страной?!»

1990 г.

Победа, что осталась с нами

Время вымывает имена,
память поколений гложет плавно.
И уже Великая война
кажется далекой и не главной.

До конца дописана глава,
до седин торжественна окрестность,
и еще так правильны слова,
но фальшивят чуточку оркестры.

А над миром новая весна
пишет жизнь своими письменами...

И уже Великая война,
а за ней Великая страна,
что-то вроде дня Бородина –
кажется, была совсем не с нами.

Андрей ГАЛАМАГА

Родился в 1958 году в Воркуте, школу окончил в Киеве. С 17 лет живет в Москве. Окончил Литературный институт им. Горького, семинар поэзии Э.В. Балашова. Работал в журналах, в издательствах, в типографии, в театре.

Автор пяти книг стихотворений, пьес, киносценариев. Дважды лауреат международного фестиваля «Пушкин в Британии». Лауреат фестиваля «Русские мифы» в Черногории и ряда других российских и международных фестивалей и премий. Член Союза писателей России.

РУСЬ-НЕДОТРОГА – НАГРАДА МОЯ...

Пейзаж

Полмира объехав без дела,
Поймешь, что полжизни отдашь
За русский пейзаж черно-белый,
Березовый зимний пейзаж.

На дальнем пригорке деревня,
Сороки пустились в полет,
А рядом, меж редких деревьев,
Охотник с собакой бредет.

Петлянье дороги окольной,
Следы лошадиных подков;
И темный шатер колокольни
На фоне сплошных облаков.

Мой друг, путешествий любитель,
Меня перебьет, в простоте.
Он где-то подобное видел.
В Германии? в Польше? в Литве?

Пейзаж этот больше фламандский.
Вот Брейгель, типичный пример.
Подумаешь, кончились краски.
Остались бы уголь да мел!..

В Антверпене не был я в жизни
И спорить теперь не готов.
Но вдруг этот Брейгель Мужичкий
Был родом из наших краев?

Согласен, что это абсурдно.
Но что если я не один?

Вдруг так же считают подспудно
Датчанин, француз или финн?..

Уютно чернеют домишки,
Со снежной зимою в ладу,
И черную шайбу мальчишки
Гоняют на белом пруду.

Смерть Булгакова

Стеклянная расплывчатая муть
Колышется над скомканной постелью.
Седьмую ночь я не могу уснуть,
С рассудком разлучаясь постепенно.

Ни свет, ни тень – лишь отблески в окне;
Потухший взгляд заволокло от боли.
Я обречен на то, чтобы на мне
Исполнилось проклятье родовое.

Я никогда так прежде не страдал,
Все тело будто бы сжимают клещи.
Так мой отец когда-то умирал,
Точь-в-точь как я, безвольный и ослепший.

Я изможден, не вешу и полста;
Без сил обвисли руки, словно плети.
Но на вопрос: «Похож я на Христа?» –
Никто из близких даже не ответил.

Им кажется, что я уже погиб.
Но даже если я вот-вот умолкну,
Из горла вырывающийся хрип
У них в ушах останется надолго.

Я жду, быть может, жар спадет к утру,
Хотя и не могу понять, – зачем мне.
Я точно предсказал, когда умру,
Но знание не дарит облегченья.

Будь я уверен в том, что там – покой
Иль пустота – ни ночь, ни день, ни вечер,
Я бы легко на смерть махнул рукой.
Подумаешь! Никто из нас не вечен.

Но эту сказку я придумал сам,
И в этот час она совсем не к месту.
Кто знает, что нас ожидает там?
Страшна не смерть, пугает – неизвестность.

И вот беда, – будь ты стократ речист,
Там каждому в его воздастся мера.
Я не агностик и не атеист,
Мой ужас в том, что не могу не верить.

Меня предупреждали много раз,
Но я не слышал в гордом ослепленье;
И тем, что многих малых ввел в соблазн,
Я путь себе отрезал к отступленью.

Словами покаянного псалма
Шевелятся запекшиеся губы.
Что ж, свой исход я заслужил сполна.
Пора на суд, а дальше – будь что будет.

* * *

Нечаянно родившись заново,
Я снова начал этим летом
Читать Георгия Иванова
И спать с невыключенным светом.

Таилась в оболочке будничной
Непредсказуемого завязь;
По сретенским невзрачным улочкам
Мы шли, ладонями касаясь.

Там, где случайного прохожего
В урочный час не чаешь встретить,
Лучей причудливое крошево
На нас раскидывало сети.

Жара под крыши горожан гнала;
Но ты, без преувеличенья,
И в зной казалась краше ангела,
Увиденного Боттичелли.

И облака – благие вестники –
Струились высью голубою
От Сухаревки до Рождественки,
Благословляя нас с тобою.

Одесса

Но поздно. Тихо спит Одесса.
А.С. Пушкин

...Но поздно. Тихо спит Одесса.
Погас закат. Затих прибой.
Пора бы, наконец, домой;
Расслабиться, переодеться.

Зеркальная луна, как ртуть,
Переливается у мола.
Тревожный скрежет богомола
Мне снова не дает уснуть.

И вдруг я выбреду спонтанно,
Словно в арт-хаусном кино,

Туда, где жил давным-давно –
На Пятой станции Фонтана.

Все тот же дом. Все тот же век.
Гляжу сквозь сомкнутые кроны –
Где в верхнем этаже, не тронут,
Ждет неухоженный ночлег;

Где, словно от тоски лекарство,
Светильник тусклый над столом
И Пушкина старинный том –
Издания Адольфа Маркса.

Дуэль

От чистого сердца – до чистого снега
Протянут багряный рассвет; без огня
Клонится свеча; в предвкушении бега
Конь пробует землю; на хрупких санях
Ямщик дожидается, тускло уставясь
На вытаявший из-за сосен кружок,
В котором колышется, вширь разрастаясь,
Продрогшее небо. Как будто прыжок
Готово уже совершить из укрытья
На свадебный поезд; и кто-то седой
По склону взбегает с недюжинной прытью
И тут же, склонившись, трясет головой,
И сыплется иней. И все это длится
От силы какой-то десяток минут.
И снег под ногами скрипит и искрится,
И черное тело вдоль речки несут.

Тишина

Дождь неуклюже накапливает,
Воздух пронзительно тих;
Редкое небо проглядывает
Меж облаков кучевых.

Роща скромна, словно девственница,
Галок и тех не слышать;
Молча березы советуются,
Как бы им день скоротать.

За ежевичною изгородью
К шелковой ели прильну.
Лишнего слова не выговорю,
Чтоб не спугнуть тишину.

Русь-недотрога – награда моя,
Вдруг невзначай в тишине
Тайна твоя неразгаданная
Чуть приоткроется мне.

Надежда СОЗИНОВА

Родилась на Бору, Нижегородская область, училась в профтехучилище по специальности повар-официант судовых ресторанов. Работала на грузовом флоте, ушла в торговлю, снова вернулась в общепит. Заведующая школьной столовой в городе Ветлуге.

Публиковалась в альманахе «Земляки», в общих сборниках издательства «Перископ». Лауреат Всероссийского конкурса «Поэзия русского слова», дипломант фестиваля «Музыка сердец».

ЭТА ЖЕНЩИНА БУДЕТ СМЕЯТЬСЯ ГРОМКО...

* * *

Эта женщина будет смеяться громко,
Так заливисто, как бы не над собой.
Она может начать и закончить скомкав –
У неё в голове незначительный сбой.

Ей бы небо пошире, людей без фальши,
Чтобы в небе том с нею могли летать.
Ну а дальше, возможно, придумав дальше,
Она сможет, как все, от мечты устать.

Сможет, сгладив углы, расчертить параллельно
Все маршруты, что выбраны для неё,
И, шагая по ним, напевать акапельно
В прошлых жизнях услышанное старе.

Её туфли избиты до неприличий,
В старой кофте карманы: дыра на дыре.
Нет и тени стыда посреди безразличий
При такой натуральной актёрской игре.

И когда скажут «Снято! Закончена съемка!»,
Забросают гвоздиками наперебой...
Эта женщина будет...
Смеяться громко...
Так заливисто, как бы... не над собой.

* * *

Спряталось счастье за маленькой дверкой,
Жметесь испуганно к старенькой печке,

Холодно в комнате, под этажеркой
Дремлет отчаянье в тихом местечке.

Страшно-то как... Вдруг от шума проснется –
Там, за той дверью – ветра и метели.
Тикают ходики... пусть не вернется
Всё, от чего затихают капли.

Тянется счастье к теплу и покою,
К медленной музыке из патефона,
К белым молочным усам над губою
И землянике лесной из бидона...

Хочет вышагивать в дождик по лужам,
Шлепать босыми ногами до всплесков,
Быть веселящим, простым, неуклюжим
Шепотом стихшим среди перелесков.

Зябко. И в печке дрова прогорели.
Что-то живое осталось в сердечке,
Спряталось счастье, найти не успели...
Вместе с отчаяньем, в тихом местечке.

* * *

А он какой-то был простой, не замороченный:
Работа, дом, на пару с псом кефир просроченный,
Колечко дыма в потолок – забавы детские,
Журнальный столик, молоток, орехи грецкие...
Он и не знал, что будет так, но вот свалилось вдруг –
Глазищи хитрые, заноза, хрупкость детских рук.
Засела где-то под ребром, попробуй вынь теперь...
А он всю жизнь её не ждал, держал закрытой дверь.
Она сносила всё с петель, зараза рыжая!
Такая терпкая, пьянящая, бесстыжая...
Прошла по комнатам, как недоразумение,
Сорвав с орбит, не дожидаясь приглашения.
Втирая пальцами в себя живую грешную,
Уничтожал с неё губами тьму кромешную...
Он всех богов благодарил за то, что было сном:
Пусть остаётся пёс, орехи, утро за окном,
В привычной гамме – «Никому и никогда не верь»,
Как будто он и не заметил, что не запер дверь...

* * *

Это неправильно: я не должна быть сильной,
Жёстко, расчётливо всматриваться в штрихи,
Их прорисовывать белым, ручкой чернильной,
Помнить о прожитом, не совершать грехи.

Я не должна этот мир понимать вербально,
Пряча эмоции в ими набитый шкаф,

Задним числом поумнеть – это ненормально,
Пользоваться четырьмя из семи октав.

Мне бы совсем немного от милых и слабых,
Кем-то всегда закрытых большой спиной,
Забыть однажды о звании сильной бабы,
Самодостаточной женщины... битой судьбой.

Мне бы ещё... но впрочем... всего в достатке.
Есть даже то, что слишком, но пусть уж так:
Бьющая жизнь ключом, а в сухом остатке –
Хрупкие пальцы сжаты в стальной кулак...

* * *

Собираю себя по ожившим кускам:
Было время, когда раздавала.
Не хватает сердечности, нежности грамм...
В плюсе желчь... её было так мало...

Мыслей хвост – не моё, подцепила от тех,
С кем носилась по ширям и далям:
В голове тогда ветер сквозил из прорех,
Музицируя новым сандалиям.

Нет размазанных граней: надменная бровь,
Исключительно острое зрение,
И уже не способна принять за любовь
О себе подогретое мнение.

Нужно всё растерять или снова найти,
Размечтаться и и втрескаться в вечное.
Всё же где-то должны быть на этом пути
Красота и тепло человеческое...

Михаил САДОВСКИЙ

Родился в 1955 году в городе Богородске Нижегородской области. Окончил историко-филологический факультет Нижегородского госуниверситета им. Лобачевского. Преподаватель высшей категории в Нижегородском автомеханическом техникуме.

Печатался в изданиях «Литературная газета», «Литературная Россия», «День литературы», альманахах «Академия поэзии», журналах «Нижний Новгород», «Невский альманах». Автор книг «Жизнь», «Мы с тобой обнимались снами».

Живет в Нижнем Новгороде.

УГНАННАЯ ДУША

* * *

Завизжат по-собачьи радостно тормоза.
Машина преданно лизнет колени.
И словно фары, ослепят любовью глаза...
Забубенная колея оперившегося поколения...

Путь неблизкий, да сутью близкая.
Бросив принца, бросаешься на короля.
Обнимет юная автомобилистка
Вас наподобье руля...

Сердца забьются, как взбесившиеся «дворники»,
Уставши от предательства и мусора.
Когда поэты уходят в затворники,
К реалу жизни возвращает муза.

Обдашь ресницами жеманными, как веером:
Дикой свежести ягодной красотой.
И мне доверившись, в себя поверила –
Верой наполняется бак пустой.

...Ах, непутевая путевая, что ты во мне нашла?
Что я в тебе нашел?
Щебечешь про свои дела,
И все так искренне и хорошо...

«Люблю, «твоя помощь», «послушай» –
Пониманьем спрессованные времена...
А умчит она, не оглянувшись,
Будто в будущее устремлена.

Обида

Владимиру Шемшученко

Что за страшный сон мне привиделся:
Ты обиделась на то, что я обиделся...

И, словно космонавт вокруг орбиты,
Наматываешь витки обиды.

С парашютом обиды тебя увижу я:
Снижаешься с неба, обиженная.

Шли по улице двое, горем убитые.
Называется: обнимались обидами.

И желанья, и чувства отбиты –
Искупались в биде обиды!

Телефон от обиды зловеще умолк:
Обида знает в молчании толк.

(Даже маленькая обидка –
Такая пытка!)

Все, красавицами отбритые,
Надуваются, словно лягушки, обидами.

Друг, увидимся летом на Свитязе?
«Свидимся, если не обидимся».

А утопленник, с камнем обиды,
Прощается: «До не увижу».

Сбежал из дома – только его и видели –
Сынок обиделся на родителя.

Родитель обиделся на сыночка –
Пьет беспробудно вторую ночьку.

Невероятная веха века –
Зарплата обиделась на человека.

Человек обиделся на зарплату:
Будь неладна ума палата...

«Памятники снесли которые...» –
Идиоты обиделись на историю.

Обиделись на улицу. Переименовали.
Память – сено на сыром сеновале.

Президент обиделся, обиделась кухарка...
Обида фосфоресцирующе благоухала.

Обиделся правитель на правителя,
Того в свою очередь жена обидела.

От обиды – цунами волна?
Правитель обиделся – значит, война?!

Планета от нашествия обид
Слетает
с орбит...

Лишь прикрытые могильными плитами
Не отягчены обидами.

И еще один (пиит)
Мучается, не спит.

«Гвозди бы делать из этих людей –
Не было б в мире обидных идей.

Не к лицу нам обиды ливрея:
Разве есть обижаться время?!

Жизнь как сосулька – дзинь! –
Обиделся – и пролетела жизнь.

Обида есть производное недо-
Понимания. Но это не наше кредо!

Поэт – всегда! – подсознательно
Носитель безобидного знаменателя».

Всё грезит и грезит (на то и пиит!)
О любви,
не зна-а-а-ающей обид!

Городской мотив

Ярославу Каурову

Как фальшивая нота в песне:
Потерял себя – словно это не я...
Благостное, снизойди, равновесие,
Что иначе зовётся – гармония.

Ангел суетности, городской подранок,
Расхристанной планиды версия,
Узник кафешек и ресторанов,
Тишине, словно Богу, доверься.

Есть у жизни сила целебная –
Благословенный час одиночества.
Обнимаю руками небо я,
Словно в небо взлететь так хочется...

Голые рощи ранневесенья,
Эти озёра в бурном разливе,
Даруют сладостное спасение –
Вдох любви бесконечно счастливый!

Женская осень

Ушла (а лелеется, чтоб вернулась!
Но в признаньи не разомкнутся уста)
В прошлое баснословная юность,
Равновеликая явлению – Красота.

Годы доверчивые облетели,
По-блоковски платьем шурша...
Но осталась (обзавидуйтесь, все модели!)
Тайная Красота – Душа.

Душа моя

Очами светлая. Иконописна ликом.
Любимая. Возможно ль быть любимей?!
«Душа моя... моя душа» – окликну. –
Исчезла на манер автомобилей...

...Нас уносят небесно-звездные трассы,
Тоскою вселенской сквозит пустота гаража.
И летит, летит в мировом пространстве
Моя угнанная душа!

Денис МАКАРЫЧЕВ

Родился в 1978 году в Горьковской области. Окончил кораблестроительный факультет НГТУ по специальности «Энергетические установки» с квалификацией «Морской инженер». Работает в Опытном конструкторском бюро машиностроения им. И.И. Африкантова. Участвовал в строительстве Ростовской АЭС, АЭС «Тяньвань» (Китай), АЭС «Куданкулам» (Индия), интеграции АЭС «Бушер» (Иран), поддержке жизненного цикла Балаковской АЭС, АЭС «Козлодуй» (Болгария), Армянской АЭС.
Живет в Нижнем Новгороде.

УЙТИ СЛЕЗОЙ... А ВОЗВРАТИТЬСЯ – СМЕХОМ...

Перевал

На перевале – ночь.
Сегодня будет пурга.
Тех, кому уже невозможно помочь,
Здесь надежно укроют снега.

На перевале – тишь.
За перевалом – гроза.
Под сенью сырых недоверчивых крыш
Снова мироточат образа.

С неба смывает дождь
Ненужный тяжелый смог
Недоволенных потуг и надежд,
Пыль недопроторенных дорог.

Где-то шумят ветра
Новых гремучих идей:
По старой привычке болит голова
У вчерашних воров и судей.

Небом правит покой.
В небе царит тишина,
Ведь переплелись далеко не впервой
Наши вечные мир и война,

А на перевале ночь.
Недавно была пурга.
Фатальных ошибок людских сутолочь
Вновь надолго укрыли снега.

* * *

Я четверть века наблюдаю за страной,
 Вцепившись в карандаш с клочком бумаги,
 Где всё течет и изменяется под бой
 Курантов и приспущенные флаги...

Я четверть века разговариваю с тем,
 Кто исподволь беседует со мною,
 В обыденности сопричастных наших тем
 Тая обман, что в диалоге – двое...

С корней заряжен составлением слогов
 В слова, не объясняющие много,
 В немых попытках мотивации основ
 Не находя решающего слога...

Я двадцать лет уже мотаюсь по Земле,
 Порой, до той черты, пока не грянет,
 Чтоб обнаружить на своем пустом столе
 Лишь строчки о местах, куда так тянет...

Я четверть века наблюдаю за страной...
 От чувства безысходности – светлея...
 Страной, которая, как женщина, со мной
 Лишь оттого, что я навечно с нею...

Не всерьез

Занесло...
 Все дороги, которых нет
 И с горошину – белый свет
 Неба синего бирюза –
 В пелене...
 Замело...
 Как дорогу сыскать?
 То ли в крест, то ли в мать
 То ли где-то украсть
 То ли правду найти
 В полынье...

Не всерьез...
 Неужели настолько нас много
 Что не делим мы жизни дорогу
 И дорога
 Разве ж у нас не одна?
 Не всерьез...
 Разве ж матери нас не рожали
 Одинаково все не мечтали
 Не любили, не жили, не помнили
 И Родина нам не нужна?

Было слово такое «совесть»
 Но это отдельная повесть

Кроме слова «бабло»
Слышать нам запахло
Так куда же нас всех занесло?

То ль вокруг полумгла
То ли застит глаза
То ли все мы как водится «За!»
Или пыльно, иль душно
Иль кто-то сказал
И усталились все в образа...

Замело...
Чует сердце, и пес воет волком –
К беде...
Замело, говорю!
Занесло!
А мы, собственно, где?

* * *

Правда
Вера
Горечь
Совість
Не подписано никем
Вятка, волны
Полуповесть
Ворох мыслей
Горсть проблем
Будни
Тризна
Поминанье
Якорь
Корни
Как всегда
Бабье лето
Мирозданье
Непогода
Провода...

* * *

Кровавою кленовою листвою
Уйду, отсуевившись сентяблями,
Лишь буду помнить, что я где-то – свой
Лишь буду знать, что я когда-то – с вами...

Мой дом, моя мечта, моя печаль
Останутся напоминанья эхом.
Опять не получается, а жаль...
Уйти слезой...

А возвратиться – смехом...

Вячеслав ОСОСКОВ

Родился в 1966 году в Горьком. Окончил Горьковское высшее зенитное ракетное командное училище ПВО, после службы работал в нижегородских издательствах. Заядлый охотник, главный эксперт межрегиональных соревнований маньих птиц. Печатался во многих изданиях, автор книг по охоте.

Живёт в Нижнем Новгороде.

БРАКОНЬЕР

Пепельный свет зимнего утра робко пробирался по лесу, обозначая полянки и тропинки, не спеша продираясь через густые сплетенные верши кустарников. Он подолгу задерживался перед нависшими над снегом мохнатыми еловыми лапами, словно боясь заглянуть под них, в пугающую темноту. Под огромными, почти в два обхвата дубами, протянувшими друг к другу крючковатые корявые ветви, снег был перепачан, словно в этом месте кто-то прошелся по нему плугом. Виднелись комья еще не успевшей схватиться морозом бурой земли, перемешанной с грязным снегом и прошлогодними резными листьями, утратившими золотой блеск давно забытой осени, оставшейся где-то там, далеко, за холодной снежной пеленой. Цепочки острых вилочек кабаньих следов соединяли те места, где порои были особенно глубоки – словно воронки, оставшиеся после бомбежки. Две лайки-западницы, покругившись по «пахоте» и жадно вдыхая мокрыми «кожаными» носами крепкий дух кабаньего стада, на махах ушли в лес по борозде, оставленной десятками сильных кабаньих ног.

Из-за поворота лесной дороги показались два охотника на широких коротких лыжах. За плечами – ружья и линиялы армейские вещмешки. Короткие овчинные полушубки туго подпоясаны патронташами, в ячейках которых тускло поблескивают латунными доньшками гильзы снаряженных патронов. Лица людей покраснели от быстрой ходьбы. На воротниках и по краям сдвинутых на затылок ушанок седой налет инея. Подойдя к месту кабаньей жировки, они внимательно осмотрели следы и, недолго посовещавшись, разошлись в стороны. Один углубился в лес по кабаньей тропе, другой – почти параллельным курсом двинулся по просеке, уходившей куда-то вдаль широким белым коридором...

Крепкий наст хорошо держал собак. Лишь на относительно чистых местах лайки проваливались по самые спины. Кабанам приходилось значительно труднее. Звери глубоко увязали в снегу. Первым бежал огромный старый секач. Он, словно корабль, бороздил холодный снежный океан. За ним поспевала матка и несколько подсвинков. Уже через несколько минут погони лайки настигли стадо на краю мелкого густого ельника. Серыми тенями кинулись они наперерез бежавшему последним небольшому подсвинку, стараясь не дать ему уйти в чапыгу. Почти по самые уши проваливаясь в снег, обезумевший от страха кабанчик, тоненько повизгивая, из последних сил рванулся к еловому частоколу, но матерая зверовая сука, испытавшая много на своем собачьем веку, одним прыжком оказалась у него на пути. В следующий момент мощные челюсти сомкнулись на морде подсвинка, словно тисками сжав чувствительный, нежный пяточок. Молодой рослый кобель, также не раздумывая долго, вцепился поросенку в заднюю ногу. Послышался отвратительный хруст кости, и округу огласил полный боли и дикого ужаса визг.

Будто таран, вылетел секач из чапыги, пробив насквозь сомкнутые ряды молодых елочек. С треском сломался подвернувшийся ему на пути бородавчатый куст бересклета. Кабан мчался вперед, на помощь, все сметая на своем пути. Несмотря на азарт сражения, лайки тем не менее были начеку. Серыми шарами отскочили они в сторону от подсвинка, спасаясь от ураганной атаки вепря. Зверь остановился на месте схватки, злобно рвякая и вращая налитыми кровью маленькими злыми глазками. По его телу пробегала нервная дрожь. Молодой кабанчик, шатаясь, волоча ногу и беспрестанно визжа от боли, скрылся в ельнике, а опомнившиеся от смятения собаки, захлебываясь в злобном лае, с двух сторон начали приближаться к секачу. Болезненные хватки собак следовали одна за другой. Зверь вертелся на месте огромным черным вихрем, поднимая столбы снежной пыли, подминая под себя кусты и ломая молодые тоненькие деревца. Он лязгал клыками, пытаясь достать вертких противников. Из его приоткрытой пасти валил пар и слетали хлопья белой пены.

Собаки, отплеываясь от длинной кабаньей щетины, забивавшей им рты, ловко уворачивались от смертельных выпадов вепря. Пока одна отвлекала внимание кабана, злобно, взмахнув, лая на зверя спереди, но четко сохраняя безопасную дистанцию, другая молниеносно хватала секача за заднюю часть его туши. Наконец, оберевая свой зад от обжигающих укусов лаек, кабан, улучив момент, кинулся к большому выворотню ветровальной сосны. Здесь, прислонясь к нему задом, он обрел безопасность и защиту от острых собачьих зубов. Сам же, вертясь волчком, делал молниеносные выпады, пытаясь достать своими кинжалами клыков надоедливых псин. Первым за ненужную в этом случае отвагу поплатился молодой, неопытный Байкал, смело бросившись зверю прямо в ноги. Последовал быстрый разворот туловища, неуловимое движение головой, лязг сомкнувшихся десятисантиметровых клыков, и кобель, жалобно скуля, отлетел на несколько метров, ударившись о ствол сухой березы с обломанной вершиной.

Визг подсвинка и заголосивших на одном месте собак охотники услышали одновременно. Путаясь лыжами в кустах, обходя буреломы и гущины, они поспешали к месту схватки с разных сторон. Лай все ближе. Полный боли визг собаки. Быстрее! Еще быстрее! Кровь стучит в висках. Горло сушит хриплое дыхание. Металлический привкус

во рту. Розовые, зеленые и желтые круги перед глазами, словно пятно на тонкой масляной пленке. Соленый пот щиплет глаза. Ветер, мороз, и напряжение сил выбивают слезу. Всё! Уже рядом! Вон, за деревьями, неподвижное расплывчатое темное пятно и скачущий вокруг него сгусток серого утреннего тумана. Еще пару десятков шагов. Теперь за дерево. Дальше нельзя. Чуть отдышаться. Ружье в руки, рукавицы в снег. Предохранитель снят. Ну и здоров зверь! А как Зайка его держит! Молодчина!

Кобеля нигде не видно. Наверное, конец – пропал пес!

Приклад в плечо. В левом – картечь. В правом – пуля. Только пулей, чтобы не зацепить собаку. Мушка чуть ниже плеча зверя. Выдох. Палец плавно жмет на спуск... За мгновение до грохота выстрела кабан увидел охотника и, не обращая внимания на собаку, бросился прочь. Лайка, прекратив облаивание, отпрыгнула в сторону, и охотник услышал звонкий стук и вой рикошета ударившейся о мерзлое дерево пули. Зверь, подстегнутый выстрелом, замелькал между соснами. Собака – следом. Послышался выстрел откуда-то сбоку. Зверь сунулся мордой в снег, но тут же вскочил и, развернувшись на месте, словно танк, бросился на охотника, по пути скинув с себя повисшую на его боку собаку, хлестко ударив ее об дерево. Собака вскочила и, поджав хвост, жалобно поскуливая, хромя, на трех лапах заковыляла обратно своим следом... Черная машина смерти неумолимо приближалась. Двадцать шагов. Пятнадцать. Десять. Выстрел... Нет, вместо него жалкий сухой щелчок! Осечка! Два шага до зверя, и отвратительный запах неубранного свинарника. Все! Конец! Конец... В последнее мгновение охотник попытался отпрыгнуть в сторону, но упал на куст, упругие ветки которого, словно пружина, бросили его прямо на окровавленную морду вепря. Ногу обожгло словно кипятком, и вдруг все вокруг перевернулось, закружилось в диком хороводе и пропало, провалилось в черную пасть бездны...

Человек открыл глаза, и увидел прямо перед собой лицо своего друга – бледное, все в крупных каплях пота. А еще он почувствовал, как что-то теплое, влажное и такое приятное, касается его шеи и подбородка. Две лайки, тихонечко посвистывая носами, лизали его лицо. Кругом были друзья. В стороне лежал его грозный противник – вепрь, погибший как настоящий боец и отправившийся сегодня в «страну вечной охоты».

Часть 1

Роковое место минувшей охоты вызвало шквал воспоминаний, прокрутившихся в памяти, словно кадры кинофильма. Сашка поморщился и открыл глаза – не было ни разъяренного вепря, несущегося на него, ни стылой январской мглы, ни жгучей боли в разорванной ноге. Осень уже вошла в ноябрь. Хмурые промозглые утренники сменялись мокрыми холодными днями. Уремы распахнулись, стали просторнее и грустнее, пусто и тихо сделалось в чернолесье, краски ушли бесследно, и лишь вечнозеленые сосны и ели урманов хвастались своими пушистыми нарядами. Лес засыпал, уходил в забвение до будущей весны.

Неподалеку в соснячке раздался призывный лай Зайки. Сашка, не обращая на него внимания, поставил полупустую корзинку на землю, достал нож и стал аккуратно срезать уже отходившие зеленухи. Он спокойно, не отвлекаясь, дорезал грибное семейство, огляделся вокруг

и только после этого пошел на голос помощницы. Его ноги мягко ступали по ковру старой выцветшей хвои, он, как рысь, скрадывающая добычу, мягко и осторожно продвигался, прикрываясь еловой молодой. Свою Заю, белую с серыми подпалинами западносибирскую лайку, Сашка увидел шагов за пятьдесят. Собачка, задрав кверху умную клинообразную мордашку, сидела и как бы без интереса, с паузами, отдавала голос на большую раскидистую сосну. В том, что Зая работала мошника, охотник не сомневался. Он сделал еще десяток бесшумных шагов, поднял глаза и увидел в пышной кроне могучего дерева черную птицу. Правский раменный глухарь затаился на самой макушке и с любопытством, водя ярко-алыми бровями, рассматривал остроухого зверька. Сашка опустил корзину и громко хлопнул в ладоши, на что петух тяжело и беспокойно захлопал крыльями, снялся с вершины и исчез в хвойной гущине.

Лайка, проводила глухаря разочарованным взглядом и, недовольно поскуливая, потрусила к хозяину. «Что, Заюшка? Опять мы с тобой без добычи? Ну, ничего, ничего – все ещё выправится». Сашка присел на мшелую валежину, потрепал за ухо свою любимицу, достал папироску и задымил.

Александр Столяров уже второй сезон не брал в лес ружье. Угодья, в которых стояла его деревенька, взяли в пользование новые арендаторы. «Владельцы» поперву объявили участок воспроизводственным и местным охотникам ввели временный мораторий на охоту. Из здешних старожилов особенно никто не спорил – присматривались. Но, когда сами «хозяева», начали зимой в открытую на снегоходах зверье гонять, окрестные мужички, в числе которых был и Сашка, взбунтовались. Искали правду с кулаками, писали в управление и еще куда-то, на что арендаторы выделили под охоту бросовую территорию с краю участка и стали продавать путевки по ценам, неприемлемым для местного населения. Охотников было немного, да и все дельные держались каждый сам по себе, – большего выбить не получилось. Кто-то из мужичков похаживал с ружьишкой втихушку, баловался капканчиками да попружками, а некоторые, как Сашка, просто забросили охоту – в сельском быту и так забот не перечеть. Столярову еще повезло – у него была постоянная работа, и по деревенским меркам неплохо оплачиваемая. Денег периодически не хватало, но лес и река неизменно были большим подспорьем. Грибы, ягоды собирали всем семейством, всегда помногу и про запас, в деревне постоянно ловили рыбу, держали хозяйство – иначе было нельзя. Ну а охота теперь стала самым дорогим и неоправданным занятием...

Грибник докурил, поднял неполную корзинку и зашагал в сторону дома. Он прошел мимо клюквенного болотца, обогнул старую, заросшую молодняком делянку, по привычке остановился у осинового солонца, сегодня пустого и почерневшего, провел по нему зарубелой рукой: «Да, не надо бы вам сюда, лосятки, зима скоро, не будет здесь вам ноне покоя». Сашка вспомнил, как выпиливал в свежих сломах осины этот и другие солонцы, как вместе со старыми егерями делали кормушки, завозили сено и зерно, как ставили на той стороне реки охотничью избушку. Сейчас это все было брошенное, никчемное. Да и охотничек пошел нынче другой. Местной молодежи вообще ничего не надо – пытаются уехать либо спиваются, а у пришлых понятия нет, видать, их в школах не учили ценить родной край, природу, лес, понимать трудное рождение всего живого, будь то деревце, птица или зверь...

Поблизости от солонца Сашка наткнулся на свежий лосиный переход: «Под снег перешли, вот и зима на пороге...» Он подрезался густым елушником, подцепил попутный просек и вышел к небольшой, но такой родной ему деревеньке. В потемневших от дождей и времени избах уже вовсю топили печи. Сама деревня была зажата со всех сторон лесом, а низкое серое небо, надвинувшееся сверху, казалось, укрывало её от вездесущей цивилизации, и лишь разбитая асфальтовая дорога, ведущая в поселок, являлась мостиком, соединяющим её с внешним миром.

Сашка скрипнул калиткой и посадил собаку на цепь, Зая неохотно подчинилась и заняла свое место внутри конуры. Хозяин поднялся в дом, сбросил в сенях сапоги, снял волглую войлочную куртку, такие из шинели охотникам и лесорубам за пол-литра горькой шили в местной зоне зеки. Сашкина жена, Светлана, сутилась на уютной бревенчатой кухне, увидев мужа, тепло ему улыбнулась:

– Ну как, собрал последы?

– Да уж. Всё, баста – отходят грибочки, поди, завтра и снег ляжет.

– Давай мой руки, есть будем!

Она нацепила две расшитые хитрыми узорами рукавички и ловко сняла с раскаленной печки тяжелый чугунок, поставила его на стол, сняла глиняную крышку, и по кухне загулял аппетитный запах зажаренных до корочки шкварок и запеченной картошки. Вдобавок все это угощение было сдобрено сливочным маслом и обильно посыпано зеленым укропчиком.

– А ну, мать, налей-ка стопочку – прозяб я что-то.

Света отдернула половицу, открыла погреб, достала прозрачную бутылку с мутной жидкостью, налила полстакана мужу и убрала обратно. Сашка выпил, крикнул от удовольствия, занюхал ломтем свежего ноздрястого хлеба, закусил головкой ядрёного чеснока и приступил к незатейливой трапезе. Из комнаты выбежала дочурка, не церемонясь, забралась отцу на колени, хитро оголила молочные зубки и требовательно сказала:

– Пап, покатай!

Сашка взял её за теплые ладошки и стал подкачивать.

– Ехала лошадка – скок-поскок, скок-поскок! – Резко развел колени в стороны. – В ямку бух! А, там петух!

Дочурка, визжа и смеясь от радости, кричала:

– Папа, ещё, ещё!

– Эй, шалунья, дай отцу поесть! – Мать взяла дочку подмышки, опустила на пол и, легонько шлепнув ладонью по мягкому месту, увела в комнату. А Сашка ел и думал: «Как же хорошо возвращаться домой, где тебя ждут и любят, где все как надо, где всему свое место и время – наверно, это и есть счастье, во имя которого стоит жить и трудиться...»

Ночью действительно лег мягкий, еще неглубокий снег, он бронным покрывалом укутал землю, усыпал поле и лес, взобрался на деревья и крыши домов. Все кругом было девственно, чисто, и лишь незамерзший Керженец извилистой лентой чернел за дальником, неся свою мутно-бурую воду в урёмистую глушь...

Ещё затемно Сашка собирался на работу в Семенов, на свой дерево-перерабатывающий завод. Он тогда еще не ведал, что в тот день в связи с сезонным сокращением его бригаду отправят в двухмесячный неоплачиваемый отпуск. Такое случилось и раньше, но обычно длились вынужденные «каникулы» пару недель, не больше. Подработку Сашка не нашел, в зиму её просто не было, но он не унывал – в погребе были

запасены соленья, была картошка, протянут как-нибудь. По деревне прошел слух, что новые арендаторы егерей набирают. К ним Столяров идти не хотел, да и на завод все равно возвращаться пришлось бы. Сашка с однокашником, а также напарником по работе и по «отпуску» Колькой Богдановым, когда чуток подморозило, на дальней заводёнке протянули подо льдом сетёшку. Погода стояла гнилая, сильных морозов еще не было, но ледок на речке зацепился, хотя был тонок и подмыт. Повсеместно зияли промоины, по перекатам текла вода, и лишь на зальвины, где отсутствовало течение, выходить было безопасно.

Каждое утро и вечер они вместе перетряхивали мережу – худо-бедно на жарёху, на ушицу да на прокорм собакам набиралось. Иногда удавалось поменять у ларечницы рыбу на муку, особо не побарствуешь, но пережить период безработицы хватало...

В одно погожее утро рыбаки двигались наторенной стёжкой вдоль Керженца. Сбоку к их тропке подрулил след снегохода, проводил её до самой заводи и отвернул, скрывшись в лесу. Друзья спустились на лед и увидели майну.

– Саньк, смотри – верёвки нет! – Колька в растерянности остановился, сдвинул шапку на лоб и потер стриженный затылок. Сашка подошел – действительно, прорубь сиротливо темнела. Ни стопорной палки, ни сетки-кормилицы – пусто. Мужики стояли молча...

– Сань, мож, че крупное ввалилось, и того, утащило.

– Ага, в тридцатку... – Сашка внимательно осмотрел закраины и лед кругом. – Увел нашу сеточку кто-то.

– Да кто ж возьмет-то? Наши хулигайничать не станут, чужих нет... Чё делать-то? Мож, у Иваныча спросим? Есть у него, всяко даст напрокат.

– Не, Коля! И новую снимут. Неспроста это...

– За буром надо идти да за удочками...

– А у тебя мормышки есть?

– Да были где-то. Надо еще жерлиц наготовить.

– А груза?

– У меня гаек да болтов полный чемодан в сарае. Чем тебе не груза?

На реку друзья вернулись к полудню, неспешно пробурились, начали облов. Сперва не клевало, но потом Сашка нашёл местечко, где скудно, но все же брали окуньки. Колька ушел к кустам и потаскивал мелочь бели, которая то и дело зеркальцем вспыхивала у него на леске в лучиках зимнего солнца. Мелюзгой заряжали жерлицы, но тщетно, щучка не брала.

– А что, Сань? Вроде живём!

– Да, есть немного.

– Завтра, если в заводи щука брать не будет, к вечеру переставлю донки в русло на налима!

– Налиму тёмную ночь надобно, непогодную, в ясную не возьмет.

– Брехня...

– Потонешь ты Коля, когда-нибудь. Льда почти нет...

– Не моёт того быть! – Колька улыбнулся и весело подмигнул напарнику.

На следующий день Богданов «нырнул», набарахтался изрядно, не без помощи друга выбрался, пока доковылял до дома, успел крепко промерзнуть и простудился. Теперь Столяров ходил на реку один.

Очередные утро, обедник и вечер прошли безрезультатно – за целый день ни единой поклевки. Рыбак уныло возвращался домой пустой

и продрогший. Мимо, обдав Сашку снежной пылью, пронесся снегоход. В наезднике Столяров узнал Матвейку. «Откуда у Матвейки техника? – думал Сашка. – Да неужто? – мелькнула у него догадка. – Если Матвейка нынче в егерях – дело наше совсем худо. Наверно, и сеть его работа – выслуживается». Борька Матвеев из соседней деревушки слыл местным браконьеришкой – на токах бил все подряд и без меры, лошишек у солонцов подкарауливал, вешал петли на переходах. Три года назад в марте по насту лосиху беременную кто-то вышиб, конкретно Борьку на мясе не поймали, но все догадывались, чьих рук дело. С ним из охотников, считай, и никто не разговаривал, не раз ему чистили «умывальный» за его проделки, и сам Сашка его предупреждал: «В лесу увижу – зашибу!» А теперь вон оно как оборачивается...

Сашка сплюнул и прибавил шаг. Домой он пришел уже под затемнок. На пороге его встретила семья, дочурка подбежала к нему, прижалась щекой к ноге и крепко обняла. Светлана, поняв всё по Сашкиному виду, посмотрела на него своими, бездонно-голубыми глазами – во взгляде её не было ни упрека, ни укора, в её очах читалась лишь любовь и надежда, надежда на него как на добытчика, кормильца и опору. Сашка чувствовал, что подвел их, и хуже не было для него испытания, чем в такие моменты смотреть своей жене в глаза, ловить её понимающие взоры.

– Замерз, поди? Раздевайся, пошли ужинать.

Сашка молча прошел на кухню, на столе появилась пустая вареная картошка и соленые грибы, хлеб закончился. Столяров взял ложку, но аппетита не было. Кое-как перекусив, он достал курево и вышел на крыльцо. Брякнула цепь, из конуры показалась остроухая голова голодной Зай. Сашка задымил, жадно, большими затычками жабаля папироску. «Ветер меняется, погода ломаться будет», – он докурил, нервно, с силой вдавил бычок в консервную банку, заменявшую пепельницу и, громко хлопнув дверью, вернулся в дом.

Охотник достал из кладовки ружье и патронташ. В патронташе с краю тускло поблескивали латунными донцами пяток старых глухаринных патронов, остальные гнезда неумолимо зияли унылой пустотой. «Ладно, должно хватить», – он отыскал самодельную пулелейку, аккуратно расправил края гильз, высыпал дробь в жестяную банку, скинул с печки центральный чугунный круг и поставил жестянку на огонь. Свинец вскоре расплавился, и Сашка отлил из него четыре более-менее ровных «катышка». Затем аккуратно срезал ножом излишки и прогнал каждую пулю по стволу ружья шомполом. После распыжил все патроны, порох пятого равномерно разделив на четыре части, пересыпал в оставшиеся гильзы для верности. Потом навойником вогнал пыжи на место, дослал новоиспеченные пули и закрутил обратно.

Ночью Сашка спал плохо, проснувшись спозаранку, он попил чай, оделся, положил в рюкзак котелок, несколько вареных в мундире картох, топор, взял ружье, лыжи, нацепил нож, сунул в карман патроны и вышел из дому. Зайка, увидев хозяина с ружьем, начала рвать цепь и подвывать, призывая хозяина взять с собой. «Тише, тише Заюшка, сейчас пойдем». – Сашка отстегнул цепной карабин и взял собаку на поводок. Они неприметно, задворками вышли на асфальтовую дорогу и растворились в снежной сыворотке еще темного утра.

За ночь ветер сменился на восточный, принесся потепление и снег. Такой расклад Сашке был на руку, и он бодро шагал, несмотря на промозглые порывы воздуха, неприятно бьющие в лицо холодными снеж-

ными хлопьями. Дорога пересекла небольшое поле и вторглась в лесную чашу. Сашка, лишний раз не обслеживаясь, запрыгнул за молодую пушистую сосенку, росшую у обочины, нацепил лыжи и двинул верховой хвойной гривкой. Сонный урман укрыл охотника от лишних глаз и непогоды. Ветер в лесу не казался уже таким сильным, и от сыплющего снега охотника защищали купольные верхушки сосен и мохнатые лапы елей. Рассвет еще не думал рождаться, но от белого покрова лесной мрак казался прозрачным. Сашка резал в целик, не спуская Заю с поводка. По укатанным снегоходами просекам светиться было заказано – на этой земле охотились хозяева. Новопоставленные егеря регулярно объезжали участок на предмет свежих переходов копытных, а с учетом нынешнего положения желая попасться им на глаза у Столярова не было. Здесь зверя нет – это Сашка знал точно, если только охотнички не толкнут где-нибудь, и пришлый зайдет. Сохатые в старых делянках за полосой завала, оставшейся после урагана. Там, в буреломе чернолесья, лоси были всегда, там снегоходу не проехать, в ту сторону уходил след лосиного перехода перед первым обильным снегопадом, туда торил лыжню и он. Сашка спустился с гривки, чтобы пересечь поперечный просек низинкой, поросшей кустами тальника. Перед просекой он снял лыжи, выбрал местечко поуже и в один прыжок перемахнул через накатанную полосу. Столяров обернулся – его следов видно не было, переход выдавала лишь осыпавшаяся с лоховин кухта, и он, снова вогнав доморощенные унты в петли лыжных креплений, невозмутимо покатил дальше.

Небо уже посветлело, но тускло-серый свет зори не спешил проникать в глушь лесных чертогов, бессильно растворяясь в рыхло колеблющейся наволочи неторопливого зимнего утра. Лыжня поделила пополам несколько кварталов, пересекла укрытое снегом моховое болото, горельник, протянула краем длинного лога и запуталась в завалах. Вековые деревья – узловатые дубы, прямоствольные осины и сосны, поверженные ветром, как павшие в давней битве великаны, преграждали ей путь своими могучими телами. Выворотни, огромные, выше человеческого роста, с торчащими вверх корнями, словно застывшие в окаменелости реликтовые спруты, напоминали о беспощадной силе неукротимой стихии.

Сашке не чудились ни сказочные гиганты, ни древние осьминоги, он видел перед собой лишь погибший лес с испорченной древесиной. Когда прошел ветровал, местная администрация запретила жителям окрестных деревень распиливать упавшие деревья на дрова, опасаясь, что под эту марку люди прихватят и стоячий высокоствольник, а у самой руки не дошли организовать вывоз. Время ушло, теперь эта никому ненужная порушенная чащоба на много десятилетий, пока окончательно не сгниёт и не превратится в тлен, останется непроходимым кладбищем деревьев.

Охотник спустил собаку с поводка и зарядил ружье. Он петлял в буреломе, подныривал под стволами или перелазил, снимая лыжи, где нельзя было обойти. Проход через полосу в ширину с полкилометра занял более часа и отнял немало сил. Зая давно уже ушла вперед, и Сашка катил, не спеша, периодически останавливался, пристально вслушиваясь в тишину леса – не орёт ли где лайка. Слева просветом замаячила делянка, собачий след уходил к ней, и охотник, учитывая ветер, стал забирать за ним. Делянку рубили давно – частый осино-вый молодняк, высыпавшийся, как сорная трава, на месте когда-то

сильного рослого леса, уже поднялся и сделал вырубку едва пролазной. Сашка прошел немного опушкой и наткнулся на поеденную лосями крушину.

Следов подле не было, он оглядел ветки, определяя давность надкусов, и двинул дальше. Впереди мелькнула Зайка, остановилась, увидела хозяина, вильнула хвостом и вновь пропала из виду за раскидистым кустом боярышника. Лоси здесь были до снега, но, видимо, сместились, Сашка надеялся, что недалеко.

За старой вырубкой, в низинке начинался неширокий, краями заросший раakitником ложок, Столяров спустился к нему и зашагал кромкой. Первые следы жировки он увидел совсем скоро – повсеместно поеденная мелочь осинника, беспорядочные наброды, орешки помета, лежки... Сашка по отпечаткам подстав разобрал, что на жирбе, по крайней мере, бык с лосихой и лосенок, может, последних два, чтобы не подшуметь, остановился, по привычке проверил ветер и стал выжидать.

Зая, почувствовав близость зверя, летела вперед полузаросшей болотиной, присыпанной снегом, ловко ныряя через мелкую непролазную поросль. Она жадно брала мозглый воздух чутким носом, найдя свежак, сбегала в обратку, вернулась и уверенно пошла в правильном направлении. Нюх не подвел – нашла! Лайка сбавила ход и появилась перед лосями словно невзначай – стороной прошла в зоне видимости, не подавая в первую минуту голоса. Животных было три, небольшой и два огромных, один из великанов – с опасными рогами. Обежав сгрудившихся зверей, собака подскочила к рогачу с головы и как бы нехотя дала полайку. Бык раздраженно фукнул, но остался стоять на месте, а привязчивая псина уселась на безопасном расстоянии и принялась надоедливо тявкать, дразня лесного исполина. Лось утробно забормотал, зафукал паром, выдувая воздух огромными ноздрями – его терпение иссякало. Бык не выдержал – рванул вперед, чтобы сбить привязчивого зверька ударом могучей ноги, но Зая ловко отскочила в сторону и залилась громким непрерывным лаем. Сохатый опустил ветвистые рога и, сделав очередной выпад, попытался подцепить собаку, но и тут лайка оказалась проворней.

Сашка понял, что собака работает по-зрячему, и уже забегал дугой под ветер через хламную измененную урему. Его лыжи неслышно скользили по свежему пухлявому снегу, проворно огибая кусты лещины и волчегонника. Охотник поспешал размеренно: сейчас он все сделает правильно, времени хватит – Зая удержит! Нужно без суеты спокойно зайти и все закончить одним точным выстрелом. Лог уже близко. Лай все звонче. Ружье наготове.

Столяров объехал несколько поваленных кучей обглоданных осин, за которыми проглядывалась логовина. Шумный пушистый комок на той стороне скачет в снегу, а где же лось? Ага, вон переступают тонкие ноги в мелятнике! Вот-вот выскочит на чистое! Охотник поднял двустволку, приложился: «Далековато, нужно еще чуть ближе!» Справа, совсем рядом мякнул теленок, Сашка высунулся из завала и увидел в тридцати шагах от себя комолую лосиху. Она уже почувяла человека и своим большим темно-бурым телом, как щитом, закрыла от «венца природы» доверчивое дитя. Мухортый неуклюжий лосенок с непропорционально большой ушастой головой и непомерно высокими ногами, ростом с жеребенка-стригунка, нелепо выглядывал из-за массивной матери, которая подталкивала его своей огромной головой и стоном призывала уходить. Большие влажные глаза взрослого живот-

ного выражали невыносимую тревогу, страх и обреченность. В упор бить лосиху с лосенком?! Чуждые ему законы Столяров нарушить мог, но дедовы заповеди, впитавшиеся еще в детстве с первыми охотами, словно с молоком матери, – никогда! Он выдохнул и опустил ружьё... А коровенка, набирая шаг, широкой иноходью замелькала меж деревьев, уводя за собой несмысленное чадо. Сашка перевел взгляд на место, где был бык, – пусто! Тот, взрывая снег, на махах мчался по простершемуся логу в спасительную даль, из-под копыт разлетались снежные брызги, а рядом хвостом прыгала вязкая собака...

Часть 2

Раз-два, раз-два – нарезают лыжню уставшие ноги, ноет затекшая спина, во рту сухая горечь и журчит в пустом желудке. Столяров остановился, снял, от приставшего сырого снега тяжелые, словно гири, лыжи, обухом ножа счистил подлип и надел опять – погода с обеда давила на плюс. Сашка целый день шел за злополучным быком и собакой, позади остались лесные километры натеренной в целик лыжни, а лось, выписывая длинную петлю, и не думал вставать, лишь его махи стали немного короче и массивные копыта вылетали из снега теперь через сторону. «Тоже тяжело скотинушке...»

Постепенно пробирающаяся тусклость пасмурного вечера овладевала лесом. Столяров понимал, что стемнеет быстро и нужно вставать – готовиться к ночёвке. Он выбрал место с хвойным подлеском, нашел рядом две достаточно толстые облупившиеся осины, свалил их и из комлевых частей вырубил бревна для нодьи. В низинке Сашка натяпал охапку ровного осинового молодняка, из него возле будущей согревушки с подветренной стороны соорудил навес, подстилку для сна и основу для небольшого костра, чтобы тот не просел в снег. Уже в темноте намахал лапнику, обильно устлал им лежанку и покату ю крышу своего укрытия. Когда все было готово, Столяров занялся костерком для чая и для углей – заправить нодью. Чиркнула спичка, в упругую спираль свелась растопочная береста, и первые языки пламени начали разрастаться, жадно облизывая наломанный хворост. Сашка воткнул над костерком под углом в сугроб жердину, черпанул снег котелком, повесил его на жердь и подбросил в огонь сушняка. Костерок затрещал, заискрился, живительным теплом заиграли его яркие лепестки, всполохами отражаясь на угрюмом лице утомленного путника. Запарила напитанная влагой одежда, и по телу начала расплываться безмятежная истома. Сашка вытащил из рюкзака пару картошин, насадил их на ветку и стал запекать. Он вспомнил, как в детстве с пацанами пекарил хлеб с салом на рыбалке у ночного костра, как с аппетитом уплетали они хрустящую на зубах нехитрую снедь, – хорошо было тогда, беззаботно. Живот подвело. «Да, кусочек сальца бы сейчас не помешал...» Котелок зашумел, но охотник еще пару раз набивал его снегом прежде, чем тот, наполнился водой и забурился снова. Тогда Сашка достал из кармана еще днем мимоходом наломанный пучок веточек малины, сунул в кипяток, и по ночной замерзшей полянке завитал терпкий аромат летних ягод. Столяров съел картошку, запил горячим малиновым настоем, заправил раскаленными головешками нодью и улегся на лапник. Нодья занялась томно и размеренно, одиноко пламенея и одаривая теплом человека в могильной темени зимнего леса.

Ветер поутих, снежок подсыпал неторопливо, убаюкивая, воцарившуюся тишину и безмолвие нарушали лишь легкое потрескивание огня и таинственный шепот снежинок. Усталость взяла своё, мысли отступили, и Сашка задремал...

Что-то хрустнуло неподалеку. Охотник открыл глаза, не вставая нащупал рукой ружье, подтянул к себе и стал пристально всматриваться в неведомую темноту, которая на фоне огня казалась непроглядной. За кустами сверкнули две маленькие звездочки глаз, и через мгновение к костру вывалилась Зая – ошалелая, шерсть на загривке дыбом. Она не обращая внимания на хозяина, поскуливая, покрутилась у рюкзака, потом забилась в угол под навес и больше не показывала носу. «Зай? Ты чё, а?» – Сашка попытался погладить напарницу, но лайка зарычала, задрав верхнюю губу, оголила клыкастые зубы, и он убрал руку. Собака была не в себе, Сашка видел, как время от времени нервная дрожь, волнами вспучивая густой мех, пробегает по её телу. Никогда прежде Зая так быстро не бросала лосей. Сколько раз мучились они с Колькой, снимали её с работы, когда она уходила, прихватив сохатых. Бывало, лайка несколько суток пропадала в лесу, и ничего... «Что там сегодня случилось впереди? Что могло так напугать Заю?» – Столяров терялся в догадках. Ясно было одно – собака бросила быка, и теперь шансы его достать были ничтожны...

Снова уснуть не получилось, и охотник в полудреме прокрутился на топчане до утра. Еще затемно продрогший Сашка у тлеющей нодьи наладил костерок, подогрел остатки вчерашнего «чая» и запек последнюю картошину. Половину съел, другую бросил собаке. Зая, поймав подачку на лету проглотила, не разжевывая, как будто её и не было. «Ну что? Ожила? Пойдем тебя проверять!» – ждать рассвета смысла не имело. Столяров привычным движением ноги сгреб сугроб на ещё пыхающие жаром угли, надел лыжи и продолжил путь. Снег идти перестал, но небо оставалось мрачно седым и беззвездным. Вчерашний лосиный след и собачья сдвойка, хоть и были заметены, но даже в темноте различались отчетливо. Лайка терлась в ногах, не обращая на отпечатки копыт ни малейшего внимания, и лишь изредка виновато поглядывала на хозяина, опустив обычно свитый в тугую баранку хвост. Шаг за шагом Столяров упорно топтал километр за километром меж батружных деревьев и завалов.

Сумрачная зимняя заря неторопливо забрезжила серостью невыразительного утра, когда Сашка обнаружил, что к лосиным и собачьим следам параллельно в стороне добавились трети. Волки шли правильной лентой след в след. В том, что хищников несколько, Сашка не сомневался. Вскоре он в этом окончательно убедился – их строй распался, а рысь трех волков перешла на длинные прыжки. «Значит, достали зверюги лосишку...» Действительно, через пару сотен шагов перед Столяровым открылось ночное действо...

Бык перешел на шаг и встал в начинающейся молодежи ельника, а лайка, забежав чуть вперед, легла под пушистой еловой лапой. Лось потоптался на месте, последний раз безуспешно попытался отогнать Заю, а потом забрался в самую гущу подлеска. Здесь их и настигли волки. Переярок бросился на собаку, ошибочно решив, что в один прыжок достанет и разорвет жертву. Опытная лайка вертко взвилась свечкой, в воздухе успела цапнуть хищника за бок и выдрать клочок шерсти. Приземлившись, она правильно оценила силы, отскочила в сторону и дала ходу назад по своим следам. В это время матёрый с волчицей подскочили к сохато-

му с двух сторон и начали крутить. Переярок не стал догонять собаку, злобно огрызнувшись, он присоединился к своим. Волчица с молодым отвлекали внимание быка, делая обманные подскоки, а матёрый подкрадывался с другой стороны, выбирая момент для решающей атаки. Бык был дюжим и опытным бойцом, три волка вряд ли смогли бы его одолеть в иной ситуации. Сейчас же его силы были на исходе, усталость от длительного перехода сковывала мышцы, удары потеряли скорость, но просто так сдаваться сохатый не собирался. Лось выскочил из ельника, задом уперся в еловый завал, широко расставил передние ноги, опустил голову и приготовился защищаться. Он не тратил силы на ложные выпады волков, а ждал главного атакующего броска, чтобы смертельно ранить нападающего врага тяжелыми рогами. Троица не торопилась, умело изматывая потенциальный ужин. Наконец, вылучив момент, матёрый сделал прыжок, вцепился зубами в лопатку быку, прокусив сухожилия и повис. Лось замычал, протащил волка несколько шагов и с такой силой притер его к отдельно стоящей сосне, что свез толстую кору векового дерева. Волк упал на спину, его морда исказилась от дикой боли, но зубы он не разжал, разрезав быку бок. Сохатый в горячке хотел растерзать упавшего противника, рогами замахнулся для смертельного удара, подставив шею с другой стороны. В этот момент молодой, решив попробовать силы, отчаянно выпрыгнул, чтобы вцепиться в неприкрытое горло острыми как ножи клыками, но лось уловил это движение и резко мотнул головой, сбив переярка с ног, тот распластался на мягком снегу, а бык в гневе копытами вбил серого до земли. Затем резко развернулся добить матёрого, но старому волку хватило секундной передышки, чтобы отскочить и, припадая на снег, завернуть оглобли. Сохатый оглянулся на волчицу, которая в неистовом бессилье скалила зубы, победно фыркнул и широко шагая, пошел прочь...

Столяров подошел к месту схватки, жалкий перепачканный кровью комок шерсти, нелепо разбросивший задние лапы, так и лежал на месте. От головы и туловища переярка осталось бесформенное месиво. Лайка, понюхав труп своего поверженного врага, брезгливо повела носом и посмотрела на хозяина. «Ну, что Зай? Полтора волка осталось. Не бзди! Пойдем!» Лосиный след через сотню шагов окропила кровь. В горячке лось шел ровно, но где-то через километр его левая нога начала чертить на снегу длинный потаск. «Значит, матёрый все-таки заранил лошешку». Сашка прикинул, где он сейчас находится и куда шел бык. «К реке тянет, в колодник!» Колодник представлял собой достаточно протяженный и сильно заболоченный пойменный лес, переходящий у реки в зыбун. Это болото полностью не замерзало даже в мороз, и сейчас там человеку было не пройти. «Конечно! Где ему ещё скрыться! Только бы вышел – иначе не взять!» Впереди начиналась мучижинная пойма – бочаги, кусты, захламлённый лес, река была где-то по левую руку. Сашке ничего не оставалось делать, как отвернуть от лосиного следа и идти в обход справа.

Он прибавил шаг, нужно было торопиться, пока погода снова не повернула на плюс. Лес менялся, смещенный и пересеченный, он превратился в листовенную низменность, кругом было ровное, как стол, одно-типное чернолесье.

Столяров катил уже долго, лосиный след, который остался слева, охотник не пересекал. Сашка сбился и теперь шел по наитию, не зная точно, где находится. Хмурое серое небо нависло угнетающей пеленой, голый лес, наполненный пустотой, вселял неуверенность и казался бесконечным. Нет, потеряться он не мог, просто где-то расслабился,

не учел, упустил направление! Сейчас бы взглянуть на компас или солнышко, хоть на мгновение! Что там, у деревьев – мха больше с севера, кора грубее, крона реже? Ерунда! Здесь все едино! Последним ориентиром оставался слабый ветерок, и Столяров, надеясь, что тот с утра не поменялся, держал примерный курс.

«Может, пропустил след? Нет, не должен! А если бык не вышел – остался в колоднике? Собака в ногах! Блин, сейчас бы компас!» Охотник шел вперед, в голову лезли мутные мысли, уже зарождались признаки отчаяния, когда он снова наткнулся на след сохатого. Крови на следу уже не было, но левая нога так и чертила копытом на снегу прямую полосу. Лось сбился с рыси и начал скакать. «Скоро встанет, надо достать, надо!» – не чувствуя усталости, Столяров прибавил шаг. Сашка не замечал, как пот застилает глаза, как от испарины намокает одежда. «Еще немного!» Впереди замаячил просвет, и охотник увидел излучину Керженца, за неё уходили следы копыт.

Зая, чувствуя близость зверя, пошла вперёд. Охотник выскочил к крутому, промытому мутной водой повороту, быстро сориентировался, где находится, и, в надежде на собаку, дернул наперерез. Он знал – река здесь делает километровый криуль влево и возвращается назад, выходя метров в трехстах впереди. Сохатый ошибся, реку при такой погоде ему не перейти, и Сашка пытался использовать выпавший шанс. «Лишь бы тот не успел выскочить из треугольника! Быстрее, быстрее!» Лыжи уверенно ворвались в еловый подсед, оснеженные ветки хлестали по лицу, сбитая сырая осыпь валила на голову и за шиворот, но Сашка уверенно резал чапыгой. Слева замолотила собака – «Есть!» Смолкла – «Лось пошел!!» Столяров припустил во весь дух, ловко поднырнул под сломанной елохой, протаранил можжевельниковые кусты, вырвался из их цепких объятий, но в это мгновение лыжина предательски заскочила под наклоненную ветку и застряла. Сашка споткнулся, однако устоял, выдернул унты из ременных петель и, утопая по колено в сугробе, через чапору выскочил на чистину. «Успел! Успел...» Сердце на пределе отстукивало в висках барабанную дробь, охотник, тяжело глотая влажный воздух, провел шершавой ладонью по заснеженному лицу, часть снега жадно зацепил губами и встряхнул кистью. Впереди проглядывался обрывистый берег. «Ветерок с реки, назад лось не пойдет, аккуратно в полветра здесь выскочит! Зайнышка, родная, давай нажимай!!» – Сашка приготовил ружьё и снял предохранитель. Секунды... Напряжение нарастало! Минута... Лось замелькал меж нетолстых стволов осинника слева и размашистой рысью вывалился на чистину.

Мысли ушли на второй план, сознание охотника обрело ясность, Столяров плавно поднял ружьё, приклеился к планке, палец привычным движением лег на холодный спуск, частое дыханье стихло, затаилось, глаз через мушку нашёл цель. И, чуть пропустив сохатого, Сашка выстрелил.

Катыш смачно шлепнул по туше, прошел наискосок под правой лопаткой, почти насквозь просадив сильную грудь быка. Зверь охнул, передние ноги пропустили шаг, и он, вытянув шею, по инерции рухнул вперед. Столяров видел, как лось ткнулся в сугроб, хрипя и харкая брызгами крови, приподнял голову, попытался встать, но не смог. «Угадал?! Угадал!!» Охотник, не мешкая, дернул с пояса нож, крутанул лезвием кверху и быстро подскочил к холке животного. Он, не глядя быку в глаза, придавил его голову коленом и, с силой вогнав клинок в судорожно напряжённое горло, уверенно перерезал пульсирующие жилы.

Часть 3

Сашка погрузил свой длинный нож в нижнюю часть лосиной шеи, в место, где она соединяется с грудью, и сделал несколько сильных режущих движений вглубь, в направлении сердца. Из разреза быстро, а затем всё медленней начала сочиться тёмная, парящая клубами на холодном воздухе, кровь...

Как же хорошо всё закончилось! Теперь ему не будет стыдно ни перед Светланой, ни перед маленькой дочуркой, ни перед своей совестью! Господи, спасибо! Сняв шкуру с сохатого и выпростав внутренности, охотник из последних сил наломал сухих еловых веток, настрогал остро отточенным топориком смолья с высокого, сухого и крепкого, как кость, пня, развёл костерок, набил доверху котелок чистым снегом и повесил его на рогатину. Костёр Сашка развёл вовсе не из-за боязни замёрзнуть. За работой телу было жарко, а рукам так и вовсе горячо от крови и плоти сохатого. Охотник неимоверно устал. Его ноги были словно ватными, руки тряслись мелкой дрожью, а ведь впереди предстояла главная работа – разделка туши. И горячий чай совсем не будет лишним!

Разрубив тушу на большие куски, он набил под завязку терпко пахнущей свежатиной свой вещмешок и крепко затянул узел горловины. Оставшуюся, большую часть туши Столяров планировал подвесить на стоящую возле большую, раздвоенную на высоте чуть выше человеческого роста осину от всякого зверья и лесной нечисти. Мало ли... Ну а потом они возвратятся сюда с Колькой, семья которого нынче тоже не жировала, и за раз переправят продукт в деревню.

Уставшая, изголодавшая Зайка, прикрыв глаза с мелко подёргивающимися веками, жадно лизала тёплую густую кровь. Её морда, лапы, грудь – всё было окрашено красным... «Зая! Зайныка! – позвал собаку Сашка. – На-ко вот... Небось вся изголодалась у меня-то! Прости уж...» И охотник отрезал ей увесистый, хрящистый кус лосятины, разрубил на несколько частей и дал своей помощнице. Лайка, голодавшая уже больше недели, не жуя глотала эти тёплые, дымящиеся куски, заложив назад уши и роняя на снег розовую, вязкую слюну. Несколько раз собака прерывала еду, настораживалась и пристально смотрела через большую вырубку куда-то вдаль, в тёмную урему, поводя чуткими треугольниками ушей, и силилась уловить какие-то ведомые только ей запахи чёрной, подвижной мочкой носа. Но всё было тихо вокруг. Долбил дерево дятел, в елках с тонким писком возились желтоголовые корольки да лес с безучастным видом взирал на охотника, собаку и останки поверженного лесного великана лося.

Поначалу Сашка не обратил на это внимание. Он перетаскал куски мяса под осину, привязал верёвку к топору, перекинул его через здоровенный сук с гладкой, оливкового цвета, корой, продел через прорези в кусках жердь и изо всех сил, повисая всей тяжестью тела на верёвке, поднял мясо вверх, к самому суку. Обернув верёвку несколько раз вокруг стволов, выше развилки, охотник завязал «восьмёрку», усмехнулся, вспомнив, как охочий до всяких нужных в жизни бытовых мелочей Николай, обучал его на досуге вязать различные узлы. Сашка обрезал остаток верёвки и ещё пару раз проделал ту же процедуру с оставшимся мясом. На месте разделки сохатого остались только голова и мотолыги.

Меж тем время перевалило далеко за полдень, и Сашка решил перекусить. Выдвигаться к дому он планировал поближе к темноте, дабы

случайно не засветиться с мясом. Мало ли кто в пути может попасться, да и в деревню с полным мешком не попрёшься! Он бросил в кипяток брусничника, откопанного ногою тут же, на вырубке, подождал, пока настоится, и налил в крышку армейского котелка. В оставшийся вар охотник заложил большой кус печёнки и через несколько минут уже с аппетитом ел, обжигаясь, свежак, прихлёбывая буроватым настоем брусничного листа. «Э-эх, хорошо! Гоже!» – Сашка блаженно вытянул натруженные, гудевшие ноги. Он выбил из пачки «беломорину», стукнул ею о тыльную сторону кисти, продул мундштук, смял его, засунул в рот и, чиркнув спичкой, с блаженным удовольствием глубоко затянулся крепким табаком. Так сидел он, прикрыв глаза, расслабив тело, курил... как вдруг краем глаза усёк, что наевшаяся уже до отвала Зайка прекратила мусолить жёсткий белый хрящ и, вскочив на ноги, уставилась на ближайшую окраину вырубки... Нос ловил запахи, а уши лайки были направлены строго вперёд. «Что за дела? – подумал Сашка. – Не иначе как гостей каких чует? Но кого принесла нелёгкая? Защитники природы сюда только на снегоходе могут добраться. На лыжах не пойдут – в падлу нынче стало им на лыжах-то... Кстати, вроде недавно стрёкот их слышал в направлении деревни, но очень далеко, практически на пределе слуха. Так кого же причуяла Зая?» – размышлял Сашка, глядя на собаку.

Он докурил папиросу и вдавил окурочек в ствол валежины, на которой сидел. Тут вдруг он увидел, а скорей почувствовал, как в чуть серых пока ещё сумерках, в частоколе ивняка и невысоких густых ёлочек мелькнула какая-то неясная тень... Зайка глухо зарычала, шерсть на загривке встала дыбом, верхняя губа поднялась, обнажив клыки. Раскрутив баранку хвоста, лайка явно чего-то боялась.

«Крронг-крронг, кррру», – с высоты донеслось характерное вороново крыканье. «Ффф-ухх, ффф-ухх, ффф-ух» – послышался свистящий шум крыльев, и Сашка поднял голову к небу. Две большие птицы, видимо, каким-то образом почуявшие поживу, с распростёртыми крыльями чёрными крестами кружили над поляной. «Тьфу, нечисть!» Сашка сплюнул под ноги. «Принесла нелёгкая!» Он замахнулся на птиц. Вороны испуганно шарахнулись в сторону и уселись неподалёку на вершину сосны, одинокой мачтой стоящую ближе к краю вырубки.

Сумерки надвинулись ещё боле, и Сашка, успокоив собаку, решил выдвигаться к дому. Он подошёл к костру, нагнулся за толстой веткой и уже хотел было расшвырять пышущие жаром головки по снегу, как Зайка залилась неистовым, злобным лаем. Охотник выпрямился, бросил взгляд по направлению лая собаки, и обомлел... К нему медленно приближались три волка. Он кинулся к ружью и увидел, как справа, в таловых кустах, мелькнули ещё две тени... и слева будто ещё одна...

«К костру не посмеют!» – мелькнула мысль, и он бросил в огонь две последние сушины, разрубив их пополам. За то короткое время, пока Сашка работал топором, он отметил для себя, что серые от резких взмахов его рук немного оробели и остановились шагах в сорока. Подпитав костёр, он зарядил «ижевку», с удивлением обнаружив, что один из патронов куда-то исчез! Не было его ни в карманах, ни подле костра... По спине пробежал предательский холодок... «Неужто потерял?» – с какой-то тоской подумал охотник и увидел, что волки, вопреки его ожиданиям, сократили дистанцию до ярко разгоревшегося костра! Сашка голыми руками вынул из огня здоровенную головню и, размахнувшись, что есть силы швырнул её в сторону волков. Горящая

головёшка, вращаясь и завывая огнём, обрушилась в самый центр серой троицы. Хищники, лязгнув зубами и поджав хвосты, опрорхнулись бросились в разные стороны! «Так-то, сука, ублюдки!» – злорадно процедил Сашка и, удобно приложившись, выстрелил в ближайшего, того, что стоял за кустами слева. Выстрел сухо и, как показалось Сашке, как-то беспомощно щёлкнул на открытом пространстве, но здоровенный волчара, высоко подпрыгнув, и крутанувшись на снегу, растянулся на месте продолговатым тёмным пятном. Остальные же хищники, вместо того чтобы броситься наутёк, едва отбежав, начали снова приближаться к костру. Они делали это уверенно, но без лишней наглости и, как показалось Сашке, вдумчиво, с двух сторон окружая их с Заей. Три с одной стороны и два с другой. Среди волчар один выделялся особо крупными размерами. По его прижатым к лобастой голове ушам, оскаленной морде и горизонтально вытянутому «полену» Сашка понял, что эта тварь не очень-то его и боится!

«Может, бешеный?!» – мелькнуло в голове. И тут его осенила догадка: «Да это же тот самый матёрый, с которым давеча бился сохатый и которого тот приложил к дереву! Ну да, точно он! Ишь как прихрамывает! И та волчица, что лежит за кустом со свинцом в боку, наверняка с ним же и была! А остальные-то тогда откуда взялись? Ну не иначе одна шайка-лейка! Рыскали небось порознь, а тут сошлись, будь они неладны!»

Теперь расстояние до волков, казалось, стало ещё меньше, и Сашка с дикой злостью метнул в них ещё две головни. Хищники нехотя отбежали, а двое из них, приблизившись к распростёртому на снегу телу волчицы, поволокли его в кусты. Тотчас же оттуда послышалась злобная грызня, видимо, серые «товарищи» остервенело терзали свою поверженную подругу! «Ублюдки! Совсем, суки, озверели! Твари!» – что было силы закричал Сашка и, выхватив из костра ещё одну чадающую дымом головню, швырнул её в направлении волков...

Он ненавидел их всеми фибрами своей души, ещё с тех пор, как завёл себе первую собаку – русского гончара, и иначе как «твари» и «ублюдки», не называл. Выжлец выдался крупный, высоконогий, паратый, с хорошим поиском и добором. В четыре года он гонял так, что во всей округе ему не было равных. Сколько раз Столярова уговаривали продать собаку, но молодой тогда ещё охотник ни за какие деньги не соглашался. Заграй работал не только по зайчишке, но и был хорошим красноногом. А лисьи шкуры в те времена ещё были в цене, что являлось несомненным подспорьем в деревенском житии. Как-то, дело было в декабре и после жестоких морозов наступила оттепель, Сашка пришёл уже затемно с охоты и, подвесив на дворе под потолок двух белячков, позвал Заграю в сени. Но гончак не пожелал оставаться там и, открыв мордой дверь на улицу, улёгся недалеко от крыльца в стожке соломы. Столяров за полночь вставал, выходил курить. Небо было тёмное, беззвёздное, пропархивали одинокие снежинки, стояло полное безветрие и тишь. Лишь очень далеко, где-то в стороне Семёнова, раздавался еле уловимый шум ночного поезда... Сашка докурил, смял папиросу в старой консервной банке, посмотрел на мирно посапывающего в соломе своего помощника, зевнул и закрыл дверь. А наутро он, вынеся вареву псу, так и не дозвался его... Подумав, что кобель, он и есть кобель и свалил в какую-нибудь деревню к течной суке, Сашка занялся своими делами. После обеда, решив поменять подстилку в конуре, охотник подошёл к копне и обомлел! Солома сплошь была в крови,

на снегу виднелись многочисленные бурые пятна, а по ту сторону копейки валялась вывернутая наизнанку шкура его верного Заграйки с завернутой внутри её головой! По следам на снегу он быстро восстановил картину ночного происшествия. Два крупных волка, приблизившись к его дому со стороны огородов, долго лежали в бурьяне. Там снег был протаян до земли. Видимо, серые долго ждали, пока в окнах избы погаснут огни и стихнут деревенские звуки, а затем приступили к действию. У пса не было шансов... Они подошли к выгледу с двух сторон и схватили несчастную собаку. Один моментально вцепился в шею, а другой в спину повыше крестца. После этого первый волк перехватил уже бездыханное тело Заграйки, и так рванул к голове, что шкура гончара снялась чулком и задралась до самой шеи. Отгрызя голову, они потащили гончара на зады... Столяров обнаружил там, в кустах, три лапы и откусанный наполовину гон – всё что осталось от его любимого друга...

Затем, позже, у Столярова появилась лайка светло-рыжей, даже скорей желтоватой масти. С кличкой долго гадать не пришлось, и Сашка назвал его Лимон. Кобель был дружелюбный и любопытный до неприличия, с хорошим чутьём и слезкой. Охотник успешно промышлял с ним куничку да белку. Пёс мастерски облаивал глухаря, каким-то образом находя улетевшего и севшего на лес петуха почти за километр! По крупному молодой кобель работать не желал. И вовсе не из-за боязни, а из-за отсутствия интереса и абсолютного равнодушия к скотине и медведю. Но Сашку он и такой вполне устраивал. Тем более у его друга Кольки Богданова имелась чисто зверовая западница.

В одну зимнюю февральскую ночь Сашка сквозь сон услышал брехню своего кобеля. Лимон даже в самые лютые морозы никогда не просился в сени и, как обычно, спал в будке у крыльца. Выходить на холод было откровенно лень, Сашка так устал на работе, что еле доплёлся до кровати! Он ещё раздумывал: «Идти – не идти?», но вскоре лай стих, и Столяров снова провалился в глубокую, тёмную бездну сновидений. А наутро Лимона негде не было. Сашка звал его, ходил по деревне, искал, но пёс как сквозь землю провалился... Уже под вечер, выйдя на лёд замёрзшего озера, что находилось напротив окон избы, охотник с удивлением обнаружил волчьи следы. Много следов! Снег на озере был буквально весь истоптан. Сашка определил, что следы принадлежали одному волку, скорей волчице. От сарая наискосок к озеру шли ещё два волчьих следа. Отсюда серые выбегали на махах, во всю прыть. Побродив по окрестностям, охотник обнаружил уходящие на опушку леса три следа и волок... Всё сразу стало ясно, и Сашка представил всю картину разыгравшейся трагедии. Два волка хоронились за дощатым сараем, а один – волчица, выбежала на лёд озера и, то приближаясь к дому, то отбегая, выманила-таки кобеля из будки! Едва Лимон отбежал на нужное для волков расстояние от дома, как находившиеся в засаде хищники молниеносно бросились вперёд и отрезали ему путь к отступлению, а подоспевшая волчица поставила точку в этой драме...

Совсем стемнело, а ситуация не менялась. Зайка, поджав хвост, заливалась у ног хриплым лаем, в кустах шла грызня, а в отблесках костра было видно, как трое серых, с вздыбленной на загривках шерстью, медленно ходили взад-вперёд в нескольких шагах от огня... Что есть силы сжимая в руках с побелевшими костяшками пальцев, ружьё с последним патроном, Сашка лихорадочно прокручивал в голове ситуацию. Близкое присутствие пятерых голодных хищников и одна пуля

в стволе делали его положение ужасным. Он боялся... Да, он боялся, что никогда больше не увидит дочурку и жену, свою старенькую маму, никогда больше не пойдёт на охоту, никогда не встретит новую весну... По спине текли струйки холодного пота, во рту пересохло, а волосы под шапкой стояли дыбом! «Вот бы шкура и брюха лежали не так близко к костру! Может, тогда твари, довольствуясь этим, отстали бы от них? Может, как-то подвинуть останки сохатого к ним поближе? Кинуть как-то?»). Но понял, что в его положении нечего и дёргаться! Нужно держаться ближе к костру! Он подтянул к себе вещмешок с мясом и сверху положил топор. Вот только долго ли прогорит костёр и сколько их намерены держать в осаде эти серые ублюдки?! Охотник оглядел совсем обнаглевших, приблизившихся вплотную волков, и вдруг почувствовал, что вот оно – то расстояние, за гранью которого этим тварям будет уже абсолютно безразличен вечный страх перед огнём и человеком. Он видел, как у самого большого волчары, судя по всему, вожака стаи, всё тело словно свело судорогой. Он весь напрягся, подался телом назад, и слегка присел на лапах. Сашка протянул руку к топору. «Сейчас бросится!» – мелькнуло в голове, и он совершил роковую ошибку... Охотник что есть силы метнул топор в нападавшего волка, а Зайка... Его верная Зая расценила этот бросок как сигнал к атаке, к защите своего хозяина, и с рыком бросилась вперёд...

Топор, никого не задев, зарылся в снег. Сашка не успел даже ничего понять, как окрестности огласил обречённый визг собаки. В одно мгновение с Зайкой было покончено... Тот самый здоровенный волчара схватил собаку, и бросился прочь от костра. За ним последовали остальные. «За-а-а-а-я! Су-у-у-уки!» – завопил Сашка, и навскидку выстрелил в огромного волка, словно кошка мышью, нёсшего тело лайки... Тяжёлая круглая пуля, выпущенная с десятка шагов, попав в основание черепа, снесла волку полголовы. Он опрокинулся на бок, разжал челюсти, и Зайка, дёрнувшись в конвульсиях, неподвижно затихла на снегу. Не помня себя от горя, Столяров кинулся вперёд, размахивая ружьём словно дубиной. Он упал на колени перед своей собакой и завыл словно раненый зверь. Взяв на руки бездыханное тело лайки, прижав его к груди и поглаживая мягкую густую шерсть, всё шептал: «Зайка! Зайка! Ну как же так? Прости... Прости меня, Зая... Ну пожалуйста, прости! Ну как же, а..?» Из глаз охотника катились крупные горячие слёзы, обжигая обветренное лицо и оставляя струйчатые дорожки на небритых щеках. Глаза застилал красный туман, в ушах стоял звон, с неба безучастно смотрели холодные звёзды, а деревья и кусты вокруг бешено плясали и кружились в каком-то первобытном танце...

Сколько в таком состоянии, стоя на коленях, пробыл охотник, Столяров не помнил. Время хаотично катилось бессмысленными обрывками в каком-то другом измерении. Очнувшись, Сашка обвёл взглядом поляну. Волки бесследно исчезли, словно их и не было. На светлом саване снега лежала его Зайка, чуть поодаль, по сторонам – распростёртые тела двух здоровенных волков. Повсюду на снегу темнели пятна крови.

Сашка аккуратно положил Зайку на вещмешок, закрепил тело лайки верёвкой и закинул вещмешок за спину. Он в последний раз оглядел поляну, встал на лыжи, подхватил двустволку, и взял курс на восток.

Сашка шёл вперёд, мыслей в голове не было никаких, а на душе было полное опустошение. Не было ни усталости, ни эмоций. Не хотелось ничего – ни спать, ни есть, ни пить. Ничего... Хотелось просто тихонько лечь на этот снег и умереть. Ширк, ширк... Ширк, ширк – монотонно

шуршали лыжи по снегу... На половине дороги к дому, Сашкин путь пересекли два лосиных следа. «Корова и телок, – определил охотник, глядя на следы и вымученно улыбнулся. – Никак мои знакомые! Живите, ребята, живите счастливо, растите, родите... Дай бог вам...» В душе охотника колыхнулось какое-то тёплое, если не сказать... нежное чувство! Он всё сделал верно! Не нарушил охотничьих законов его предков, не польстился на лёгкую, доступную добычу, сберёг сохатых для природы! А если бы?.. А если бы было по-другому, то уже давно был бы дома, хлебал щи с сохатиной под стопку! И скорей всего, не было бы ни волков, ни кошмарной ночи, да и Зайка... Зайка была бы с ним – его самая лучшая на свете собака, работница, помощница, Светкина и дочуркина любимица. Да-а-а... короток век охотничьих собак... Но Зая погибла достойно, как и подобает лайке, – на охоте, а не в вонючей, блохастой конуре. Случилось то, что угодно было Богу – он дал такое тяжёлое испытание, и Сашка преодолел его, а значит, победил! В том числе победил себя, свои шкурные, низменные человеческие интересы! И пускай даже такой ценой! Так надо. У него хватило мужества не переступить черту... Теперь домой к семье, с добычей!

Почти у самой деревни охотнику попался свежий попутный снегоходный след с волокушей, и он встал на него. Так с поклажей идти было значительно легче. «Ширк-ширк, ширк-ширк» – уже быстрее и веселее зашуршали лыжи. Через несколько десятков шагов внимание Сашки привлекли какие-то тёмные катыши по обеим сторонам снегоходной дорожки... Он сразу всё понял, и от этой догадки сердце бешено заколотилось, и его пронзило с головы до пят, словно молнией! Охотник остановился, зачерпнул рукой горсть снега с тёмными комочками, сжал до боли кулак и долго так стоял, стиснув зубы и глядя куда-то вдаль, в тёмную пустоту, поверх видневшихся за полем тёмных крыш домов, поверх тёмных елей.

Снег в ладони медленно таял, окрашивая пальцы в алый цвет...

Денис ЛИПАТОВ

Родился в 1978 году в Горьком. Окончил инженерно-физико-химический факультет Нижегородского государственного технического университета. работает инженером в РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Автор книги стихов «Другое лето» (2015) и сборника рассказов «Науки юношей» (2018). Стихи и проза печатались в журналах «Нижний Новгород», «Нева», «День и ночь», «Волга», «Урал» и других периодических изданиях. Лауреат премии журнала «Нижний Новгород».

Живет в Нижнем Новгороде.

СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

1

Когда я умер, один из моих друзей, захлёбываясь от восторга, говорил над ещё раскрытой могилой о том, каким «уникальным, редкого дарования писателем он был, как умел... как не поддавался... как многие годы не снижая планки... узнаваем с первого абзаца...» – что, на мой вкус, например, отнюдь не является достоинством автора, а скорее, наоборот, своеобразным признаком тупика, конца творчества и началом схемы – и так далее, и тому подобное, и всё это с замиранием сердца, навзрыд, на вскрик, на разрыв... Вот одна, одна-единственная слеза покатила по щеке, блеснула в осеннем солнце, озарила мои бездны и исчезла в них. Такая волшебная осень! Я только тогда, в то именно мгновение, понял, что за волшебная осень в этом году – тишина совершенная, и только шелест листвы высоко над сельским кладбищем, и маленькая часовенка, словно примирившаяся с горем мать, прислушивалась к этому шелесту, едва различимая в глубине рощицы.

Затем, перебирая и путая строчки из моих ранних стихов и поздней прозы – всё это были жалкие потуги самовыражения, стремления найти свой стиль, свою манеру письма – ничего отвратительнее быть не может – освободиться от влияния предшественников – в юности, и себя самого – в старости, – перебирая их, эти строчки, удивлялся мой друг, как «он мог уже тогда предвидеть, предсказать... и всё равно, как это трагично и внезапно... любая смерть в любом возрасте внезапна и трагична, и даже смерть девяностодевятилетнего старика, а когда такой... когда так»...и т. д. и т. п. Скучное это дело – пересказывать дурака. Поневоле вставляешь свои рассуждения, чтобы поумнее, что ли, выглядело дело – стыдно ведь за друзей, – а получается ещё хуже.

Слушать без смеха всю эту патетику, все эти невыносимые гиперболы и прописные восторги я, конечно же, не мог. Допускаю даже, что мой

друг был искренен в ту минуту и сам верил в то, что говорил, или, по крайней мере, врал вдохновенно. Но вообще-то сомневаюсь: на прежних похоронах некоторых своих коллег я слышал примерно то же самое. Не только от него, разумеется, частенько даже и от себя, но речь всегда была выдержана в известных границах: безвременная кончина, при жизни недооценён, предстоит заново открыть наследие, в общем, как и у всякого жанра – свои законы. Постыдная судорога смеха нестерпимо сводила скулы, распирала рот, норовила согнуть меня пополам. Это было, во-первых, опасно – всё могло раскрыться в единую минуту, – а во-вторых, всё-таки неприлично. Я закрыл лицо, делая вид, что утираю платком слёзы, и постарался унять этот неуместный приступ, но какие-то хрипы, очевидно, всё же прорывались наружу, и, приглушённые, они походили, я так думаю, на рыдание, потому что две дамы впереди меня обернулись и сочувственно покачали головами, а позади один мой приятель удивлённо шепнул другому: «Ты только посмотри!..»

– Вы, наверное, были близки Сергею Сергеевичу? – услышал я около себя женский голос, вкрадчивый и очень печальный и, мне показалось, даже благодарный за то, что вот я, совсем незнакомый ей человек, так переживаю, так огорчён смертью Сергея Сергеевича.

– Брат, – ответил я, разглядывая её сквозь пальцы и, к своему удивлению, отмечая, что действительно не знаю её. Я ожидал увидеть кого-то из знакомых.

Дама эта, очевидно, никогда не слыхивала, что у Сергея Сергеевича был брат, и едва уловимая под вуалеткой гримаса удивления и сомнения, даже будто бы с тенью ехидной насмешки, пробежала по её лицу, но быстро сменилась выражением почтительной скорби. Она всё-таки хотела приподнять траурную вуаль, чтобы получше разглядеть меня, но, передумав на полувзмахе, сказала: «Никогда не слышала о вас... Странно...» Подождав, пока я справлюсь со своими «рыданиями», она спросила ещё, впрочем, немного смущаясь, как мне показалось, моё имя.

– Иван Сергеевич, как Тургенев, – зачем-то добавил я это «как Тургенев» и дальше, почувствовав разгон фантазии, пустился в объяснения: – Мы с ним родные только по отцу, он младше на несколько лет. Я только вчера приехал из Варшавы. Знаете, там ужасно холодно было все эти дни, а здесь... не ожидал. Я уж думал, тут сугробы.

– Да, осень в этом году необычайно тёплая. Такая, знаете, настоящая пушкинская, золотая, «в багрец и золото одетые леса». А что вы делаете в Варшаве? Живёте? Служите?

– О нет, там я был проездом, а живу я здесь, в России. Нам с Сергеем осталось от отца небольшое имение в Тамбовской губернии, вот там и живу. Барин, помещиком. Вся моя служба там: земля, земство, мужики да бабы, ребятишки деревенские, словно их Гоголь всех написал, бесконечные эти межевания, размежевания, суды и ссуды, споры с соседями за какой-то жиденский лесок, доходы, расходы, долговые расписки, дразги в опекуновом совете, старосты-миroeды, мужицкая нищета и пьянство, болезни, невежество, сено-солома... тоска, одним словом. Смотреть не на что, хоть застрелись. Мне кажется всё время, что от меня за версту навозом несёт. И чахотка следует за мной по пятам, будто я Чехов. Вот, выбрался из своей грязи, думал, с Сергеем на обратном пути повидаемся, а тут такая история... повидались. Мы ведь вместе выросли, наши матери были родные сёстры. Причём его мать была старшей сестрой. А у нас наоборот – старший брат я. Представляете, какие там страсти кипели. Шекспир.

– Скажите, пожалуйста... Любовная драма. Сергей Сергеевич мог бы и повесть об этом написать. Такой биографический материал.

– Да-да, что-то там произошло. Но родители, понятное дело, не любили этих разговоров, а мы – ни он, ни я – особо не интересовались. Хотя он, разумеется, смог бы. Может, он что-то и писал об этом. Я точно не знаю.

– Неужели вам никогда не было интересно всё это? Вся эта история?

– Отчего же?.. Но всё как-то не до этого было, а сейчас уже и спросить некого. Разве что Селим может что-то знать. Да, надо бы спросить у Селима. Он с нами давно, ещё до Реформы я его помню. Видели бы вы этого Селима! Бородища растёт от самых глаз, а глаза такие, знаете, равнодушные и злые, даже и не злые, а жестокие, словно замыслил что-то и только и ждёт удобного часа, чтобы объявить нам всем газават. Я его боялся в детстве. Всё, помню, в сад убежал, прятался, когда мама или бабушка посылали его за мной: к обеду позвать или на урок. Мне всё казалось, что он мне по-тихому в кустах малины горло перережет и принесёт меня вот так бабушке – на, мол, корми его теперь завтраком. Представляете: веранда, кругом сад, на столе разные там вазочки, розеточки – с апельсиновым вареньем, с земляничным, с вишнёвым, с малиновым, с черничным... хлеб, масло, кофе... тоже такая, знаете ли, декорация для чеховской пьесы, и тут вдруг меня, прямо как царевича в Угличе. Я до сих пор не могу его взгляда выносить. Я его тут как-то спросил между делом: «Селим, – говорю, – ты в жизни любил кого-нибудь?» Он мне отвечает: «Любил». – «Кого?» – спрашиваю. «Тебя, когда ты маленький был». – «А сейчас, стало быть, не любишь?» – «Сейчас нет». Вот и весь сказ. Он меня, оказывается, любил.

– Бросьте горсть.

– Что?

– Сейчас закапывать будут. Бросьте горсть земли, проститесь.

– Ах, да... он меня любил... какая холодная земля...

Здесь произошла одна странная вещь: я не смог разжать кисти. То есть пальцы прямо не слушались меня, а вся рука стала как деревянная, неживая. Так как народу было много, все толпились, каждый хотел успеть, я, чтобы не привлекать внимания, кое-как сунув руку в карман, отошёл, протискиваясь среди скорбящих своих друзей, коллег, дальних родственников. Кому-то – прошу прощения – наступил на ногу – ничего, ничего – кому-то загородил дорогу, кого-то нечаянно толкнул и, только уже выбравшись из толпы, почувствовал, что судорога слабнет, и, наконец, сумел разжать пальцы.

Перепугался я не на шутку. Всегда, будучи склонен к мистике и суевериям, я придавал огромное значение различным приметам. Всякое случайное стечение обстоятельств, выходящее мне как-нибудь боком, мне виделось далеко не случайным, а предопределённым, о чём-то предостерегающим. А тут такое... Попутно замечу, что до сих пор сам на себя удивляюсь и не могу понять, как я, будучи таким осторожным и даже болезненно мнительным в такого рода вопросах человеком, смог решиться на подобную мистификацию, на такой жестокий и циничный фарс? Значит, накипело.

Выйдя из толпы на дорогу, я заметил, что та дама ждёт меня. Я почему-то сразу понял, что ждёт она именно меня, а не кого-то ещё. Рядом с нею был какой-то гвардейский офицер, очень стройный и красивый молодой человек, видимо, умевший себя держать и постоянно помнивший, что он носит мундир Измайловского полка, что эта честь

накладывает определённые обязательства и т. д. Вёл он себя очень достойно и подчеркнута сдержанно. Мне он показался чем-то похожим на Вронского.

Медленно, тяжело ступая, походкой человека, ожидающего, что вот сейчас его разоблачат, столпятся вокруг, будут тыкать пальцами – вот он, вот он – смеяться в лицо, галдеть, строить рожи, пожалуй, кто-нибудь и землицей швырнёт, той самой, я направился к ним, опасливо озираясь и всё ещё надеясь, что ждут они не меня. Но ждали они именно меня. Она что-то мягко сказала лже-Вронскому, дотронувшись до его руки и, наверное, улыгнувшись, и в ту же минуту он козырнул, повернулся – золотые погоны при этом, сверкнув на солнце, резанули мне по глазам – и отошёл, мельком глянув на меня. «Рохля, – подумал, наверное. – Экая рыхлая и бесполезная фигура – штафирка – одно слово». Но козырнул и мне.

Я остановился, чтобы перевести дыхание и одновременно соображая, что ей от меня может быть нужно, в какую сторону направить предстоящий разговор и как побыстрее от неё отделаться. И затем, в последний раз припоминая, не могли ли мы с ней встречаться раньше, «при жизни» так сказать, и чуть было не прошептав «ну, с богом», – подошёл к ней.

– За что же вы так с нами, Сергей Сергееч? – улыгнулась она, протягивая мне руку для поцелуя.

2

Её звали Ольга Алексеевна. Ей было двадцать шесть лет. Она была болезненно увлечена Толстым. Но не творчеством – серьёзно так и не прочла ни одной книги, много раз начинала, но не хватало времени, терпения и не всегда можно было достать, и слишком бурные восторги по поводу первых десяти-пятнадцати страниц мешали дальнейшему чтению – всё не могла привести в порядок мысли, успокоиться, подготовить русло, и размеренное, равномерное течение толстовского текста, могучий этот поток, натёкался у неё на какие-то камни, пороги, буераки, и Волга превращалась в Терек, в Гремячую балку, в лермонтовский Валерик, разливалась, разрывалась, тут и там пенилась, шумливо неслась по ущелью, выходила из берегов, переполняя собою сердце, и она не могла сдержать ни восторгов, ни радости – всё радовалась, радовалась – чему? – хотелось что-то делать, любить, куда-то ехать, кому-то помогать, перевязывать раны, успокаивать...

Она так и не смогла заставить себя решиться на что-то серьёзное. Так и жила в каком-то причудливом и неустоявшемся тумане образов с не до конца выясненными родственными связями, где Пьер и Стива, например, так похожие друг на друга своей московской тучностью, неторопливой барственностью и обаятельной, напоминающей о медвежатах, ланцой, соединялись в одного человека, а очки Пьера, его подслеповатость, делали его в её воображении ещё и родственником Грибоедова. О существовании «Казаков», «Холстомера», «Хаджи-Мурата», «Крейцеровой сонаты», «Отца Сергия» или, скажем, «Дьявола» она вообще не догадывалась. Идеи «толстовцев», их движение – её тоже не занимали. Она что-то слышала о них, какие-то отголоски доходили и до неё, но думала, что «толстовцы» – это политическая партия, сторонники другого Толстого, министра образования, когда-то бывшего.

Восторги со временем проходили. Из года в год ничего не менялось. Та же нищая деревенька летом, та же чахлая рощица, та же больная речка. Родители старели и становились всё немощнее, а собственная жизнь казалось бесполезной и бесплодной. На зиму перебирались в город, и это за весь год было единственным заметным событием. Действительность слишком противоречила ожиданиям. Радость сменялась печалью, печаль – тоской. Всё казалось скучным и заунывным. Книги валились из рук. Она давно поверила всем на слово, что автор – человек великий. Это не требовало особых усилий. Она болезненно увлеклась личностью автора. Именно личностью этого толстолобенького доброго дедушки, в окружении внуков или крестьянских детей пьющего чай или одиноко – впрочем, нет, не одиноко, а под надзором кинооператора – идущего за плугом, играющего в шахматы с Чеховым – здесь фотограф – совершающего верховую прогулку – снова кинооператор – беседующего с Горьким, Куприным или Короленко – опять фотограф – и, наконец, холодной осенью, босиком, ушедшего из дому. Тут уж никакой кинооператор или фотограф за ним не следовал. Наконец-то отвязались. Она даже как-то купила в книжной лавке, зимой, в городе, его небольшой портрет: шишковатый лоб, борода, утомлённый и мудрый взгляд. Купила, сразу узнав его. Повесила у себя в комнате. И только недели через две обнаружила внизу под литографией подпись. Шрифт был очень мелкий, пришлось встать на банкетку, чтобы прочесть. Там было написано «Сэр Чарльз Дарвин». Она удивилась, она не знала, кто такой этот Дарвин. Удивилась, как могла обознаться, да и не могла – решила, что какая-то типографская ошибка – и не стала снимать портрета – для неё это был Толстой.

И правда, было во всём этом что-то ненормальное.

– Уехать бы в Ясную Поляну, поселиться там простой крестьянкой...

– Оленька, не надрывай мне сердце! Что ты говоришь!... – старый больной отец её только беспомощно махал руками и, шаркая к себе в комнату, громко сморкаясь, по пути звал жену: – Мать! Мать! Ты ей скажи...

Но и мать, как бы строго она ни смотрела, что бы ни говорила, – не могла ничего поделать. Оставалась одна надежда на замужество. Хотя и она уже становилась всё прозрачнее: Оленька засиделась.

Но всё же хаживал к ней один молодой человек, робкий и краснощёкий мальчик, с едва пробивавшимися усиками, и вроде даже из хорошей семьи. Она его принимала, потому что больше женихов всё равно не наблюдалось, а он был милый, хотя временами и скучный. И она себя убедила, что, наверно, любит его, и было бы жестоко, даже бессердечно, с её стороны отвергать его. Он читал ей стихи. Слава богу, не свои, но и чужие не всегда находили отклика в её сердце, но она никогда этого не показывала, а говорила: «Да, Володя, это мило, это хорошо». – «Это Блок, Ольга Алексеевна, это не мило и это не хорошо – это Блок! Рождённые в года глухие пути не помнят своего. Мы, дети страшных лет России, забыть не в силах ничего!» – «Да-да, и правда, очень хорошие стихи». Но он почему-то вздыхал и всегда будто бы обижался на такие её слова. Она не понимала, почему и что он от неё хочет, и тоже вздыхала. Вместе тошно – скучно врозь – говорила, глядя на них её мать. Всё так и катилось под гору – ни шатко ни валко – ни нашим, ни вашим – родители не вмешивались в их дела – боялись спугнуть жениха – Володя приходил, дарил букетики бледных ландышей или незабудок, читал стихи, Оля вздыхала и скучала, он дулся, потом опять приходил, и всё начиналось снова.

Но однажды он довольно серьёзно её напугал. Пришёл возбуждённый, радостный, даже восторженный, но какой-то весь неровный и недобрый, а в глазах такой синий ледяной блеск, что и ресницы от него будто подёрнулись инеем. И почему-то ей пришло на ум – словно только что человека убил. И всё говорил, говорил, говорил, как ему теперь всё понятно, как теперь всё будет чудесно и хорошо, какое прекрасное будущее их ждёт, что он теперь чувствует в себе новые силы, словно заново родился, словно стал теперь тем самым сверхчеловеком, как у Ницше. «Что с вами, Володя?» – «А знаешь, что?..» – И сразу же притянул её к себе, больно сдавив сзади шею, впился губами, так что и вздохнуть не успела, а только увидела, что губы у него тоже почему-то синие, как у покойника, и почувствовала его дыхание – холодное и злое. Этот его напор, эта стремительность, эта грубость – настолько ошеломили и напугали её тогда, что она просто растерялась и не сопротивлялась нисколько, а только боялась, чтобы старики ничего не услышали и не вошли, чтобы не было скандала. Но всё равно ничего у него не вышло: один только стыд и рукосуйство. Запутались в юбках, чулках, бретельках, в бесконечных этих крючках и застёжках. К тому же, срывая с себя одежду, он рассыпал из кармана жилетки какой-то белый порошок и, как только заметил это, сразу же забыл про неё, а стал ползать по полу на четвереньках в приспущенных брюках и дрожащими руками собирать его, бормоча какие-то ругательства и чуть не плача. И так ей стало обидно и противно, так невыносимо больно и стыдно и за него, и за себя, такой жалкий он был, что она просто отвернулась к стенке и представила, что умерла.

После того случая он был у неё только однажды, и то – один прийти не рискнул – а с товарищем: Россия вступила в войну с Германией, и они записались добровольцами – да и всё равно объявлена мобилизация – и скоро уезжают на фронт. Пили кофе с корицей и булочками. Апельсиновое варенье. Вишнёвый пудинг. Победа не за горами. Германия долго не выдержит. Кайзер пожалеет. Обожаемый Государь. Товарищ Володи был чем-то похож на Вронского, чем и запомнился Ольге Алексеевне.

Всего через два месяца Володю убили. Атака русской кавалерии захлебнулась под артиллерийским огнём, а панцирь-егеря с пулемётами завершили дело. Тот товарищ, с которым Володя приходил перед отправкой на фронт, прислал Ольге Алексеевне письмо с известием о его гибели и с какой-то серой, обугленной тряпичей – клочок от кителя – всё, что от Володи осталось. Тряпку эту Ольга Алексеевна безжалостно выбросила, а на письмо ответила и в нём, среди прочего, просила Володиного товарища беречь себя и в пекло попусту не лезть. Дарвин-Толстой взирал на всё это совершенно равнодушно: как Дарвин он понимал, что это и есть «естественный отбор» в действии, а как Толстой – он видал и не такое и давно от всего устал.

А примерно через полгода пришло ещё одно письмо, где Володин товарищ сообщал, что за свои геройства получил чин поручика и даже переведён по ранению в Петербург, в гвардию, в Измайловский полк и приглашает Ольгу Алексеевну приехать к нему.

Всё это было так неожиданно и в то же время желанно, настолько туманно и необдуманно и потому заманчиво, что Ольга Алексеевна в ответном письме хотя и отчитала адресата за дерзость, но далее намекнула, что предложение не отвергнуто наотрез, а только нужны ей некоторые гарантии и чётко прописанные условия, на которых он её приглашает, а также изложила и свои условия, без чего не согласна приехать.

Через месяц он приехал сам. Заморочил старикам голову, сделал предложение, убедил заложить деревеньку. Через два месяца – свадьба. И не где-нибудь – в Петербурге.

Но она всё про него уже давно поняла и знала, что никакой свадьбы, конечно, не будет. Она всё поняла, вернее, почувствовала ещё тогда, когда они с Володей пришли к ним перед отбытием в армию и взгляды их встретились. И это были не щенячьи Володины глаза: восторженные, глупые и влюблённые. Там, в тех глазах, были и расчёт, и аппетит. Даже аппетиты. Это были глаза волка, который выбрал свою волчицу. И она вдруг поняла, что она и правда – волчица, а не «тургеневская барышня». Вот тогда-то они и договорились. Вот тогда-то, за апельсиновым вареньем и вишнёвым пудингом, всё и стало ясно. И это, конечно, он снабдил тогда Володю тем порошком. И, разумеется, не было никаких его «геройств» и «ранений», за которые он переведён в гвардию, а были подкуп или чьё-то покровительство или и то и другое. Это глупый Володя ехал воевать и умирать за веру, царя и Отечество. Этот – никогда. Наверняка отсиделся в штабе, в адъютантах, и в той атаке, конечно, не был, но Георгия за неё – получил. И она не могла понять: ненавидит она его, любит или всё вместе? И самое главное – зачем она ему? Что он в ней разглядел? И что они будут там, в Петербурге, делать?

– Отлично устроимся, – говорил он, усаживаясь в мягком кресле отдельного, на двоих, купе. – Для начала заставим раскошелиться одного жирного кота. Он тут задумал сыграть весёлую шутку – простудиться на собственных похоронах. Зачем? Да какое нам дело, но скандал может быть грандиозный, и он его боится. А мы на этом заработаем.

– Весёлая у нас с тобой будет жизнь в Петербурге, – сказала она и почувствовала, что почему-то имеет власть над этим человеком, откуда-то знает, как этим зверем управлять и что он будет её слушаться и даже служить ей, и будет это делать с наслаждением.

Любуясь, она потрепала его по загривку, крепко ухватила за волосы на затылке, притянула его голову к своей и, оскалась и беззвучно зарычав, жадно впиалась в его губы. Поезд неслышно тронулся, отчаливая от перрона.

«Дьявола» она, оказывается, всё-таки прочла.

3

Проснулся я довольно рано, хотя накануне засиделся далеко за полночь, разбирая свой старый архив. Среди прочего нашёл один давний, совершенно забытый и, разумеется, никогда не публиковавшийся рассказ, в котором, к своему удивлению, обнаружил ту же коллизию: старый писатель инсценирует собственную смерть, а двое авантюристов – молодые мужчина и женщина – шантажируют его. Было даже сказано, что шантажист – гвардейский офицер, измайловец, была подробно прописана их любовная интрига. Теперь получалось, что эти двое сошли как бы со страниц моего же рассказа. Дамочка даже ручку мне протянула тогда, для поцелуя, как по написанному. Главного героя там тоже звали Сергеем Сергеевичем, а его слугу – Селимом. Вообще всё это отдавало какой-то дурной достоевщиной – охота за компрометирующими письмами, шантаж, падшие женщины, внебрачные отпрыски знатных родителей, пьяные проповеди, молодые развратные офицеры-гвардейцы, бешеные купцы, игроки-фаты. Кстати, в студенчестве мне

посчастливилось видеть Достоевского, приблизительно года за полтора до его смерти. Шёл он по Невскому, не разбирая дороги, и внешне производил довольно жалкое впечатление. Рядом с ним, вприпрыжку, едва за ним поспевая, семенил какой-то молодой человек, почти подросток, по виду точь-в-точь Аркадий Долгорукий, герой его повести.

Рассказ тот не был завершён, и по всему выходило, что жизнь как будто решила это исправить и показать автору, как это бывает, и чем там у них всё закончилось, и что вообще с ней такие шутки плохи. «Вот, – сказал я сам себе, – всегда всё надо доводить до конца, чтобы кому-нибудь не пришлось в голову сделать это вместо тебя!» Подивившись такому забавному совпадению и ещё немного подумав эту оригинальную мысль, о том, что всё следует доводить до конца и где у жизни может быть та голова, в которую пришла идея завершить мой ранний и ужасно несовершенный юношеский рассказ, я крикнул Селима и велел ему нести завтрак и газеты.

Селим, надо сказать, был особенно груб все эти дни. Непонятно даже почему и что его так уж раздражало – то ли что барин сбрил бороду и усы и стал мальчишка мальчишкой, то ли весь этот бывший тут ещё недавно маскарад: восковое чучело в гробу на столе, какие-то люди, «поверенные барина», сновавшие с чёрного хода, полушёпотом, на цыпочках, похожие на шпииков, разносившие по редакциям и по друзьям «печальную новость», или хотя бы то, что сам барин прятался в задних комнатах, куда никогда раньше не заходил, и ему, Селиму, приходилось теперь шаркать через всю квартиру, неся газеты или поднос с завтраком. Вот, кстати, как это время было описано в том моём давнем рассказе, такая ещё любопытная деталь: «Сергей Сергеевич временами забывался и вместо теперешнего его имени звал Селима по-старому – Архипом. Селим-Архип огрызался. Чего он?.. С годами у него появилась обыкновенная среди старых и одиноких людей привычка – разговаривать с самим собой. И он всё время – приносил ли поднос с закуской, чистил ли платье или сапоги, возился ли с чем-нибудь на кухне – о чём-то кряхтел, ворчал, бормотал, время от времени громко вскрикивая, например “Ага, мечтай, как же!”, или – “А вот шиш тебе с маслом!”, или – “Ну, уж это – дудки!”. Иногда Сергей Сергеевич пробовал допытаться у него, о чём он там вёл свои разговоры, к чему относились все эти возгласы, но Архип только вздыхал, отмахивался от него, как от блаженного, бормотал что-то совсем уж неразборчивое, обычно подытоживая эту своеобразную беседу безнадежным “Эх, недотёпа!”. И Сергей Сергеевич навсегда оставил свои попытки. Вместе с завтраком он затребовал газет».

Газеты настоящий Селим тоже принёс. Новости с фронта. Списки убитых. Государь в Ставке. Известия из-за границы. Нам пишут. Ага, вот и о нём самом: «С прискорбием сообщаем о безвременной кончине... отпевание состоялось...» На последней странице рекламы: ресторанов, зубных врачей, гастролирующего цирка, новых шансонье, женских чулок, концерта поэтов Мариенгофа и Есенина в «Бродячей собаке» (какие-то новые, не слышал раньше), венерологов, ваксы для сапог... Частные объявления. Среди прочих: «Ивану Сергеевичу Т. Ваши пожертвования будут с благодарностью приняты по известному Вам адресу до завтрашнего дня до трёх часов по полудни. Анонимность гарантируем».

– Ну, уж это – дудки! – как нельзя более кстати донёсся из прихожей голос Селима.

Я усмехнулся. Этот старческий возглас Селима, подытоживший очередной его разговор с самим собой и так удачно совпавший с моментом, когда я прочитал объявление, адресованное, безусловно, мне, придал мне некоторой решимости, развеял мимолётный страх, подспудно овладевавший мной, и почти убедил меня в том, что всё не так безнадежно, что решение найдётся. Вслед за этой уверенностью пришло приятное расслабление, ощущение юношеского озорства, игры. Впереди была долгая и счастливая жизнь. Я потянулся, захотелось ещё немного вздремнуть, понежиться в этой сладкой неге. Интересно, между прочим, что я там писал об этом моменте лет тридцать тому назад? Ага, вот это место: «Сергей Сергеевич отложил газету на столик и, переверачиваясь на диване своим толстым телом, сопя, пыхтя, отдуваясь, наконец, как медведь в берлоге, улёгся, заурчал, захрапел, закрылся с головою одеялом, всё забыл, всё отринул и уже почти стал задрёмывать – ещё часок, часок ещё бы, как вдруг чья-то рука решительно растолкала его, растормошила, нещадно стащила одеяло, вцепилась когтями в плечо: “Эй, барин, барин! В девять хотел ехать уже! Забыл?” Сказав это, Селим вышел, громко стуча каблуками, а вошёл ведь неслышно, крадучись, на носочках, чтобы не разбудить. Что оставалось делать? Как было сладить с упрямым стариком? Да и в самом деле – пора уже было ехать...»

Я встал.

– Селим, одеваться!

День обещал быть солнечным и тёплым. Селим принёс одежду, открыл окно. В комнату потянуло влажной, почти мартовской свежестью. Было тепло и ветрено, что редкость у нас в Петербурге в это время года. Снег, выпавший ещё вчера, теперь уже почти весь растаял, и кое-где на тротуарах ещё оставалось от него грязно-серое размокшее месиво. То была маленькая репетиция весны. Прохожие торопились, сновали из переулка в переулок, почему-то не обращая на неё никакого внимания. Редкие останавливались, щурились на небо, улыбаясь, и спешили дальше.

Приятно было одеваться у раскрытого окна, дышать свежим воздухом, наблюдая утреннюю городскую суету, особенную суету – столичную, петербургскую, и осознавать, что ты уже к ней не имеешь почти никакого отношения, что ты абсолютно свободен и можешь идти куда хочешь и видеть только эту репетицию весны и не знать никаких дел и забот. Надо было, правда, уладить кое-какие формальности, но это завтра. Сегодня я принадлежу только себе.

Архип по своему обыкновению лез со своей «помогой», возился с запонками, пытался накинуть на меня галстук – уйди, старый хрыч, – будто хомут на непослушную лошадь, лапал воротнички и манжеты, ворчал, по своему обыкновению, не переставая – «А ну, поворотись!.. Не балуй!.. Экай фармазон!.. Что за чучела!..» – и т. д.

– Поговори у меня, – шутя пригрозил я Архипу.

– А чай теперь не прогонишь меня? – неожиданно громко и строго спросил Архип, и я увидел, что старик плачет.

Я смутился. Чёрт возьми, а ведь и правда, я совсем не подумал о нём, что с ним будет, куда его девать! А ведь не скотина, живой человек и столько лет со мной, просто так не прогонишь. Имя даже новое догадался ему придумать (и он ведь откликнулся на него, хотя и ворчал), а что с ним самим потом делать – не спохватился.

– Шарф, пальто! Ниже, ниже опусти, вот так. Шляпа? Где шляпа? Архип, шляпу! Хотя нет, не надо.

Всё это время – подавая мне шарф, пальто, шляпу – Архип не отрываясь, вопросительно смотрел на меня, почему-то с открытым ртом, а по лицу его не переставая катились слёзы, так, что даже облезлые его бакенбарды и те намокли.

Оделся. Можно идти. Архип, с дрожащей челюстью и мокрым от слёз лицом, не сводил с меня глаз.

– Не бойся, старик, я тебя не оставлю, – сказал я ему уже в дверях, хотя не представлял ещё, что с ним делать.

Легко, словно гимназист, отпущенный на вакации, сбежал я по лестнице. Но ещё долго, смущая сердце, доносились до меня всхлипы моего верного Архипа, даже и на улице, хотя там, разумеется, я уже не мог его слышать.

4

Едва я вышел на улицу – городская суета сразу же захватила и закрутила меня, словно бурный поток щепку. Я забыл и о весне, и о свободе, и о покое. День уже не казался таким замечательным. Оттепель только раздражала: уж скорей бы настоящая зима, с морозами, а то кругом грязь и слякоть. Шляпу надо было всё-таки надеть – слишком ветрено. Всё это вертелось у меня в голове вперемешку со сбивчивыми и нестройными планами на предстоящий день. Следовало посетить некоторых знакомых. Кое-кто из них был в курсе дела – как, например, мой многолетний нотариус и адвокат, человек совершенно бесстрастный и непроницаемый, или ещё Александр Иванович, старинный приятель и коллега по писательскому ремеслу, – а кое-кто и нет. Для вторых я был Иваном Сергеевичем, братом покойного, удивительно – почти близнец! – на него похожим – только без бороды – и неожиданным наследником львиной доли состояния и всех прав на посмертные издания не опубликованных ранее произведений, коих масса, и которые никогда бы и не следовало публиковать, и которые Иван Сергеевич – будьте уверены – никогда и не опубликует. Ни жён, ни детей, которые могли бы быть естественными наследниками, у Сергея Сергеевича не было. Множество околотературных проходимцев затеяли было тут же, у гроба, посмертное собрание сочинений в энном количестве томов, о чём, собственно, и говорили уже на похоронах, пусть ещё как-то глухо и обтекаемо, но уже с блеском в глазах, чуть ли не потирая ладошки. Слетелись, словно трупные мухи. «Если умело поставить дело, создать рекламу, подготовить публику – это же довольно доходное предприятие получится!» Всё это почти тут же, полушёпотом, вслед за словами об уникальном и редком даровании. Натё, выкусите! Или, как говорит мой Архип – «А вот шиш тебе с маслом!» Я всего этого насмотрелся и позора не допущу. Завтра в присутствии всех заинтересованных лиц вскроют завещание – плотный, лакомый конверт – и мой нотариус, полтора года до запятой выверявший текст, прочтёт его в гробовой тишине, как приговор, своим сухим, не допускающим апелляций голосом и положит конец всем кривотолкам и «прожектам». Представляю этот обвал вздохов, недоумений и возмущений в конце! Мне ужасно хотелось бы пойти понаблюдать эту сцену. Просто как писателю интересно, с профессиональной точки зрения. (Хотя не пригодится уже.) Но это опасно. Я рискую общаться только с теми, с кем был знаком «при жизни» лишь вскользь, мимоходом, или с теми, кто знает всю подоплёку дела. Таких, как я уже говорил, было немного: нотариус, Архип, Александр Ивано-

вич да ещё два-три человека в Министерстве внутренних дел и Министерстве имуществ, без участия которых дело о наследстве не пошло бы и которые за приличную мзду выправили мне новые документы. Кто-то из этих крысоподобных вздумал ещё и шантажировать меня. Действовать в открытую они, конечно же, побоялись – в этом случае я просто всё рассказал бы полиции, и они попались бы ещё и на подделке документов, а мне уже было бы всё равно – и подослали ко мне, прямо на кладбище, своих людей – тех самых, женщину и офицера. Этот офицерик, что любопытно, оказался настоящим, а не ряженым, как я подумал сначала. Он и впрямь был гвардейцем, даже каким-то князьком и очень, судя по всему, сам себе нравился. По особому, ледяному блеску в их глазах – дамочку не спасала даже вуаль – я догадался, что они оба были под кокаином. Это меня ещё больше рассмешило и разозлило тогда. Я расхохотался им прямо в лицо. Дураки! Неужели они могли подумать, что я после всего случившегося испугаюсь шантажа! Я их прогнал тогда. На лице дамочки отразились непонимание и страх, и она беспомощно забегала глазками. Офицерик тоже явно не ожидал такого отпора и не знал, что делать – разоблачить меня прямо здесь, при всех, означало лишиться лакомого куска, но и отпускать меня им было нельзя.

– Не отчаивайтесь, Ольга Алексеевна, – сказал он, беря её под локоток, – Сергею Сергеевичу трудно сейчас, ему нужно время, чтобы всё обдумать.

В общем, они объявили мне отсрочку до завтрашнего, то есть уже сегодняшнего дня, понюхали и исчезли, как те две крысы из «Ревизора».

Этого следовало ожидать. Затеявая такую скверную игру, которую затеял я, этого следовало ожидать. Я тогда решил не дать себя запугать и в течение всего последующего дня и ночи старался совершенно не думать о них. Но сегодня утром, просматривая газеты и наткнувшись на их объявление, адресованное мне, я понял, что они от меня не отстанут, а один я не смогу выпутаться. Мне нужен был совет человека стороннего, здравомыслящего, смелого, бывшего в курсе произошедших событий и до известной степени мне сочувствующего. Это мог быть только Александр Иванович.

Он был известный писатель, весельчак и пьяница, знаменитый в городе бузотёр и тоже любитель всяческих авантюр. А ещё мой старинный приятель. Когда я впервые, года два назад, рассказал ему о своём замысле, как бы в шутку, опасаясь, не сочтёт ли он меня сумасшедшим, он был в восторге, расхохотался, как Гаргантюа, и захлопал в ладоши, как ребёнок. Отсмеявшись, Александр Иванович сказал мне, что вся эта история напоминает ему чем-то повести Пелевина, модного в девяностых годах писателя мистического направления. И вот теперь я направлялся к Александру Ивановичу за советом.

Ещё вчера, за ужином в одном захудалом ресторанчике, где мы подалше от случайных знакомых и ненужных глаз устроили с ним своеобразные «поминки» с шампанскими и цыганами, я, между прочим, рассказал ему, как бы вскользь, и об этой неприятности с шантажистами. Он тогда подумал, пожевал, махнул рюмку водки и сказал просто и решительно:

– Их надо просто проучить, отходить хорошенько.

– Как это – отходить? – не понял я.

– Да очень просто – избить, поколотить. Набить морду. Как мужики бьют друг друга. Кулаками.

– Да полноте, Александр Иванович! Возможно ли?

– А то нет! Назначьте им время. Мы втроем приедем – я, вы, Маныча ещё возьмём – Маныч, вы пойдёте? – Маныч, верный его Санчо Панса, сделал знак, что готов с ним в любое пекло и без разговоров.

– Ну, вот и прекрасно, – продолжал Александр Иванович. – Отделаем так, что и думать забудут. Эх, повеселимся!

– Позвольте, а дамочка? Её что, тоже бить?

– Ну это лишнее, конечно. Да на неё посмотреть посвирепее – ей за глаза хватит. Соглашайтесь, а то я скоро в армию уезжаю. Да-с, призван. Поручиком, в ополчение в Финляндию, командиром пехотной роты. Могу я покуражиться напоследок или нет? Знаете русский обычай: рекрут, сданный не в очередь, – куражится.

Вчера мне его предложение показалось безумием. Хотя кто бы говорил. Александр Иванович был знаменитым любителем драк. О его драках ходили легенды, да и сам он любил рассказать об этих своих «подвигах». Тогда, изрядно захмелев, он пустился в воспоминания:

– Эх, да разве же сейчас так дерутся, как дрались в прежнее время...

И в очередной раз он рассказал не однажды уже слышанную мной историю, как он в Одессе отбивал бильярд у одного завсегда, который занимал стол с самого утра и катал шары до вечера, никого уже не пуская. Как потом его противник, пришёл мириться, узнав, что женщина, в которую он влюблён, сестра Александра Ивановича, у которой Александр Иванович и гостил, а что сам Александр Иванович – Александр Иванович, знаменитый на всю Россию писатель – ему было наплевать, потому что он всё равно ничего у него не читал.

Отделать, значит. Побить. Безумие какое-то. Мальчишество. А вот сегодня, выйдя на свежий воздух, я вдруг подумал, что не такое уж это и безумие. Что надо и правда сделать так, как он предлагает. Я шёл к нему, чтобы договориться о месте и времени, и надо было ещё послать записочку, этим двоим. Они уж точно не ожидают такого поворота. Шпана великосветская.

Тут я вспомнил, что оставил дома папиросы, а курить хотелось невыносимо – свежий воздух, пешая прогулка. Я остановился, отыскивая взглядом мальчишек-лоточников, которые всегда вертелись в толпе, лезли то с газетами, то с какими-то кренделями да сайками, но самый ходовой товар был у них – папиросы. Все они были на одно лицо, все кричали всегда одно и то же – бойкие городские гавроши, белобрысые и чумазые, но теперь я не видел ни одного. Я раздражённо озирался, теребя в руках перчатки. Ветер с каким-то нарастающим недовольством и недоверием обдувал меня со всех сторон, словно обыскивая, словно пытаюсь выяснить, кто я такой и зачем здесь стою, а прохожие в немом беспамятстве ежедневной своей суеты, натываясь на меня, злились, грызались себе под ноги, совсем как мой Селим, обходили меня и утекали дальше. Вот старенький облезлый чиновник смерил меня крысиными глазками и юркнул в переулок, вот близорукий, болезненного вида тощий молодой человек в фуражке железнодорожника чуть не столкнулся со мной и, трусливо пробормотав невнятные ругательства, исчез в толпе, вот мужик с кадкой сельдей на голове – Посторонись! – и я сторонюсь, вот жандарм в штатском, но он по привычке надзирает, забыв об отпуске, и я узнаю его по этому взгляду, по этому толстому красному лицу с вылинявшим усом, с дряблыми мешками под глазами, вот студент, вот старушка, вот дама, вот гимназист, ещё гимназист (этот – дылда), ещё дама, чиновник, телеграфист, японец, ещё чиновник, вот

свой брат петербургский байбак, вот какой-то щеголь бежит поперёк улицы, уворачиваясь от других прохожих, и машет извозчику. Вот наконец среди всех этих высоких людей я вижу мальчишку с огромным коробом, который он еле тащит впереди себя, и ремень больно натирает ему шею, а поднять воротник и подсунуть его под ремень он не догадывается или ему несподручно. Шапка-ушанка сползает ему на лоб, он поправляет её постоянно, пальцы едва видны из рукавов – тулупчик с чужого плеча, ещё велик – ну велик – не мал, подрастёшь – будет впору. Я подзываю его.

– Чего изволите?

Я изволю папирос.

– «Кронштадтские», «Петровские», «Крымские»...

Я беру «Крымские». Лезу в карман, чтобы расплатиться. Где-то должна была быть мелочь. Не в этом. Лезу в другой. Запутался в подкладке. Так... Господи! Что за чёрт! Кто это мне напихал полный карман земли? Архип, что ли, со злости? Чудак старик, обиделся... Тут я чувствую что-то странное: какое-то шевеление между пальцами, там в кармане. Господи!.. Я понимаю, что это за земля. Панический ужас, почти истерика охватывают меня – колени трясутся, руки дрожат, как у многолетнего пьяницы, я лихорадочно вытряхиваю её, выворачиваю карманы, горсти земли вываливаются на ботинки, на пальто, на брусчатку мостовой, а вместе с ней вываливаются большие белые жирные черви. Я чувствую, что у меня изменилось лицо. Мальчишка видит, что творится что-то неладное, он, не спуская с меня глаз, торопливо подбирает мелочь, которая со звоном высыпалась на мостовую вместе с землёй и червяками, испуганно смотрит на меня, сдвинув шапку на затылок, подбирает мелочь и затем, не оглядываясь, перекинув свой короб за спину – убегает прочь.

Алена БАЙКИНА

Родилась в посёлке им. М.И. Калинина Ветлужского района Горьковской области. Окончила исторический факультет Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. Десять лет учительствовала в школе, работала на радио, главным редактором газеты «Выкс@.ru», в настоящее время сотрудник библиотеки «Отчий край».

Живет в Выксе.

ОЛЮШКА

Ольга была дурочкой.

Даже те, кто изначально не желал признавать этой истины, поближе познакомившись со смешливой хохлушкой, сокрушенно кивали головами. Даже звали ее как-то снисходительно: «Олюшка». Мол, что возьмешь.

Говорить с Олюшкой было решительно не о чем. Любые прописные истины та принимала как откровение, удивлялась всему, широко распахнув глаза, а через минуту напрочь забывала о только что сделанном открытии и готова была восторгаться им вновь.

От книг у Олюшки случались неодолимые приступы сонливости, и она зевала, округлив пухлые губки. Парни заглядывались на умильную мордашку, вели Олюшку в кафе, в парк, прогуливали ее и медленно ужасались – кто сразу, кто чуть погодя – надо же быть такой дурочкой!

И что самое замечательное – ни один из них не обидел наивную подружку. Расставались, обещали еще зайти, Олюшка смотрела очарованно. Но расстраивалась недолго. Она вообще переживать, кажется, не умела.

Сбежит молоко на плиту, завоняет все общежитие, а Олюшке – ука-тайка. «Вот ворона!» – сама себя корит, а смех так и рвется наружу. Экзамен завалит, слезку по щечке размажет, купит себе мороженое, сядет в парке на лавочку, скормит лакомство подвернувшемуся псу – и опять веселехонька.

В университет Олюшка чудом поступила. Квота была на сельских, а она еще у родителей шестая, да с Украины, да с направлением! Думаю, в приемной комиссии даже аттестат ее не смотрели. Направление ей дядька выправил, это она потом всему курсу рассказала. А сессии сдавала как придется. Я даже не скажу, откуда началось это шефство над Олюшкой. Но выглядело оно так: написал контрольную себе – сделай и Олюшке. Почему-то мысль о том, что девушку могут отчислить, казалась несправедливой. Не только, кстати, студентам.

Сколько терпения проявляли профессора, к которым Олюшка приходила сдавать Древний Рим, Средние века, историю культуры, а что того тяжелее – философию.

– Итак, голубушка, вы хотите мне сказать, что восстание Спартака было подавлено?

Олюшка распахивала глаза и честно кивала.

– Совершенно верно, голубушка! Давайте посмотрим, что у нас во втором вопросе.

Они дружно смотрели в билет, потом профессор короткими фразами медленно сообщал Олюшке содержание темы, а она удивленно кивала. Предельная лаконичность объяснений заключалась в том, что Олюшка панически боялась длинных фраз, ее от них просто охватывал ужас. В полном оцепенении девушка просиживала лекции, выходила из аудитории бледная, с испариной на лбу и бежала пить в туалет. Но лекции не пропускала. Ни разу.

Олюшка была бесконечно добра и отзывчива. Чужая забота тяготила ее как собственная, порой даже больше. Но вот хлопотное ее внимание, трогательную услужливость мог выдержать далеко не каждый.

Игорь терпел. Когда он всадил в мякоть руки нож, починая телевизор, Олюшка неделю приходила помогать ему одеваться. Может, и кормила бы с ложечки, да рука-то – левая. Ел он сам.

Игорь пришел к нам на третий курс. И скоро стало заметно, как смотрит он на чернобровую дивчину, как тащит ей из буфета пончики на последние копейки. «Игорь, она ж... ну, того... ну дурочка же...» – пытались образумить парня друзья. Он мотал головой и лениво отбрехивался: «Отстаньте. У меня мозгов на двоих хватит».

Рядом с двухметровым атлетом пухленькая Олюшка выглядела умильно. Когда он познакомил ее с родителями, те после совместного ужина пригрозили ему отлучением от дома. В семье потомственных интеллигентов, коренных москвичей, подобное невежество определялось хуже проказы.

Игорь спорить не стал. После окончания университета – он с красным дипломом, она тоже без единой четверки – тихонько расписались в районном загсе и уехали к ней в деревню. Дядя таким образом получалтаки толкового педагога в сельскую школу, а Олюшка...

Олюшка через девять месяцев рекордно родила Игорю двойню. Еще через год их было уже пятеро, а когда я приехал погостить – шестеро. Старшие – Димка и Кирилл – лицом удались в мать, да и по характеру добрейшие ребята. Зато Варька и Богдан – тем палец в рот не клади. Игорь строго следил, чтобы дети не ограничивались сказками про деду-репку, и было заметно – их интеллектуальным развитием он озабочен больше, чем хочет показать.

Впрочем, малышня проявляла всяческую сообразительность, больше в шалостях, конечно, но куда еще было с них требовать. Дома была та невообразимая чистота, которая приводит в ужас работающих жен и матерей, вызывая в них комплекс неполноценности. Олюшка похудела, вертелась по дому ужом – за детьми посмотреть, за скотиной, а к приходу мужа с работы на столе было как у меня на Новый год: первое, второе, третье, закуски и компот. Впрочем, вру. Компот пили дети, а для Игоря у Олюшки всегда была припасена настоечка. И черноплодная рябина, и клюква, и еще травы какие-то, одной ей известные. Игорь выпивал тридцать граммов и начинал не спеша есть. Детки за столом не шумели – Олюшка следила. Сама она сидела молча, слушала наши с Игорем

разговоры и иногда удивленно распахивала глаза. Каждое высказывание Игоря сопровождала кивком, и в глазах у нее светилось восхищение.

После обеда мы курили на крылечке. Сытость, для моего измученного столовками желудка непривычная, тяготила и вместе с тем умиротворяла.

– Ну, так как оно, Игореха?

– Хорошо.

То ли ответил он слишком поспешно, то ли я подсознательно был готов ему возразить, вот и не удержался:

– Ты ж мог ученым стать. А теперь вот сидишь... Борщи трескаешь. Огород навозом удобряешь.

– Что до навоза, так зато я картошку ем и не боюсь, что в ней химии всякой больше чем крахмалу. А ученым...

Игорь уронил столбик пепла на вязаный половичок под ногами, нагнулся и тщательно счистил серое пятнышко.

– Ты веришь, что я стал бы нобелевским лауреатом?

– Ну, насчет нобелевского не уверен...

– Вот. И я не уверен. Ну живешь вот ты, спишь, поди, на кафедре, по командировкам мотаешься, статьи пишешь. Пишешь ведь?

– Пишу.

– А публикуют их часто?

Я замаялся. Не то чтобы их совсем не печатали, но если отбросить вестник кафедры да специальное издание, спонсируемое местной администрацией, пожалуй, похвастаться особенно было нечем.

– Ага, – хмыкнул Игорь. – А я вот в прошлом году девятнадцать человек выпустил. Может, они не станут великими деятелями, но то, что хорошие люди получились, – за это я отвечаю. Свои вот растут. Я умру, Олюшка, ты умрешь. А они останутся жизнь продолжать. Какими мы их вырастим, такое и будущее будет. Понимаешь? Инвестиции в завтрашний день. Мой, твой, человеческий. Думаешь, я на кафедре мог бы влиять на будущее?

– А как же студенты? Тоже преподавательская деятельность.

– Нет. Студенты – это другой материал. Вот вспомни, пока мы учились, много ли с нами о душе-то разговаривали? Или вот ты своих учишь добро и зло различать?

Я промолчал. Мог, конечно, сказать, что вхожу в аудиторию с чувством острой жалости к себе. Потому как свиньи эти, перед которыми бисер две пары мечу, ничего не понимают, не ценят и ничем не интересуются.

– А... тебе не скучно? С Олюшкой о высоких материях не больно потолкуешь.

– Я и не толкую. У нас с ней других тем довольно. Дом, дети, хозяйство. Игорь понял, что вышло не совсем убедительно, и добавил:

– А о высоких материях я на работе наговариваюсь. До сблеву.

Мало-помалу мы ушли от щекотливой темы, заговорили о яблонях, о судьбах сокурсников и столичных новостях.

Олюшка тихонько принесла на крыльцо тарелку с какими-то замысловатыми пирожками, поставила на перила и почти бесшумно удалилась.

Уезжал я с полным раздраем в мыслях. Досадовал на Олюшку – испортила парню судьбу. Злился на Игоря – загубил себя парень! Про женщин в таких случаях говорят «обабились». А мужик как? Притом,

вспоминая немислимую по моим меркам ухоженность дома и какую-то благостность – вот ведь словечко выискалось, но уж больно в тему, – становилось обидно за собственное однокомнатное бытие, за Наташку, которая кандидат наук, конечно, но котлеты жарит исключительно полуфабрикатные. И те обязательно припалит.

Что-то во всем этом было неправильное, а вот что – я сам себе объяснить не мог. Потому раздражался без повода, рывкнул на проводницу, обжегся чаем и уронил в тамбуре на пол последнюю сигарету.

Больше я к Игорю не ездил. Созванивались, он звал, но я, памятуя прошлую неуютность, под всякими благовидными причинами открещивался.

С Наташкой мы разбежались, я дважды был женат, но получалось не слишком удачно. Женщины были красивые, интеллигентные, при хороших должностях. Однако через полгода семейной жизни я напрочь переставал себя ощущать мужиком и переходил на растительно-диванный образ жизни. А хозяйном в доме становилась моя благоверная. В первый раз меня хватило на четыре года, во второй – сбежал после восьми месяцев счастья.

Игорь позвонил поздно вечером. Сказал незнакомым голосом: «Олюшка умерла. Ты не мог бы приехать?»

Он был пьян, все время, пока готовили похороны, пил много, плакал, снова пил и опять плакал. Поминки собирала Варя, почерневшая лицом, а гипюровый черный платочек прибавлял ей возраста. Соседки шептались, что, мол, пропадет теперь девка без материнского глаза. Дмитрий временами перехватывал отцову рюмку, но тот все равно успевать налить, выпить и, снова окидывая мутным взглядом комнату, зайтись тяжелым плачем.

Когда все разошлись, Варя взяла остатки водки и вылила в раковину. Игорь промолчал, потом вылез из-за стола и стал натягивать пиджак.

– Папа, ты куда?

– До магазину.

Вдвоем с Димкой мы водворили Игоря на кровать, дождались, пока он уснет.

– Пойду, помогу Варе посуду убрать, – сказал Дима. Там уже помогали Кирилл и Богдан, но я не стал спорить. Им надо было держаться друг друга, и дети это четко понимали. Хотя какие уж дети. Близнецы вымахали чуть не с отца, Варе доходил двенадцатый год, да и Богдан выглядел вполне самостоятельным.

На крыльце курил Олюшкин дядька, тот самый, который когда-то ее в университет снарядил.

– Вот беда-то ведь ... – нетрезво сокрушался он, и мелкие слезинки застревали на морщинистых щеках. – Кто б подумать мог. В ее-то возрасте про сердце даже и думать-то рано. А видишь оно как ведь... Чего не хватило? Как сыр в масле каталась ведь...

Позже я поговорил с местным врачом, и тот объяснил, что «сыр в масле» вставала в четыре утра, а ложилась, когда все угомонятся. Зарплата у Игоря была невелика, потому хозяйство очень помогало сводить концы с концами. Огород, скотина, дети – а при этом Олюшка старалась максимально освободить Игоря от домашних забот. Ну как же – он работает, а она дома сидит. Нет, дети, конечно, тоже помогали, но она и их берегла – им учиться надо.

Я прожил у них неделю. Больше не мог, с работы уже начали гневно звонить и спрашивать, не помер ли я сам. Провожали меня всей семьей – дети стайкой вместе, и Игорь – старый, небритый, нечесанный. Притом что Варя каждое утро по материному примеру подавала ему свежую рубашку.

Накануне сорокового дня Игорь повесился в сарае. Меня не отпустили с работы на похороны, пригрозив увольнением. Позже я узнал, что детей хотели отправить в детский дом, но дядька, подняв все старые связи, чудом оформил на себя опеку.

На встрече выпускников мы пили за помин души Игоря, вспомнили и Олюшку.

– Скажи, Михай, – шепнула мне на ухо однокурсница. – А ты мог бы из-за женщины покончить с собой?

– Спятила? – огрызнулся я. Продолжать тему совсем не хотелось.

– Это тебе настоящая женщина еще не встретилась, – буркнула соседка и переключилась на общую беседу.

Лев ГРИГОРЯН

Родился в 1980 году в Москве. Окончил Российский государственный гуманитарный университет. Работал переводчиком с итальянского языка. Сотрудник Института научной информации (ВИНИТИ) РАН.

Рассказы, сказки и стихи публиковались в журналах «Нева», «Нижний Новгород», «Дарьял», «Веси», «Литературная Армения», «Северо-Муйские огни», «Огни Кузбасса» и других журналах и альманахах. Живет в Москве.

БЕЛАЯ ДВЕРЬ

Много ли народу гибнет в ДТП? Раньше Саша об этом не думала. Зачем? Её не касалось. Гибнут другие. В автокатастрофах, стихийных бедствиях, горячих точках – далеко-далеко, только отголоски доносятся изредка.

И теперь Саша тоже об этом не думает. Поздно.

Врачи говорят, надо думать о позитиве, возрождать волю к жизни. Но Сашу не трогают пустые слова: позитив, воля, жизнь... Принято считать, что в таких случаях жизнь раскалывается на «до» и «после». Но не у Саши. «После» – бывает с другими. А Сашина жизнь – вся там, позади. До аварии. Теперь же – лишь зыбкая пустота. Симбиоз тела и одеяла. Душа вроде бы где-то рядом, но молчит. Оцепенела душа.

Евгений Михайлович, лечащий врач, впрочем, невозмутим. За свои шестьдесят три года посмотрелся на разных больных. Саша для него частный случай, не выходящий за рамки обыденного.

Что ж, задача врача известна: пациента нужно поставить на ноги, восстановить, сколь возможно, нарушенные функции организма и выписать поскорее домой. В больнице число койко-мест ограничено, а очередь велика, залёживаться тут нечего.

Домой... Обе Сашины соседки по палате мечтают попасть домой. Арина, студентка биологического, поправляющаяся после операции на щитовидке, ждёт не дожждётся выписки. Дома её встретит Олег – не то гражданский муж, не то официальный, Саша так и не поняла. Саше это без разницы.

Мария Игнатьевна, старушка с черепной травмой, тоже рвётся домой. У неё муж, тихий покладистый пенсионер, и две дочери, старые девы, Саша не запомнила их имён. Все трое души не чают в Марии Игнатьевне и дежурят в палате попеременно, независимо от часов посещения (медсестра их всё время гоняет). Приносят с собой домашние

пироги и покупные яблоки, антоновку, до которой Мария Игнатьевна большая охотница, хотя после травмы ей назначено избегать твёрдой пищи (видимо, чтобы не заклинило челюсть).

Мария Игнатьевна, добрая душа, угощает Сашу приношениями от родни, но Саша не реагирует, только смотрит пустыми глазами.

– Эх, – вздыхает Мария Игнатьевна. – Молодость...

Больше она ничего не добавляет. Что тут скажешь?

Саша сторонится мыслей о доме, гонит их. Она знает: сейчас дом пустой. Но в памяти он встаёт иным, обжитым, полным радости и уюта. Дом родительский, а последние два года – общий, Кир тоже жил с ними. У них с Сашей была комната на двоих. На подоконнике стояли цветы – столетник и декабрист. Интересно, забрал их кто-нибудь или так и засохли? Впрочем, всё равно.

Мысль о том, что придётся вернуться домой, повергает Сашу в панику. Саша мечется на кушетке, судорожно дёргает покрывало, зарывается носом в подушку.

– Прикинь, у Монеточки новый клип вышел, – отвлекает Сашу Арина. Трогает за плечо. Суёт под нос телефон. Там, на узком экране, открыт «Ютуб», двигаются на сцене какие-то люди, Саша слышит слова и ритм, но мелодию не улавливает (в палате шумно), а слова до сознания не доходят. Хочется спрятаться от всех звуков и от Ариного сочувствия.

– Оставь её, – говорит тихо Мария Игнатьевна, – видишь, человеку паршиво?

Саша удивляется молча. Паршиво? Нет, тут другое. Пусто. Так вернее.

* * *

Дни идут. Сашу возят на процедуры. Врач Евгений Михайлович лучится оптимизмом. Оптимизм, конечно, дежурный, но не сказать чтоб неискренний. Просто это профессиональное: человек дисциплиной приучил себя смотреть на мир с оптимизмом. По крайней мере на служебном посту.

«Интересно, каков он дома? – думает Саша. – С женой, детьми, внуками? Тоже блистает наклеенной улыбкой? Или снимает её вместе с халатом и бахилами, выходя из больницы?»

– Интересно, – говорит Саша вслух, – вы дома тоже такой... весёлый?

– Дома я грущу, – отвечает Евгений Михайлович, не меняя улыбки. – Дома я никому не нужен. Это здесь я профессор и врач, чьё слово что-то решает. А дома я обычный старик. С точки зрения внуков, довольно занудный. Но я рад, что ты спрашиваешь. Вежливый интерес – первый шаг к настоящему. Жизнь ставит перед тобой вопросы, и ты вновь приучаешься их замечать, начинаешь искать ответы. Это лучше, чем равнодушные.

– Вы философ, – замечает Саша бесстрастно. На презрение у неё нету сил.

Евгений Михайлович уходит, унося улыбку с собой. Даже, кажется, что-то мурлычет под нос. Чеширский кот. Самовлюблённый индюк. Интересно, бывают ли чеширские индюки? Кир сумел бы развить эту тему. Кир вообще ценил Кэрролла. Что-то вечно цитировал, спорил о переводах – «чудесатее» или «страньше»...

Саша вдруг с удивлением сознаёт, что впервые вспомнила о Кире без боли. С теплотой, не сжимающей сердце ощущением неизбежного.

Знанием, что было дальше. Неотвратимостью совершившегося и необратимостью знания.

Сашу колет новое чувство. Неужели она... забывает? Нет, невозможно. Ей не за что себя корить. Не её вина, что мысли такие. Не она виновата, что выжила и что выжить сумела одна. Ведь она хотела сесть у окна. Но Кир настоял шутливо: «Подвинься». Спас ей жизнь, сам о том не узнав.

Только если б вернуться в тот день, если б только была возможность скользнуть сквозь время, назад, туда, где Кир говорит «Подвинься», – теперь она села бы у окна. Не послушалась Кира. И была бы избавлена от нынешней пустоты. Разверзлась бы иная пустота, а может, и той бы не было. Всё лучше, чем так, как сейчас.

Впрочем, глупость. Если б можно было вернуться, Саша просто не допустила бы той поездки. Вцепилась бы отцу в плечи, заставила отложить, придумала что-нибудь, мало ли, голова заболела, срочный вызов с работы, – что угодно, лишь бы их старая «ауди» в тот день не стронулась с места.

Саша до боли сжимает кулаки, ногти впиваются в ладони. Глаза щиплет, и только тут до неё отчётливо доносятся слова песни из Аринино телефона:

...Там в гримёрку хейтер злобный зеркалá пронёс за взятку,
В них, трагично отразившись, я сгорела без остатка...

«Я сгорела без остатка, – мысленно повторяет Саша. – Без остатка...»

* * *

Саша ходит – ковыляет, опираясь на руку медсестры. За другую руку её придерживает Арина. Саше открывается коридор, длинный, широкий, с белыми стенами и множеством дверей. В дальнем торце коридора тоже дверь. Белая. Очень далеко.

Саша переводит взгляд на двух санитаров, везущих навстречу пустую каталку. Непривычное зрелище. Странно видеть коридор в этом ракурсе: словно что-то перевернулось в геометрии мира, ведь до сих пор Саша созерцала коридор из положения лёжа. До сих пор на каталке возили её. Перед глазами двигался потолок, и лица людей нависали сверху. А теперь всё иначе, и Саша не может понять, повернулся ли мир вверх ногами или, наоборот, встал на место. От этих мыслей кружится голова, и медсестра, встревожившись, усаживает Сашу на жёсткий диван. В коридоре диванов хватает, почти все свободны.

Арина приносит воды. Заботливая девчонка. В другой жизни могли бы подружиться. Хотя вряд ли: в другой жизни не было бы повода встретиться.

Саша легонько отталкивает стакан, встаёт и, с трудом, опираясь на провожатых, бредёт обратно в палату.

* * *

Ночью Саша едет в машине с родителями, держит за руку Кира, отец ведёт медленно, плавно (Саша так попросила), и кажется – если так ехать всё время, ничего не случится. Можно обойти будущее. Саша рассказывает об этом Киру, и он соглашается с большой охотой. Рассуждает о неевклидовом времени, о парадоксах Лобачевского, нелинейной логике

в Стране чудес Кэрролла. Саша не вникает в подробности – они не важны и каждую ночь меняются (один раз запомнилась даже фраза: «эклиптика тройной фабулы», имевшая ночью огромнейшее значение, которое мгновенно растаяло поутру). Саше понятно одно: слова Кира подтверждают её правоту. Надо двигаться очень медленно, и всё будет хорошо.

От этого плохо утром. Саша лежит, подолгу не раскрывая глаз, стараясь продлить ощущение успокоения, теплоты. Но оно исчезает.

Иногда в палату заходит Шурик, мальчуган лет двенадцати с локтем на перевязи. Он навещает Сашу. Только её – остальные на него не обращают внимания. Ни Арина, ни Мария Игнатьевна со своим семейством, ни Евгений Михайлович. Даже прогнать не пытаются, хотя мальчишке в этой палате явно быть не положено. Видимо, Шурик на особом положении. Может быть, сын главврача? – думает Саша. Но напрямую не спрашивает: неловко. А ещё – боится спугнуть. Вдруг Шурик решит, что она его выставляет? Вдруг больше не придёт?

Странно, но Саша рада его приходам. К соседкам по палате Саша равнодушна, так что даже сама себе огорчается: и хотела бы ответить, откликнуться всей душой на их доброе отношение, а не получается. Видно, что-то сломалось, заклинило в механизме души. А вот Шурику рада.

Шурик худой, белобрысый, на носу и щеках россыпь веснушек. У Саши в детстве тоже были веснушки. Мать звала её Солнышком. В старших классах веснушки сошли, а прозвище осталось. Домашнее, конечно; в школе его не знали. В школе Сашу звали по фамилии – Ладич, либо кличкой – Рыжая, Рыж. Саша этого не любила. А Кир звал её Сашенцией. Ну и просто Сашкой, конечно.

Шурик присаживается на стул рядом с койкой. Показывает Саше сложенную из бумаги фигурку:

– Смотри, вот олень.

Саша смотрит – и вправду: олень. По крайней мере похож. У Шурика несомненный талант. Саша знает, такие фигурки называются оригами, японское искусство, но Сашу оно никогда не влекло. Вообще не тянуло к Японии. Даже аниме, безумно популярное у ровесниц, Саша почти не смотрела. Больше увлекалась английским. В детстве была мечта – прочесть Шекспира в оригинале. Но потом охладела к Шекспиру. Жизнь была интереснее книг. Кир однажды сложил оригами – японского журавля. Саша хмыкнула и ничего не сказала.

А теперь вот Шурикова фигурка. Новый повод вспомнить о Кире.

– У тебя хорошо получается, – произносит Саша расхожую фразу. Но Шурик доволен. А ей интересно: как ухитряется он складывать свои оригами одной рукой? Другая-то в гипсе. Впрочем, об этом тоже не спросишь. Или всё-таки?..

– Бери, это тебе.

Саша глядит на Шурикову ладонь. Ногти обкусаны, на пальцах чернильные пятна. Мальчишка...

Саша вертит фигурку в руках. Отставляет на столик. Солнечный луч из окна падает на оленя, и олень кажется веселее.

– Ты не забывай, – невпопад заявляет Шурик. – Ты ищи. – Откуда-то он извлекает вторую фигурку, точную копию первой. – Видишь? Оленей двое. Поискать, найдётся и третий, он не хуже.

Шурик запускает руку в карман, а Саша еле удерживается, чтобы не вскочить, не схватить за шиворот...

«Что ты понимаешь?! – хочется ей кричать. – Твои дурацкие олени, чтоб глаза мои их не видели... Забери их к чёрту отсюда!»

Но Саша не кричит. Говорит только глухо:

– Вырастешь – поймёшь.

– Вряд ли, – отвечает Шурик серьёзно. Затем добавляет: – Я и так понимаю. Ты хочешь сказать: всё на свете неповторимо, ну а люди особенно. Так?

– Ты не согласен? – Саша спрашивает спокойно и сама удивляется. К чему этот спор с малолеткой? Что он может такого сказать, чего бы Саша не знала? Не надо обманываться. Устами младенца глаголет глупость. Сказочники могут думать иначе, но жизнь не сказка. И всё-таки, почему же Саша с волнением ждёт ответа?

– Видишь – солнечный зайчик? – Шурик кивком указывает на стол, где олень застыл в кругу света.

Саша чувствует: вопрос не праздный, здесь какой-то намёк.

– Ну?

– Что это, по-твоему? – настаивает Шурик.

– Ты сам сказал: солнечный заяц. Луч.

– А это? – Шурик показывает здоровой рукой на стену палаты, где медленно движется солнечное пятно.

– Ещё один луч. – Саша вскипает. – Я ж сказала тебе! Лучи – разные!

Она не повышает голос, но в интонации звучит металл. Давно такого с ней не было. Последний раз – ещё до катастрофы, когда повздорила с сумасшедшей кошатницей с нижнего этажа. «До катастрофы»... Неужели для Саши тоже теперь появилась эта предательская грань – «до» и «после»? Неужели и для неё родилось какое-то «после»?

– Ты права, – соглашается Шурик. – Лучи разные. Если только это лучи.

– Не поняла, – медленно говорит Саша, привставая на локте. В школе одной такой фразы ей хватало, чтобы разом осадить одноклассников. Они понимали: сейчас Рыж начнёт бушевать, и мало никому не покажется.

Но этому мальчишке Сашин грозный вид нипочём.

– Пока они для тебя лучи, они разные, – сказал Шурик. – Но если помотришь вглубь, внутрь, ты увидишь другое. Это не луч, – он кивнул на солнечного зайчика. – Это солнце. И там, на стене, тоже солнце. И на занавеске. На подоконнике... Всё это – солнце. А солнце одно.

Саша прикрыла глаза. Где-то слышался мерный звук – наверное, тикали часы. Хотя Саша не помнила, чтоб в палате висели часы.

Саша вновь откинулась на кушетку. Поморгала, уставилась в потолок.

– Мне не легче от этого, – сказала, не глядя на Шурика. – Мы с тобой тогда тоже «солнце». В каком-то смысле. Или вот с Евгением Михайловичем. Ты, я, он... всё едино. Но мне не нужен Евгений Михайлович? Понимаешь?

– И я тебе тоже не нужен, – закончил Шурик со вздохом.

Саша промолчала.

– Но я всё равно приду, – добавил он тихо, так что Саша едва расслышала.

Часы тикали, никуда не спеша. Но и они, наверное, устали отсчитывать время, пока Саша наконец не кивнула едва заметным движением.

Прошуршали шаги. Стул был пуст.

* * *

Саша не помнила, когда Шурик впервые обмолвился о белой двери. Той, что в самом конце коридора. Наверное, мимоходом прозвучало в их спорах – а спорили они часто.

Наверное, Шурик сказал, что там, у белой двери, есть ещё один шанс взглянуть на мир по-иному. Саша помнила, как по-разному выглядел коридор. Горизонтальный и вертикальный – так она для себя разграничила те впечатления.

По горизонтальному тебя везут на каталке. По вертикальному ты идёшь сам. Коридор одинаков, но тебе он кажется разным. И от этого появляется больше простора – не в коридоре, конечно, а в собственном твоём сознании. Оно становится шире, вместительнее. И – как знать? Может, явится шанс отыскать там, в глубине своего восприятия, тёмный чуланчик, где можно спрятаться от тоски?

До сих пор не удавалось. Но вдруг белая дверь откроет ещё один способ? Не горизонтальный, не вертикальный, а третий?

Саше вспомнился Кир. Он рассказывал ей, как в детстве мечтал стать геодезистом. Мерить землю, проводить границы участков, делать расчёты для инженерных конструкций – это его увлекало, так же как кого-то другого тянет строить дома, а третьего – проектировать интерьеры электричек и поездов.

Кир считал: земля – главное, основа основ. Из неё вырастают города и сады. Она даёт людям опору, уверенность, пищу и кров. Для людей это точка отсчёта – земля.

А потом побывал на Кавказе, взобрался на Чарундаг и взглянул на землю оттуда, с высоты четырёх километров.

И настолько ему показалась мелкой вся эта муравьиная деятельность: копошиться, разграничивать участки... Зачем?! Кругом бескрайний простор, его не измерить. Он красив, и красоту ты не выразишь чертежами, не сосчитаешь цифрами. А кругом горы, небо, необъятная вышина – то, в сравнении с чем меркнут прежние чаянья, приземлённые мечты человека.

Как говорил Кир: «Разом словно рукой сняло». Будто и не бывало тяги его к геодезии. Захотелось иного – летать на параплане, прыгать с парашютом, сплавать по рекам... Не препарировать землю циркулем, как базаровскую лягушку, а шагать по ней, двигаться вместе с ней через космос, ощущать единение...

Трудно объяснить тому, кто не чувствовал, говорил Саше Кир, беспокоясь, что она не поймёт. Но она поняла.

Человек нуждается в горизонтах. Чтоб открылся новый простор, чтобы сердце и разум смогли услышать себя, взглянуть по-иному на то, что казалось незыблемым, нужно бывает иной раз взойти на вершину и окинуть мир взором оттуда...

Только что же сейчас? Когда все горизонты ужались до больничного коридора? Неужели даст что-то далёкая белая дверь? Что за нею? Двор, улица? Сквер при больнице? Или скучная «проза жизни» – автопарковка? Чем всё это поможет Саше?

А всё-таки Шурик сказал: «Там, у белой двери...»

Он сказал, а она запомнила.

* * *

Саша бредёт по коридору. Под руку её держит Мария Игнатьевна. Арины нет, её вчера выписали. С Сашей они на прощание обнялись. Саша даже пробормотала какие-то подобающие слова, чтобы не казаться свиньёй.

Арина спросила Сашин номер телефона – и сконфузилась. Сообразила, что Саше никто не звонил за всё время. Нет телефона.

Последний раз Саша на телефон снимала лес из окна машины. Красивые вековые сосны, ольховник, а затем, внезапно, стадо овец вдоль дороги.

Было плохо видно – у окна сидел Кир. Они ехали за город, на пикник, все вместе. Выехали позже, чем собирались, и отец гнал как сумасшедший. Саша ещё подумала: трудно фотографировать на такой скорости. А больше ни о чём не подумала. Дура.

И кто-то её толкал в бок, вспомнила Саша. Там было тесно – в машине, на заднем сиденье, и кто-то толкал её в бок.

«Что?»

Саша даже остановилась. Мария Игнатьевна тоже встала, вопросительно посмотрела в лицо. Но Саше было не до неё.

Кто толкал её в бок? Ведь Кир сидел справа, с другой стороны!

Кто же был слева?

Отец вёл машину. Мать – правее отца, на переднем сиденье. Позади неё хотела сесть Саша, но Кир сказал: «Подвинься», и Саша села в серёдку. Почему не на крайнее место, к другому окну, за отцом? Кто сидел там? Откуда он взялся? Почему ехал с ними?

Саша не помнила. Только знала, что села в серёдку и кто-то слева толкал её в бок.

Стало трудно дышать, в ушах застучало. Сознание поплыло. Так было однажды, в десятом классе, когда двое пацанов подрались у школьной столовки, Саша бросилась их разнимать (зачем? её ли дело?), и один со всей силы заехал ей кулаком по затылку – не нарочно, конечно. Саша помнила, что удержалась тогда на кромке сознания потому, что перед глазами оказалась чья-то рука, на руке часы, по циферблату спешила секундная стрелка, и Саша, ничего не соображая, следила за этой стрелкой – круг, другой, – пока боль не отпустила. Лишь тогда окружающий шум распался на внятные голоса, на слова и фразы, и мир вновь стал устойчивым.

А сейчас? Перед глазами мельтешили деревья – те, из воспоминания, из окна машины. И профиль Кира, заслонявший ей пол-окна. И мать на переднем сиденье что-то говорила отцу, может быть: «Не гони так»? И кто-то толкал Сашу в бок.

– ...в порядке? – участливый голос. Чей? Ах, точно. Марии Игнатьевны.

– Да-да. Голова закружилась. Сейчас пройдёт.

Возвратились назад. Не дошли, полпути не дошли до белой двери.

* * *

Звонила Арина – на телефон Марии Игнатьевны. Спрашивала: как Саша? Просила передать трубку.

Саша хотела притвориться, что спит, но рука сама потянулась. Перекинулись парой слов. Арина обещала заехать, навестить. Спрашивала: не привезти ли чего? Саша ей улыбнулась.

Вечером, когда Мария Игнатьевна вышла (в холле был телевизор, перед ним всегда собирались старички), в палату явился Шурик.

Вот человек! Никогда не спросит, как да что. Словно и так всё знает. Сел рядом на стул и молчит.

А потом заявил:

– Заведи традесканцию.

– Что за зверь?

– Растение. Цветок такой. Скажи, пусть тебе привезут.
 – Зачем? – удивилась Саша.
 Шурик поелозил носком башмака.
 – Будешь ухаживать. Тебе полезно.
 – Выдумал тоже! – разом вспомнились цветы, что остались дома.
 Дом. Чёртов Шурик! Умеет же задеть всякий раз.
 – Даже хуже, чем кот, – проворчала Саша. – Когда девушке не светит найти парня, она заводит кота – себе в утешение. Кот, он хоть тёплый, пушистый, а традесканция твоя что?
 Шурик хмыкнул – будто разом отмёл Сашины возражения.
 – Традесканция круче всех котов мира.
 – Сомневаюсь. – Сашины губы чуть изогнулись. – Коты её могут сожрать, а она их нет.
 Шурик с досадой повёл головой:
 – Ничего ты не понимаешь! Кот – явление временное, а традесканция, считай, вечная.
 Так и сказал: «Кот – явление временное». Оригинально мыслящий мальчик.
 – Она может расти сотни лет, – сообщил Шурик с воодушевлением.
 Саша вздохнула:
 – Мне столько не надо. Не потребуется. Люди сотнями лет не живут.
 – Моей прабабушке было сто три, – живо возразил Шурик.
 – И? Дальше? Сто четыре? – Саша не позволила просочиться иронии. Тема не располагала.
 Шурик не ответил.
 Саша тоже умолкла.
 Так и не заметила, когда он ушёл. Появился Евгений Михайлович с вечерним обходом, а Шурика уже не было.
 А назавтра приехала Арина – привезла Саше цветок в маленьком горшке. Не традесканцию; какую-то глоксинию. Саша и слова такого прежде не слышала.
 – Подумала, тебе будет приятно, – и моргает ресницами, потупив взор.
 Сговорились они там все, что ли?

* * *

Они с матерью снова в Летаевке. Кругом кипарисы, пальмы, белокаменные, с колоннами, корпуса санатория. Вдалеке рокот моря. А студентов мало – не сезон. Саша с матерью пока вдвоём, ждут приезда отца. А Кир?

Саша вспоминает мучительно. Точно, Кира тогда ещё не было. Они познакомились позже, на фестивале под Самарой. Кир играл на гитаре, длинные волосы спадали ему на плечи, ему это шло. При его росте и худобе вид был самый что ни на есть романтический. А уж голос...

Но то было позже. А в тот раз Саша с мамой были вдвоём, отдохали в Летаевке.

Мама учила Сашу отбивать мяч от стенки. Саша смеялась – игра малышова.

У Саши вообще со спортивными играми было неважно. И по физкультуре в школе тянулась на троечку, а в институте физкультуру вообще отменили. Был предмет «физвоспитание» на первых двух курсах, но туда почти никто не ходил, зачёты получали за так.

Как-то раз в Летаевке (тогда? или раньше?) от нечего делать Саша решила заняться бегом. Мама с папой одобрили (значит, раньше, раз были втроём). Раздобыла кроссовки, бегала вдоль корпусов по аллее, туда и обратно. Но ей быстро наскучило. Море всё-таки не для кроссов. А в городе как-то не до того.

Полина, подруга, зазывала Сашу на фитнес. Это, кажется, было позже. У Саши тогда как раз с Киром всё начиналось, и фитнес интересовал мало, да и на фигуру Саша не жаловалась. Потом Полина забеременела, бросила свой фитнес и выпала из круга общения. Она, наверное, до сих пор не в курсе, что...

...Саша выныривает из дремоты. Отзвуки Летаевки затихают, сливаются с шумом города за окном.

Саша закусывает губу. Опять снились мама и папа. Так и будет теперь всю жизнь?

А ещё дурак Шурик со своими «сотнями лет». Нужно такое счастье? Саша со стоном садится, нашаривает ногами сланцы.

Мария Игнатьевна на соседней кушетке беспокойно ворочается во сне. Саша встаёт сама и, пошатываясь, бредёт к умывальнику.

...В тот же день, к обеду, снова воспоминание. Дочери Марии Игнатьевны пожаловали обе и о ком-то судачили меж собой:

– Назвала сына Кузьмой, – доносится до Саши. – Ну чокнутая, скажи? Что за имя – Кузьма?

– Нормальное имя, – отвечает вторая. – Кузя. Домовёнок мультяшный был, симпатичный.

– У Алёнки кот был Кузя. Помнишь Алёнку?

Саша не слушает. Ей вспоминается разговор с матерью.

– А почему меня Сашей назвали?

Ей двенадцать и ей интересно. Может, были ещё варианты? Вдруг она была бы не Саша, а, например, Валя? Или это была бы уже не она?

– Понимаешь, – говорит мать, как будто смущаясь, – мы ждали мальчика. Имя заготовили – для него: Александр. В честь актёра из «Чародеёв», который нам с папой обоим нравился, мы ведь редко в чём совпадаем. Вот и подумали – хорошее имя для сына. А родилась ты.

Саша стоит, поражённая. К глазам подступают слёзы.

– Так вы не хотели, чтобы я родилась?

Мать всплёскивает руками, принимается что-то объяснять, гладит Сашу по волосам...

Слова забылись, а вот прикосновение помнится. Мягкое, любящее. Саша непроизвольно поднимает ладонь – и нащупывает повязку.

Сколько ж это продлится?

В одном Шурик прав: вспоминать не надо. От этого только хуже. Но разве от Саши тут что-то зависит?

Сашин взор скользит по горшочку с глоксинией. Тот стоит себе, приулившись на подоконнике. Ещё странно, что врачи не распорядились вынести его вон, ведь в палате всё должно быть стерильно, а тут цветок, горшок, земля...

Саша мысленно усмехается: уж не привязалась ли к цветку за эти дни? Забота и ответственность за слабого – как тебе такой смысл жизни? Чушь. Не в её случае, по крайней мере. Ей до цветка нету дела, и он ей ничем не поможет. Нужно что-то иное. Что-то более сильное. Но что?

– ...белая дверь, – произносит Мария Игнатьевна, обращаясь к дочкам. – Там у Бори с Надей такая белая дверь, совершенно голая, и я

подумала, не обить ли её дерматином? Оно и теплей, и надёжнее, и выглядит сразу прилично, как у людей.

«Белая дверь», – повторяет про себя Саша.

* * *

В этот раз её останавливает нянечка. Там помыты полы, и рядом бокс, инфекционное отделение, там здоровым появляться нельзя.

Дверь маячит у нянечки за спиной. До неё ещё метров десять.

– Разве я здоровая? – смеётся Саша. Это нервный смех, просто Саше не по себе.

– А станешь совсем больная, – ворчит нянечка. – Знаешь, с чем там лежат? Вот и правильно, лучше не знать.

Появляется откуда ни возьмись Евгений Михайлович – вынырнул из какого-то коридора. Предлагает проводить Сашу в палату. Хвалит:

– Выглядишь молодцом!

Саша сдерживает раздражение. Почему все врачи обращаются к ней на ты? Кто им дал такое право?

В этом чудится недомолвка – неприятная, скользкая. Будто врач, поймав больного в неглиже, в беспомощном состоянии, когда человек не хозяин своему телу, приобретает над ним некую власть, странное право снисходительной близости. Что-то в этом есть донжуанское, тайная гордость собственной удалю, маскируемая внешней галантностью. Впрочем, многие ли маскируются? Саша разных насмотрелась врачей. Евгений Михайлович хотя бы вежлив. И то верно – профессор.

Что ж, до завтра, белая дверь! Или, может, до ночи?

* * *

Ночной коридор длиннее дневного. Может, потому, что свет приглушён и дальний торец теряется в полутьме.

Двигается Саша бесшумно. Осторожно ступает босыми ногами, сланцы несёт в руке. Ламинат гладкий, твёрдый, неприятно холодит пятки. Ничего, главное – ни звука, ни шороха, чтоб никто не услышал, не остановил, не вернул обратно в палату.

Коридор очень длинный, метров, наверное, полтора. Раньше Саша прошла бы его в две минуты, но сейчас ей ходить непросто, ноги слушаются с трудом.

Добрести бы уже до треклятой двери, и дело с концом.

Саша человек трезвомыслящий. Она хорошо понимает – ничего ей не даст белая дверь. Нечего ждать. Но раз уж засела в уме заноза, проще дойти и вернуться с ощущением: сделано! Иначе мысль не отвяжется, так и будет терзать, возникая снова и снова.

Саша вообще упрямая. Если вбила что в голову, не отступит, пока своего не добьётся. Или пока не поддастся новому увлечению, отпускающему прежнюю цель на волю: лети, свободна! Уступить новому – не зорно. Отступить перед трудностями – никогда.

У неё так и с Киrom вышло. Он вначале смотрел сквозь неё. Всё посмеивался. А она не сдавалась. И пришёл день, он её полюбил. Прямо сказка двадцать первого века: «они жили недолго, но счастливо, и не умерли в один день».

Саша хмыкнула. Не любила сентиментальность. И не верила в сказки. Люди ценят их потому, что в жизни всё по-другому. Были бы сказки

правдивы, о жизни как она есть, никто бы их не читал. Зачем? Смотри вокруг, вот тебе и сказка.

Саша оглянулась вокруг.

Позади никого, впереди тоже пусто, только запертые двери по сторонам. Из палат не доносятся звуки – то ли больные все спят, то ли нет сил стонать.

Метрах в десяти от торца свет поярче. Ах, чёрт! Там же дежурный пост. Саша о нём не подумала. Сейчас кончится её путешествие.

Но Сашу уже не остановить. В ожидании резкого оклика она ускоряет шаг – быстрее, вперёд...

Оклика нет. Дежурная медсестра спит за стойкой.

Последние шаги – и Саша у самой двери. Дверь стеклянная, но сплошь покрашена матовой краской, ничего сквозь неё не видно. На двери только ручка – никаких номерков и табличек. А нет, не совсем. Над дверью (Саша только сейчас разглядела) на белёсом щитке светится надпись, вроде тех, что бывают в театрах и других учреждениях, где, на случай пожара, важно видеть запасной выход. Только здесь надпись другая: «Выхода нет».

«Обнадёживающе», – отмечает про себя Саша. Это тоже её черта: в минуты волнения проступает сама собой мрачная ирония.

Саша тянет руку к двери, кладёт пальцы на ручку – та холодная, круглая, из зеленоватого стекла или пластмассы, но в полутьме кажется хрустальной.

«Выхода нет!» – сияет надпись над дверью.

– Эй, кто здесь? – раздаётся сзади встревоженный голос. Медсестра всё-таки проснулась.

Саша толкает ручку, и дверь открывается.

– Никого, – шепчут Сашины губы. – Никого здесь нет.

Саша делает шаг вперёд.

* * *

Дверь закрылась за спиной без хлопка, без единого звука. Саша в недоумении замерла. Перед ней – ещё один коридор. Будто копия. Тоже тянется вдаль, в полутьме, лампы сверху горят еле-еле. По бокам видны двери, а дальний торец теряется во мраке. И тоже ни человека, ни звука.

Что это – ещё один корпус больницы? Вот и вся тайна белой двери?

Саша ждёт, что вот-вот дверь сзади откроется и дежурная медсестра призовет её к ответу: чего ради больная шастает босиком среди ночи?

Но всё тихо, и Саша, выждав с минуту, осторожно шагает вперёд.

Вот и отличие! Под босыми подошвами – мягкий ворс. В *Не за дверью*, в коридоре проложен ковёр.

Саша вдруг понимает отчётливо: здесь, за белой дверью, уже не больница! Ведь каталка по такому ковру не пройдёт. Здесь каталки не ездят. Да и воздух немного иной. В больнице всегда своя атмосфера: болезни, лекарства, стерильность – всё оставляет в воздухе след. А здесь пахнет хвоей, вольным ветром, чем-то очень знакомым... И морем.

«Где я?» – думает Саша.

Она движется дальше. Идти стало легче. Различает впереди отголоски – будто кто-то за одной из боковых дверей с кем-то спорит. Голоса. Не ругаются, просто спорят, негромко, как о чём-то житейском, не слишком важном. Или это работает телевизор?

Саша вдруг замирает. Метрах в двадцати впереди одна из дверей раскрылась, и в коридор вышла девушка в сарафане. Не обращая на Сашу внимания, замкнула дверь ключом и прошла по коридору, удаляясь от Саши. Свернула куда-то вбок и исчезла.

Подождав, пока сердце не забилось ровнее, Саша двинулась дальше. Голоса зазвучали громче. Что-то было в них такое... привычное?

Саше стало вдруг очень спокойно. Волнение, страх – всё ушло. Она поставила сланцы на ковёр, обулась, затянула потуже больничный халат, пригладила волосы. Ровным шагом миновала четыре двери, а пятую распахнула.

Мать с отцом сидят у стола, допивают чай с вафлями, Кир поодаль копается в чемодане. Гостиничный номер. Летаевка. Вот так белая дверь...

«Вот так белая дверь...» – думает Саша рассеянно, даже как-то лениво.

– Заходи, комаров напустишь, – торопит её отец.

Кир приподнимает ладонь в знак приветствия и вновь принимается тормозить чемодан.

– Как поплавала? – интересуется мать. – А что это у тебя на голове? Полотенце?

– Повязка, – отвечает Саша, пожимая плечами. – Повязка после аварии.

* * *

Острым ногтем Саша проводит по ладони черту – вдоль «линии жизни». Снова и снова. Не больно, но ощутимо. Это то, чего ей не хватает. Яркости ощущений.

Она не мечтала о встрече всерьёз. Верней, наяву не мечтала. Но всё-таки, если б кто-то спросил, как она бы представила встречу, если б встреча была возможна, – Сашин ответ был бы прост. Много слёз, нескончаемые объятия, ощущение безграничной полноты жизни – словно та, разбитая вдребезги, снова сделалась целой, полнокровной, такой, как прежде.

Ощущение, что ты вновь человек, а не манекен, не онемевшее тело с разорванной в клочья душой.

Ощущение, что гнетущая, словно гиря, тоска сменяется столь же безудержной радостью, эйфорией, через край бьющим счастьем.

Так представила бы себе встречу Саша. Только всё оказалось иначе.

Ей никто особо не рад, и она особо не рада. Одно лишь сбилось – угасла тоска, испарилась горечь потери. Но и счастья не наступило.

Одеревенелость души осталась. Просто на смену боли пришло вялое равнодушие. А любовь куда-то пропала.

Правда, Саша не привыкла сдаваться. Сквозь душевную немоту она тщила заглянуть внутрь себя, отыскать в глубинах души отголоски прежней любви к родителям, к Киру... Но напрасно. Память о чувствах была, а сами чувства уснули. Или умерли.

С безмятежным спокойствием Саша встроеилась в ритм здешней жизни. Потянулись рутинные дни. Вчетвером они отдыхали в Летаевке, купались в море, ходили в столовую, даже съездили на экскурсию в дальний каньон. Всё как в прежних поездках, только пресно, без радости.

На третий день Саша приласкалась к матери – заставила себя, будто механически. Мать откликнулась с той же невозвращающей вялостью.

Саша разговорилась с отцом, но беседа быстро иссякла. Телевизор был интереснее.

В один из вечеров Саша увлекла Кира к пустынной лужайке, позади корпусов санатория. И, словно в омут кинувшись, притянула к себе, целовала отчаянно, на губах был вкус крови, гладила, рванула рубашку... Даже это не помогло.

«Выхода нет», – вспомнилось Саше. Вот тебе и белая дверь...

В сказки Саша не верила и в фантастику тоже. Зато верила своим глазам.

Белая дверь привела её сюда. Белая дверь существует. Значит, надо разобраться в происходящем. Кое в чём ведь Сашины ожидания оправдались: кроме коридора вертикального с горизонтальным обнаружился третий. Зеркальный – так Саша его назвала. Только зеркало словно покрыто папиной, неярким матовым блеском, точь-в-точь таким, как краска на белой двери. Вся жизнь здесь словно лишилась яркости, стала тусклой и мутной.

И всё-таки надо попробовать разглядеть что-то сквозь эту мутную пелену.

Саша спрашивала родных об аварии. Разговор был в номере, тоже вечером, после чая.

Ответ Сашу не удивил. Аварии не было. Саша сверила даты. Год был тот же. Время шло одинаково по обе стороны белой двери. В тот самый день они поехали вчетвером, сказал отец. На пикник. Торопились, конечно, но скорость не превышали, и происшествий никаких не случилось.

– Я такенного карася в тот день отловил, – припомнил отец, отводя ладони одну от другой.

– Был, был карась, – подтвердил Кир. – Ты ж ещё тогда его фоткала. Не помнишь, Сашенция?

– Меня там не было, – говорит Саша спокойно. – Я разбилась в машине. Мы все разбились.

– Брось, – отвечает Кир так же спокойно. – Фотки остались. Ты вообще в тот день наснимала изрядно. Ещё по пути. Помнишь, мы ехали, а вдоль дороги шли овцы?

Саша помнила. Стволы высоченных сосен, а потом вдруг овечьё стадо – редкость вблизи от города.

– Карася не было, – настаивает Саша. Ей на самом деле не важно, был ли карась. Но спор – единственная надежда пробиться сквозь вату, разомкнуть немоту.

Саша теребит фенечку на запястье – машинально, бездумно.

Кир молча встаёт, подходит к кровати, шарит рукой под подушкой, достаёт телефон.

Вот они – фотографии. Сосны, овцы, шлагбаум (которого не было!), отец с удочками, бутерброды на покрывале, мама с книжицей Гавальды, Кир, полуголый, бренчит на гитаре, а вот и отец с карасём... и Саша! В кадре. Снимает Кир. Саша движется, смеётся – Кир заснял видео. Сам Кир за кадром над ней подтрунивает.

– Йо-хо-хо, и бутылка рому! – восклицает Саша из телефона. Ей в ответ звучит дружный смех.

Вот так оно, значит, было.

Остаётся ещё вопрос.

– Кто сидел левее меня? Кто был с нами в машине? Там, на заднем сиденье, позади отца?

– Никого, – пожимает плечами отец.
 – Никого, – подтверждает Кир. – Там лежала гитара. Сумка с барахлом и гитара.
 – Там был кто-то. Он меня всё время толкал.
 – Да гитара и толкала, наверное, – Киру надоел разговор. – Мы ведь быстро ехали. Машина тряслась.

Последняя попытка.

– Папа, мам, Кир... послушайте! Вас не удивляют мои вопросы? Я себя веду странно?

– Всё страньше и страньше, – шутит Кир. Ему снова весело.

– Удивляют, – говорит папа. – Ты всю свою жизнь не перестаёшь меня удивлять. С тех пор как в колыбели откусила голову шахматному слону. Хорошо, проглотить не успела, а то был бы переполох! Так что мы уже с мамой привыкли. Вот теперь и Кир привыкает. Правда, Кир?

Саша медлит ещё мгновение и решается наконец.

– А когда я вошла с повязкой на голове, неделю назад, перед этим где я была? Как попала в Летаевку? Вы сюда меня привезли?

– Перед этим мы с тобой загорали на пляже, – говорит мама. – Потом мы ушли на ужин, а ты осталась поплавать. Не первый раз же.

Саша больше не хочет спрашивать. Ей представляется ещё одна Саша – та, которая плывёт по волнам, посреди бескрайнего моря. Плывёт восьмь сутки подряд и никак не может доплыть. Живая она или мёртвая? Лучше не знать.

Этот мир не откроет своих секретов. В нём всё гладко и тускло. В нём всё есть – живи не хоч, – но чего-то всё-таки не хватает. Может быть, самого главного.

Саша вдруг поняла: здесь она одинока. По-иному, чем было в больнице, без такой сокрушающей боли, но не менее одинока.

Она вышла пройтись. Сказала, что хочет подышать воздухом. Будто можно, надышавшись, утолить одиночество.

Саша шла по аллее, высокие пальмы в свете вечерних фонарей отбрасывали на дорогу причудливые тени. Где-то пели цикады.

Саша шла и твердила вполголоса, как заведённая:

– Одна. Я одна. Я одна. Я одна...

Шла, пока аллея не уткнулась в забор.

И тогда появился Шурик.

* * *

Вначале Саша его не заметила. Она стояла у забора, обхватив пальцами прутья решётки. Повторяла своё:

– Я одна...

Шурик молча встал рядом. Легонько подтолкнул её локтем в бок, привлекая внимание. Саша сразу умолкла.

– Будет звёздная ночь, – сказал Шурик. – Очень редкая звёздная ночь.

– Ты меня обманул, – сказала Саша. – Со своей белой дверью.

– Просто ты меня не расслышала, – возразил Шурик с грустью. – Никогда не слышишь, что тебе говорят.

Саша повернулась к нему. Он стоял – худой, маленький, узкоплечий. Взор его был устремлён ввысь. Сквозь прутья забора Шурик смотрел на небо. А на Сашу совсем не смотрел.

– Попробуй снова, – сказала Саша. – Попробуйся. Я услышу. Я исправлю ошибку.

Шурик взял её за руку. Ладонь его была очень тёплая, почти горячая. – У белой двери, – сказал он. – Не *за дверью*, а рядом. Просто ты прошла мимо. Ты всё ходишь по этажу, будто он единственный. Открываешь разные двери, ищешь нужную и совсем не смотришь на звёзды. А без них все двери – как кротовые норы, ведут только в глухую тьму.

Саша помедлила. Ей на миг показалось, что она поняла даже больше, чем Шурик сказал.

Напоследок спросила:

– Значит, есть где-то мир для всех нас? Где нам всем хватит места? Где всё настоящее – память, звёзды, любовь?

Шурик молча сжал её руку.

* * *

Саша вновь была в коридоре. Позади шумел ветер Летаевки. Под ногами стелился ковёр. Лихорадочно билось сердце. Саша спешила.

Вот и белая дверь. Едва Саша её распахнула и переступила порог, как вернулась застарелая боль. Молотком застучало в висках, тягучей усталостью заныли ноги. А уж что творилось на сердце, лучше не спрашивать.

Не давая себе поблажки, Саша быстро осмотрелась кругом. Вот больничный коридор, всё в таком же свете вечерних ламп, вот дежурный пост, медсестра снова спит. Чуть левее – вход в бокс, инфекционное отделение. Ну а справа?

А справа, совсем рядом, небольшой закуток. Проём в стене – вероятно, служебная лестница. В двух шагах от белой двери.

В проёме темно хоть глаз выколи. Но Сашу не напугать. Она шагает во тьму, на ощупь нашаривает перила – и вправду лестница. Что ж, теперь вверх! Прощай, бесконечный этаж, прощайте, коридоры и двери...

...Саша поднимается в темноте. Шаг за шагом, ступень за ступенью. Она сбилась со счёта и не знает, давно ли идёт. Лестница вьётся спиралью. Десятки, сотни ступеней пройдены, но площадки другого этажа всё нет.

Саша тяжело дышит. Присаживается на ступеньку, переводит дыхание, затем заставляет себя встать и поднимается дальше – выше, выше... Этот путь бесконечен, и кругом по-прежнему тьма, только Саше начинает казаться, будто что-то мерцает над её головой. Или это рябит в глазах от безмерной усталости?..

* * *

Путру Мария Игнатьевна подняла тревогу. Её соседка по палате, тихая невесёлая девушка Александра Ладич, поправлявшаяся после автотаварии, исчезла, как в воду канула. Личные вещи на месте, кушетка застелена, на покрывале бумажный олень, пациентки нет.

Лечащий врач Александры, Евгений Михайлович Карпов, был в недоумении. Далеко ли уйдёшь с таким диагнозом? Черепно-мозговая травма, повреждение суставов и рёбер, пациентка еле держалась на ногах, только-только начинала ходить без посторонней помощи, ещё даже не освоила костыли.

Однако поиск по этажу ничего не дал. Осмотрели палаты и специальные помещения, отомкнули даже закрытую на два замка торцевую белую дверь, что вела в старую забытую кладовку со швабрами, – всё без толку.

Осмотрели другие этажи (всего их в больнице было четыре). Расспросили дежурную медсестру – всю ночь не смыкала глаз. Поговорили с охраной на выходе из больницы – безрезультатно.

Переполох хотели замять – родных у Александры Ладич не было, влиятельных знакомых тем более, некому поднимать шум из-за пропавшей студентки. Можно в бумагах проставить отказ от лечения, оформить выписку задним числом, и дело с концом.

Однако шум всё же поднялся. Намерениям больничного руководства воспротивилась бывшая соседка Александры по палате, Арина Чернышова. Её супруг Олег Чернышов оказался владельцем очень внушительного удостоверения в красной корочке. С подачи Чернышова в тот же вечер приехала полиция, и за дело взялись всерьёз.

Показания дежурной медсестры были опровергнуты записью с камер наблюдения. Камеры показали, что в третьем часу ночи Александра Ладич, в больничном халате и босиком, держа сланцы в руке, проследовала вдоль всего коридора мимо дежурного поста, каким-то образом вскрыла торцевую дверь в кладовку, скрылась за ней, четыре минуты спустя появилась вновь, одетая уже в сарафан и сандалии, свернула на служебную лестницу и пропала из поля видимости камер.

Служебная лестница была также тщательно обследована (хотя её осматривали и до приезда полиции, ещё утром, совершенно безрезультатно). Но полиция, не ограничившись осмотром лестницы, вскрыла висячий замок на люке, перекрывавшем доступ с лестницы на крышу здания.

Профессор Евгений Михайлович Карпов, присутствовавший при вскрытии замка, возражал, что это пустая формальность, замок весь в пыли, то есть не открывался годами. Но к мнению профессора не прислушались.

И правильно сделали. На краю крыши была обнаружена ношенная одежда – сарафан, бельё, сандалии, а также дешёвый браслет, фенечка из бисера, золотое кольцо и телефон. Вещи лежали в беспорядке, но следов крови или признаков борьбы выявить не удалось.

Тело Александры Ладич обнаружено не было – ни на крыше, ни внизу, ни где-либо ещё. Версия падения тела с крыши была исключена благодаря тщательному осмотру внешнего периметра больницы полицейским патрулём со служебной собакой – никаких следов падения патруль не нашёл.

Сарафан и сандалии соответствовали записи с камер. А вот больничный халат и сланцы в кладовке так и не отыскались.

На телефоне, зарегистрированном на имя Александры Ладич, обнаружили отпечатки пальцев пропавшей и ещё трёх неустановленных лиц. Вся память телефона оказалась стёрта (без возможности восстановления), за исключением одного снимка – фотографии звёздного неба.

Впрочем, приглашённый эксперт заявил, что фотография, скорее всего, поддельная, так как рисунок звёзд не соответствует карте созвездий ни для Северного, ни для Южного полушарий.

На этом дело пришлось закрыть как бесперспективное и сдать все материалы в архив.

Александр ГРИГОРЬЕВ

Родился в 1973 году в Горьком. Окончил Нижегородский областной колледж культуры. С 1997 года работал журналистом в Нижнем Новгороде, на Сахалине, в Сибири, в Перми, в Санкт-Петербурге, в Москве.

В настоящее время живет в Перми.

ФЕЕЧКА

Моя мама всю жизнь работала диктором на областном радио, пока из наших домов не исчезли радиоточки. У нее профессионально поставленный голос, чем она любит козырнуть. Но после семидесяти у мамы стал постепенно портиться слух, неподготовленному человеку может показаться, что она крайне злая и скандальная старуха. Это совершенно не так. Просто она громкая и деятельная.

Светлана Васильевна не имеет вредных привычек, кроме одной – воспитывать 45-летнего сына, то есть меня. Сердобольная пенсионерка и привела меня однажды в частный кабинет «Зубная феечка», потому как я имел неосторожность проговориться, что временами мучаюсь зубом мудрости. После недели препирательств я капитулировал и отправился по указанному адресу.

Я долговязый и худой, как коромысло, мужчина с гладкой лысой головой и седой бородой. При входе в кабинет я попросил мать не вести себя шумно и не трепаться обо мне. Она сказала, что будет молчать, если я буду хорошо себя вести.

– Здравствуйте, тетя Света! – громко, чтобы она могла расслышать, поприветствовала ее молоденькая девушка за стойкой.

– Вот, Кристина, привела вам сына.

Я поздоровался и присел на диванчик. Мать протянула мне бахилы – я надел их и с любопытством посмотрел на настенные часы с кукушкой, они были деревянные и очень старые, такие висели в детских садах еще при советской власти.

Мы с Кристиной заполнили карточку, через несколько минут я лег в кресло, и меня стал осматривать терапевт, как мне показалось, моих лет. Из бейджа на халате я узнал, что врача зовут Анна Николаевна.

– Ничего не бойтесь, пожалуйста, Светлана Васильевна у нас уже лечилась, ей понравилось, значит, понравится и вам.

Я кивнул. Спустя несколько минут Анна Николаевна сообщила, что у меня подгнил зуб мудрости и еще пару зубов, на ее взгляд, хорошо было бы вырвать.

– Сделайте завтра панорамный снимок и с ним приходите к нам. Приедет хирург, очень хороший специалист, без боли и без нервов все вам сделает как надо.

В мае было то жарко, то холодно, наконец-то проданась наша с мамой дача, и мы выручили за нее 500 000 рублей. Мама предложила купить мне туристический тур по Европе. В последнее время я не раз говорил, что хотелось бы и Берлин увидеть, и Париж, и Брюссель. Доброе сердце Светланы Васильевны запомнило мою брюзгу холостяка.

– Нет, дорогая моя. Не хочу теперь никуда, я задумал новую куклу. Посмотри эскизы.

Если мать отдала свои лучшие годы радио, то я отдал их кукольному театру. Я – бутафор. Но по ряду причин год назад я ушел со службы, мама поддержала, а теперь еще и полмиллиона упало на текущий счет родительницы. Жить можно. Мы очень скромные в своих потребностях.

– Сейчас я сделаю укол в десну, потерпите, это неприятное ощущение, но острой боли не будет.

Вместо Анны Николаевны меня «обрабатывала» уже другая женщина.

– А где хирург?

– Это я. Откройте рот, я очень аккуратно уколою.

Я открыл рот и закрыл глаза. В следующее мгновение я ощутил не только легкую боль, но и тревожное чувство – доктор грудью коснулась моей правой щеки. Через пять минут, когда заморозка подействовала, вернулась Анна Николаевна и тоже несколько раз во время работы задела мою голову. Сделав надпилы на зубе мудрости, она ушла.

Надо мной вновь склонилась хирург. За маской были видны только глаза. Из-под шапочки выглядывали длинные прямые рыжие волосы. Ей не больше 30 лет, решил я (и оказался, между прочим, прав).

– Я сейчас надавлю на зуб, а вы мне скажите – больно или нет.

Она надавила, я отрицательно помотал головой.

– Очень хорошо. Будем удалять. Но, я прошу вас, если почувствуете малейший дискомфорт, дайте знать. Терпеть боль совершенно ни к чему.

Кровавая гнилушка вскоре полетела в блюдце. Я еще раз внимательно посмотрел в глаза врача. Потом опустил взгляд ниже и не увидел бейджа на халате.

– Простите, как ваш жовут? – прошепелявил я не своим голосом (хорошая у них заморозка, импортная, наверное).

– Мария Вадимовна.

– Шпашибо вам, Маыя Вадимовна.

– Это моя работа. Если будут боли, а так бывает после удаления, то, пожалуйста, не стесняйтесь и позвоните. Я скажу, что делать, исходя из симптомов.

У меня когда-то давно была жена. Мы прожили два прекрасных года и три ужасных. В конце концов она меня бросила и уехала из города с каким-то военным. С той поры у меня не было ни с кем продолжительных отношений.

– Мама, ты обратила внимание, что у Анны Николаевны есть обручальное кольцо, а у Марии Вадимовны нет?

– Может, она на работу его не носит. Вдруг в горло пациенту уронит.

– А мне кажется, что она не замужем.

– Или в разводе.

– У нее очень сильные и одновременно ласковые руки. И голос. Она меня сразу успокоила.

– Хорошая девушка.

– Очень. А еще Анна Николаевна и Мария Вадимовна обе мне грудь на голову клали.

– Что?

– Не клали, нет. Прижимались!

– Да ладно!

– Не специально, конечно. Во время работы... как правильной сказать-то... Терлись немного.

– Ну а куда, сынок, им сиськи девать? Приходится тереться.

– Волнующий момент, между прочим. Для холостяка особенно.

– Считай, что это бонус от клиники. А не врешь? Мне никто не терся, когда я лечила зубы.

– Не вру! Только вот слово «сиськи» из твоих уст, мам...

– Да ладно тебе, мы же одни.

Я решил воспользоваться советом Анны Николаевны и записался на удаление двух зубов, которые ее смущали. Честно говоря, нужды в этом не было никакой, они не болели, да и вообще вот уже два года, как вопросы здоровья для меня потеряли актуальность.

Но мне очень хотелось снова оказаться в стоматологическом кресле. Очень!

На второй прием я пришел на полчаса раньше и увидел Марию Вадимовну без маски. Ее лицо поразило меня. Бутафор – это тоже художник, я читаю по лицам так, как вы даже представить себе не можете. Вот и на ее лице я прочитал многое.

– Как ваше самочувствие?

– В целом хорошо.

– Вы очень интересный человек, оказывается. Ваша мама нам все про вас рассказала.

– Все?

– Почти. Вы работали в кукольном театре, вы увлекаетесь вязанием и вяжете шарфы себе сами. Верно?

Ах, мама, мама, подумал я.

– Да, верно.

– Еще у вас была жена, но она вас не стоила.

– На самом деле это весьма спорный вопрос, кто кого из нас не стоил.

– Открывайте рот, сегодня удалим сразу два зуба, и вы забудете на долгие годы стоматологическое кресло.

Я закрыл глаза, и пока Мария Вадимовна колдовала, стал думать, что я могу предпринять, чтобы снова вернуться к ней на прием. Поймал себя на мысли, что хочу видеть ее каждый день.

Но где найти столько больных зубов...

Тем временем в коридоре Светлана Васильевна травила байки, Кристина так просто хохотала в голос. Были слышны и одобрительные реплики пациентов из очереди.

– Мария Вадимовна, я прихожу с мамой, потому что ей важно принимать участие в моей жизни. Конечно, я мог бы запретить ей ком-прометировать меня как самостоятельного мужчину, но я у нее один, я люблю ее и разрешаю матери так проявлять свои чувства.

– Никто над вами не смеется, если вы об этом.

– Я ее называю Радио-Мама. Тарахтит, и пусть себе.

Мария Вадимовна улыбнулась.

– Это прекрасно! Радио-Мама...

За пару ночей я набросал новые эскизы. Когда мать увидела их, то ожидаемо высказала свое недоумение.

– Зачем ты, дурачок мой, нарисовал Марию Вадимовну?

– Она красивая. Она нежная. И у нее была личная драма.

– Ты же понимаешь, что это бессмысленно. Не вздумай флиртовать с ней.

– Почему?

– Ты сам все понимаешь.

Я понимал, само собой, что перспективы у моей влюбленности не было, но ничего не мог поделать.

Больные зубы закончились, к хирургу меня больше никто не пустит. Как дальше жить?

В начале июня я напился и пьяненький набрался смелости позвонить.

– Мария Вадимовна, извините, что беспокою, мне ваш телефон дала Кристина. Ах, вы в отпуске! Простите!

На следующий день я пришел в кабинет рано утром. Была только Кристина.

– Мария Вадимовна вернется через неделю и обязательно вас проконсультирует.

Меня интересовало все: ее семейное положение, ее день рождения, ее хобби и все прочее. А главное – была ли личная драма у нее на сердце, о которой мне рассказали ее глаза. Но Кристина, даже если бы и знала о драме, точно бы не стала делиться чужой тайной. И все же я собрал кое-что о девушке, которая меня так привлекала. У нее есть машина (сам видел), есть загородная дача (сама проговорила), а еще, со слов Кристины, она увлекается аквариумными рыбками.

Кроме того, я перелопатил все социальные сети – Марии Вадимовны не было нигде. Возможно, решил я, что в клинике она под одной фамилией, а в соцсетях под ником. Котик, или Рыбка, или какой-нибудь оптимистичный Зубик. Попробуй-ка найди ее среди тысяч «котиков» и «рыбок»! И я сдался, прекратил поиски. Звонить боялся, писать в личку не было никакой возможности.

Как не было и веского повода, чтобы вновь напроситься к Маше (про себя я называл ее без отчества, но при маме и тем более при Кристине и Анне Николаевне я говорил исключительно Мария Вадимовна). В итоге я гвоздем расковырял один из резцов, и у меня раздуло щеку. Пару дней я сидел дома и выдерживал адскую боль, чтобы Анна Николаевна при осмотре наверняка уже передала меня Марии Вадимовне.

– Как это вас угораздило? – спросила она, когда я пришел снова к ней на «ремонт».

– Это я неудачно мозговую косточку погрыз.

Маша посмотрела так, что мне стало стыдно и захотелось рассказать и про гвоздь, и про куклу, и про бессонницу. Но вместо этого я спросил:

– Мария Вадимовна, у вас была личная драма?

– Что вы имеете в виду?

– Любовь. Несчастную.

– Сейчас буду колоть, потерпите немножко, как заморозитесь, скажите. Онемеет кончик языка, это не страшно.

Я пожалел, что вылез с «драмой», никто не просил об этом. Но, к моему удивлению, вернувшись из приемной, Маша заговорила именно об этом.

– У меня была любовь, несчастная, как вы точно подметили. Мой бывший преследовал меня после того, как я ушла от него. Угрожал убить. Мелодрама, да. Но это в прошлом, сейчас я живу одна и всем довольна.

Копаясь по выходным на огороде и читаю детективы под яблоней. Мужчины меня на данном этапе не интересуют.

Я взял ее руку и положил на свое сердце. Она вежливо, но уверенно освободила ее.

– Вы не о том думаете.

Я в сердцах прошипел грубое слово и отвернулся, она удивленно покосилась.

– Больше не ковыряйте зубы, очень прошу.

Я покраснел, у меня заныл желудок, мне захотелось немедленно сбежать.

– Гвоздь?

– Да.

– А если заражение? Можно же умереть, как вы этого не понимаете. Вам что, жить надоело?

– Нет.

– Будьте наконец взрослым человеком, это же в ваших интересах, правда?

– Правда. Вы обиделись на меня?

– Нет.

– Знаете, Мария Вадимовна, если однажды обстоятельства сложатся так, что мне предстоит ампутация пальца или чего-либо еще, то я доверю ампутировать палец и чего-либо еще только вам.

Она нахмурилась.

– Вот теперь я обиделась. «Чего-либо еще» свое оставьте при себе, пожалуйста. А еще бутафор, художник...

У меня помутнело в глазах. Господи, какая пошлость вышла, с досадой подумал я и, не прощаясь, как побитый за дело дворовый пес, ушел.

Итак, я лишился трех зубов. Теперь мной должна была заниматься Анна Николаевна. «Присматривать», как она сказала. Очаровательная и внимательная. Но я потерял сон совсем из-за другой женщины.

До конца лета я сделал не только куклу Машу, но и кукол Кристину и Аню. Я не спешил, после позорной выходки с гвоздем и пальцем мне необходимо было время, чтобы Мария Вадимовна простила меня. Я не звонил ей, хотя не раз порывался и часами разучивал монологи.

Осенью стали кровоточить десны. Эта хворь у меня с детства, но так обильно давно не бывало. По утрам наволочки были бордовыми от крови. Мать ругалась и гнала меня к Анне Николаевне. Однако ноги мои туда не шли, я боялся, что встречу с Машей.

С мамой о своих чувствах я не говорил. Она сначала, конечно, лезла «под кожу» мне, пыталась достучаться, но я молчал, и мать отступила.

Осенью я случайно увиделся с Марией Вадимовной. Дело было так.

Я ехал в трамвае, и вдруг он резко остановился на перекрестке. Оказалось, что перед ним столкнулись две машины. В одной за рулем сидел спортивного телосложения брюнет, а справа от него в черном пальто располагалась лучшая девушка в мире. Мужчина выбрался из автомобиля и пошел выяснять отношения. Я, не обращая внимания ни на кого, любовался Машей из окна. Но вот она открыла дверь, встала и посмотрела на трамвай. Мы встретились глазами.

– Как же это могло случиться со мной? В 45 лет...

Через пару минут вернулся брюнет, и она села в серебристый «рено».

Я вышел через заднюю площадку и поспешил пешком домой. Кто я такой, размышлял я по дороге, чтобы она запомнила хотя бы мое имя, у таких девушек никогда нет недостатка в поклонниках.

Я сильно похудел за осень, мать то украдкой плакала, то принималась молиться по утрам, то швыряла иконы об стену. В самом начале декабря я слег.

Мой папа был учителем физкультуры, обычным школьным физруком. Когда я служил в армии, отец умер. Старшеклассники вызвали его на спор пробежать с ними десятикилометровку. На одном из кругов он упал и скончался до приезда скорой помощи. Мать поседела, но в целом пережила смерть мужа достойно. Но меня она любила больше всех на свете, и, естественно, мою болезнь она переживала сильнее, чем собственные старческие недуги.

Не помню в какой конкретно день, но после привычных маминых пререканий я уговорил-таки ее сходить в «Зубную феечку» 30 декабря и передать от меня девушкам новогодние подарки. Она дала мне честное слово.

Больше меня ничто не тревожило, мне стало легко и радостно. Я был уверен, что не ошибся с презентами.

* * *

– Тетя Света! Заходите! А у нас чай и торт, можно сказать, корпоративная вечеринка на троих. С вами на четверых.

– Вот, девчонки, вам от сына моего к Новому году. Это кукла Кристина, это кукла Аня, а это Маша.

Женщины пришли в восторг, зашумели, заохали, Анна Николаевна помогла пенсионерке снять одежду.

– Но где же сам Федор Михайлович? – весело спросила Кристина, фотографируя на смартфон свой именной презент.

– Федор Михайлович умер две недели назад. У него был рак, четвертая стадия. Ни в одну клинику не брали. Мы с сыном надеялись, что Новый год вместе отметим, но не вышло.

Светлана Васильевна пригубила чай, поправила волосы.

Мария Вадимовна растерянно посмотрела в глаза маленькой Маше. В нагрудном карманчике кукольного платяца торчал листочек бумаги.

Мария Вадимовна, как писал мой тезка Достоевский ФМ, красота обязательно спасет мир, а я буду любить Вас всю оставшуюся жизнь.

Она вышла на крыльцо, как была в праздничном брючном костюме нежного бежевого цвета. Зимний воздух обжег девушке лицо. Она прижала куклу к груди, да так и стояла под снегопадом, пока Кристина с Анной Николаевной не опомнились и силком не затолкали ее в тепло.

ВТОРОЙ МУЖ ВТОРОЙ ЖЕНЫ

На территории бывшего московского предприятия «Квант» со времен распада СССР чего только не было – склады, фабрика по производству авторучек, татарская дискотека. Не было гостиницы, но однажды появилась и она, обшарпанная, неуютная, но очень дешевая. В нее и заселился холодным январским вечером Евгений Бродский, мужчина средних лет с аккуратной бородой-эспаньолкой, в очках и едва заметно сутулый.

При заселении он с удивлением узнал, что в его номере, забронированном некоторое время назад секретаршей, не было окна. Четыре глухие стены и удобства в конце коридора. Он расстроился, хотел было доплатить и сменить обстановку, но передумал, так как сильно устал после многочасового перелета, а во время сна ему окна ни к чему, решил гость. К тому же он все еще подкашливал, хотя температуры не было, и потому начальство сочло возможным срочно отправить не совсем здорового Бродского в Москву на три месяца. Жена назвала его тряпкой и не поцеловала на прощание.

– Вы утром уедете или днем? – поинтересовалась горничная, молодая толстая казашка. В гостинице, это Евгений Александрович отметил сразу же, весь персонал состоял преимущественно из казахов.

Он прочитал на пышной девичьей груди ее имя и улыбнулся.

– Жылдыз, я уеду сразу после завтрака. Красивое имя, между прочим.

– По-казахски это означает Звезда.

– Вам очень идет.

Он поднялся в номер, не стал распаковывать чемодан, лишь вынул из рюкзака щетку с пастой да полотенце. Через пятнадцать минут обитатель номера без окна крепко уснул.

Евгений Александрович должен был провести в головном офисе своей компании три месяца, чему он был не особенно рад. Когда-то он буквально сбежал из столицы, долго и болезненно переживая развод со своей второй женой. Позже, уже в Иркутске, он женился в третий раз, но счастье в том упоительном виде, в котором он его помнил, больше к нему не возвращалось.

Утром в гостинице он захандрил, температура поднялась до 37,2, а главное, что воспоминания из прошлой жизни угнетали аудитора гораздо сильнее в Москве, чем в Иркутске. В столовой отеля, такой же убогой, как и сам отель, он заставил себя поесть, не переставая перебирать в голове, словно фотографии, лица своих московских женщин. Им было уже под сорок. В январе Маша (первая супруга), в феврале Катя (вторая супруга) – повидать бывших женщин, размышлял он, в этом же нет никакой крамолы или подтекста, кроме того, что хочется услышать голоса далекой юности. Жене Евгений Александрович искренне не планировал изменять.

– Только посмотреть в глаза, услышать голос, когда-то говоривший мне приятные слова. Никаких тактильных контактов, само собой, только визуальные и вербальные.

После завтрака он отправился на квартиру, которую ему арендовала фирма. В ней не оказалось интернета, и Евгений Александрович вызвал мастеров. Заявку приняли, и на следующий день в обед прибыли два крепких мужика с мозолистыми грубыми руками.

– Мне главное, чтобы футбольные каналы показывал телевизор. Скорость интернета пусть будет самая обычная, я дома нахожусь вообще только вечерами.

– Футбол любите? – спросил тот, что пониже.

– Люблю.

Тот, что повыше, выглянул из коридора и с настороженностью в голосе спросил:

– За кого топите?

– За мясо.

После этого мастера в течение сорока минут бурно обсуждали с Бродским все последние слухи из жизни футболистов и тренеров «Спартака». Евгений Александрович тоже возбудился, время от времени размахивал руками, изображал, как Фернандо мастерски кладет в девятку, как стелется в подкатах Зобнин, пару раз грязно выругался в адрес ЦСКА.

Рабочие были в восторге от Бродского. Когда все было установлено и подключено, тот, что пониже, спросил своего вспотевшего долговязого товарища:

– Скажу ему?

Тот одобрительно кивнул, натягивая ботинки.

– Мужик, ты классный мужик! – сказал мастер Бродскому. Евгений Александрович улыбнулся, но не успел ответить комплиментом. Тот, что пониже, взял его за руку и посадил на стул около телевизора.

– Все цифровые каналы – раз, все футбольные – два. А теперь внимание, мужик! Ты же в командировку приехал? Жена, небось, дома осталась? Надолго в Москву?

– На три месяца.

– Ну вот, на всю зиму, получается.

Он пощелкал пультом.

– А вот это эротический канал. Ничего платить за него не надо. Просто вводишь пароль «четыре нуля» и смотришь в любое время. Командировка не такой скучной будет!

Из коридора раздался бас:

– Только там чего-то уж такого нет, там все парни трахаются в рубашках и брюках. Чтобы член в камеру не попал. Законодательство, наверное, ограничивает. Сиськи в полном объеме, задницы крупным планом, пожалуйста, а член нельзя, поэтому все в рубашках по колено.

Закрыв за братьями по красно-белой вере дверь, Евгений Александрович решил проверить еще раз работу телевизора.

Пароль подходил.

Настроение у Бродского заметно улучшилось. По составленному им плану он должен был неделю обжиться, осмотреться, не отвлекаться от работы на свою личную жизнь. Это ему вполне удавалось. В конце же января он запланировал первый контакт.

Выяснилось, что и Маша, и Катя давным-давно не живут в Москве. Общие знакомые, которых Бродский разыскал в социальных сетях, рассказали, что первая жена давно и счастливо живет в США, а вторая в Ка-

лининграде. У обеих новые семьи, дети, карьера. Евгений Александрович спокойно отреагировал на эти новости и даже искренне порадовался за бывших жен. Он решил, что так даже лучше, счел свой изначальный порыв неуместной сентиментальщиной и ушел с головой в работу.

Спустя месяц неожиданно ему написал второй муж второй жены.

«Женя, привет. Мы с тобой всего раз виделись, когда я приезжал за вещами Кати. Помнишь? Увидел у тебя на странице фотографии, где ты на Красной площади, подумал, может, тебе скучно и не с кем выпить. Извини, если навязываюсь».

Бродский сутки не отвечал, но потом согласился встретиться с человеком, которого видел один раз в жизни почти двадцать лет тому назад.

«Я в Коньково квартиру снимаю, приезжай в субботу, Олег».

Олег приехал с пакетом алкоголя и мяса. Едва переступив порог, он обнял Евгения Александровича и, заглядывая в глаза, произнес:

– Ну наконец-то!

Аудитор из Иркутска удивился такой реакции.

– Я военный, Женя. В отставке, но порядок уважаю во всем. Где у тебя фартук?

Фартука не было. Бродский дома готовил только яичницу, да и то не каждый день.

– Не беда, Женя. Сейчас я все организую. Ты мне скажи, друг, зачем ты из Москвы тогда уехал? Квартиру продал, я так понимаю?

– Да. Нервный был, молодой.

– И как там в Иркутске?

– Все хорошо.

– Предлагаю начать с пива, дальше под мясо уже коньячка. Согласовано?

– Согласовано.

Олег лихо дирижировал посудой.

– Ты во второй раз не женился, что ли?

– Нет, Женя, живу один, как пограничный столб. Катя бросила меня, но в отличие от тебя я никуда не поехал. Хотя была мысль такая, была, врать не стану. Ну что, за встречу, друг!

Они выпили пива и закурили. Образовалась завеса из дыма.

– Женя, я к тебе не просто так в гости напросился.

– Я догадался.

– Ты как к Кате относишься?

– Не знаю. Не думал.

– А ты подумай.

– С уважением.

– И все?

– С благодарностью за те три года, что мы жили вместе.

– И больше ничего?

– Ничего.

– Часто вспоминаешь ее?

– Нет. А в чем дело-то?

– Давай под мясо коньячка.

Мясо у бывшего военного получилось вкусным, мужчины отвлеклись на него, и на время разговоры ушли в другую сторону.

– А я, Женя, пишу стихи. Публикуюсь.

– Вот как?

– В «Красной звезде» неоднократно, да. И в нашей районной газете регулярно, я в Медведково живу. Отзывы самые теплые всегда имею.

– Что ж, я рад за тебя.

– Я почитаю тебе из раннего. Всего два из раннего периода. Тогда я еще жил с Катей.

Бродский кивнул. Олег начал читать:

Нет, конечно, не в царской палате
Проживали мы с девушкой Катей.

Евгений Александрович сначала внимательно слушал, но потом потерял нить стихотворения и взялся разливать. Заканчивалось длинное лирическое произведение второго мужа его второй жены сетованием автора на судьбу и предположением об истинной причине их расставания.

Потому, что не в царской палате
Занимались любовью мы с Катей.

Бродский поразился такому выводу: он запомнил Катю непривлекательной девушкой, заядлой рыбачкой и туристкой, для которой шалаши и палатки были самым романтическим местом для отдыха. В том числе и в плане интимных отношений.

– Это было первое. Сейчас второе, оно короткое. Всего четыре строчки. Но какие! Прочувствуй, Женя.

Ты меня упрекала в измене,
Не простила поступок мой скотский.
А ведь я изменил, потому что
У тебя на уме только Бродский.

Олег выпил залпом и закусил половинкой луковицы. На его глазах появились слезы. Аудитор протянул ему носовой платок.

– Это от лука, не подумай, я в норме, столько лет прошло. Вообще, в основном я пишу на актуальные темы, на злобу дня. Мигранты, Украина, Сирия, этот выхухоль Трамп. Раньше про Обаму у меня много было, я даже поэму написал «Черный клоун». Не пропустили. Цензура. Ничего, Женя, не меняется, скажу я тебе откровенно. Пушкина гнобили, теперь за Косого взялись.

– Кто такой Косой?

– Я. Фамилия у меня Косой. Ты не знал?

– А на странице твоей написано Олег Премудров.

– Это псевдоним.

Косой распечатал вторую бутылку.

– Я стихи пишу много лет, но не гонюсь за славой, боже меня сохрани. Но я главного тебе не сказал. Я приехал лично выразить тебе благодарность от всей души. Если бы не ты, то я никогда бы не стал поэтом.

– А я каким боком к этому имею отношение?

– Катя любила тебя, а меня нет. Она мне все пять лет постоянно твердила, что я по сравнению с тобой ничтожество, солдафон. Я даже уволился в запас, только чтобы не слышать эти упреки.

– Господи...

– Ты же тоже поэт.

– Я?

– Не прикидывайся. Мне Катя в морду тыкала твоими стихами, как напьется.

– Она пьет?

– Не алкоголичка, но любит.

– Надо же, а в мое время запаха спиртного не переносила.

– Да, говорила, что ты синяк, безнадежный пьяница, но чертовски талантлив.

– Олег, я никогда не писал стихов. Какая-то ошибка или розыгрыш.

– Женя, не надо меня шадить. Я все стихи твои переписал еще тогда и знаю их наизусть. Я с ума сходил первое время, веришь! С ума! Почему я не могу писать, как Бродский.

– Как Бродский никто не может.

– А я про что!

– Так я про того, про покойного. Я же просто однофамилец. Всю жизнь аудитором работаю.

– Я знаю. Я все про тебя знаю. Ты тоже поэт. Не нобелевский лауреат, это понятно, но поэт ты классный.

Евгений Александрович покачал головой.

– Напомнить?

– Что?

– Стихи твои в пору расцвета.

– Бред какой-то.

– А я напомню.

Косой встал и подошел к плите. Потом повернулся к окну. Сложил на груди руки крестом.

У всех Снегурочек фальшивые улыбки.

Что Новый год? Года не выбирают.

Смотри, как в банке на окне рыдают рыбки.

Они уже давно про нас все точно знают.

Ложишься спать со мной и не со мною.

Насколько ж оказались чувства хлипки.

Я завтра улетаю. Бог с тобою.

Теперь по мне скучать здесь будут только рыбки.

Он снова сел за стол.

– Эта банка с рыбками так и стоит у меня. Она привезла ее тогда. Рыбки, конечно, меняются регулярно, ибодохнут то и дело. А банка стоит. На окне. Выпьем за твой талант, Женя.

Бродский мучительно пытался вспомнить, при каких обстоятельствах он мог написать стихи. Память говорила – ни при каких.

– Не писал я, Олег. Рыбки были, банку помню, но стихи я не писал.

– Ты убил в себя поэта.

– Не писал.

– А вот это тоже не твое?

Можно, в последний раз обниму?

Выскачет сердце – дави ногой.

Мне это сердце теперь ни к чему.

Зачем ему знать, что тебя ждет другой.

Бродский вновь протянул платок поэту.

– Опять лук?

– Нет. Это очень пронзительные строчки. «Мне это сердце теперь ни к чему». Я же их наизусть, назубок. Я с ними до сих пор живу, Женя, дорогой ты мой человек.

– Ждет другой – это ты, что ли?

– Конечно, я. Видишь, ты и про меня стихи писал. Опосредованно. Я разбил вашу семью, прости, прости меня, друг.

На третьей бутылке Олег заметил, что Бродский часто отлучается в сортир.

– Проблемы с мочеиспусканием?

– Есть немного.

– Цистит?

– Частит.

– Могу помочь. У меня брат держит массажный салон. Скромный, но девочки там мастерицы.

– Массаж?

– Да. Я сам пользуюсь.

– Не знаю, честно говоря.

– Да ты не волнуйся, друг. Это все сертифицировано. Восточный колорит и мудрость.

– Сколько по деньгам?

– Тебе даром. Первый сеанс. Дальше уже сам, если понравится. Звоню брату?

– Ну, звони. Хотя я во все эти чудеса не верю. Я у нас в Забайкалье посмотрелся на шаманов.

– Очень зря не веришь. И у брата не шаманы, а медицина, массаж и благовоние. Поэзия!

Косой позвонил брату и записал Бродского на воскресенье. Еще раз прослезившись от умиления от близкого знакомства со своим учителем поэзии, в чем Евгений Александрович устал его опровергать, поэт уехал на такси к себе в Медведково.

На следующий день аудитор первым делом разыскал страницу Кати и написал ей. Она ответила через час.

В полдень чуть живой из-за сильного похмелья Бродский лежал на кушетке в салоне. Олег лично проконтролировал, чтобы массаж делала самая опытная женщина.

После общего массажа тела некрасивая бурятка, а Бродский, много лет живший в Иркутске, научился отличать красивых буряток от некрасивых, подставила высокий барный стул к кушетке и разделась. Затем села на стул и протянула ноги к телу Бродского. Евгений Александрович от неожиданности задрожал и закашлялся. Массаж ему делали ступнями. За пять минут до конца сеанса бурятка посмотрела на часы, встала и подошла к нему сбоку.

– Времени мало осталось, я уж руками и ртом, как все нормальные люди.

* * *

Бродский вышел злой, он никогда не изменял жене и сейчас чувствовал себя отвратительно.

– Это что было, Олег?

– Массаж.

– Это был секс!

– Лечебный!

Они вышли на крыльцо.

– Прости, коллега, – понурив голову, произнес поэт Косой. – Хотел как лучше. Развлечь немного хотел.

Бродский достал мобильный и протянул его Косому.

«Стихи, разумеется, сочиняла я сама. И не осуждай, и не смейся, пожалуйста. Ты просто не представляешь, как тяжело было умной девушке жить с тупым ефрейтором!»

Поэзия

Людмила КАЛИНИНА

Родилась в поселке Керженец Горьковской области. Окончила историко-филологический факультет Горьковского госуниверситета, Высшие литературные курсы и аспирантуру в Литературном институте. Работает главным редактором газеты «Нижегородский университет».

Автор пяти сборников стихов и книги очерков «До слез любя страну родную...» (Аввакум, Н. Клюев, С. Клычков, Ф. Сухов, А. Люкин, Б. Корнилов).

Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

ОН ЗАСМОТРЕЛСЯ НА ЗВЕЗДУ...

Грозные годы

Время подслушаю. Воют голодные волки
На беззащитный огонь одинокой коморки.

Утром – на просеку, в зыбком снегу утопая, –
Лесоповальная женская глушь тыловая.

Сном безутешным укроет вас вьюжная ночь,
Старая дева и юная мать-одиночка.

Самую бойкую сватает вдовый вербовщик,
А темноокою – хмурый безногий конторщик.

В грозные годы, красивым посулам поверив,
Ты простодушно открыла промерзлые двери...

Он – в галифе и застегнутом наглухо френче,
Теплой заморскою шубкой укрыл твои плечи...

Мама, не будем печалиться горько о прошлом,
То, что прошло, то засыпано снежной порошей.

Шубку мы выбросим, все равно съедена молью.
Я отопрею тебя несказанной любовью!

Балахнинское кружево

Мяли, пряли, теребили, –
Старой Вологде в пример.
Чуть совсем не позабыли
Балахонский наш манер.
Говорят, манер не в моде,
Старый промысел зачах...
А салфетка – на комоде!
А косынка – на плечах!

Ты послушай-ка, послушай,
Как по воле умных рук
Запевает хор коклюшек
В нашем доме и вокруг.

Что за чудо эта песня,
Ни за что не позабыть,
Словно тропка в перелеске
Вьется шелковая нить.

Зазывают за собою,
Закружили кружева.
Через тернии и сбои
Верные ищут слова.

Юный Набоков

Жизнь до боли простая
В своевольной игре.
Крылья бабочки тают,
Присмирив на игле.

На родительской даче
Мальчик ладит сачок.
От царевны удачи
Снова по лбу щелчок.

В Петербурге ненастье...
Твой отъезд в невозврат.
В саквояже – на счастье –
Мирно бабочки спят.

Пилот

Он засмотрелся на звезду,
Притронулся к ее сиянью, –
Мы беззащитны, мы беду
Не в силах предупредить заране.

Небес громовая стрела
Повергла молодой осинник.

Трава здесь долго не росла,
Деревья не входили в силу.

Там, на Ереминских холмах*,
Я не испытывала страха.
А что такое боль и страх?
Невосполнимая утрата.

Не виноваты небеса,
Скорей всего была ошибка.
Где вы, небесные глаза
И лучезарная улыбка?

Где вы, сгоревшие цветы?
Осталось вечное стремленье –
Жажда предельной высоты
И зов земного притяженья.

Начало

Пекарня пахла ванильной булкой,
А ты не булку, науку грыз.
Стучало сердце о камни гулко
И, словно камень, падало вниз.

По Суетинке летишь под горку
Наперегонки с веселой весной.
Грохочет залитый солнцем город,
Смеется, кажется, надо мной.

Бегу, уже убирают сходни,
Двери закрыл девятый причал...

Мне надо успеть сейчас! Сегодня!
Весенняя Волга. Начало начал...

Старинным храмом пекарня стала,
Причал в низовья волной унесло.
Крутит, вертит водою талой
Чье-то сломанное весло.

Уплыть бы на льдине к теплому югу, –
Бежит к ногам большая вода.
Держит город меня за юбку,
Держит накрепко, навсегда.

* Ереминские холмы – место гибели Юрия Гагарина.

Эдуард УЧАРОВ

Родился в 1978 году в городе Тольятти. Окончил Академию труда и социальных отношений (юридический факультет). Работает руководителем литературного кафе «Калитка» Центральной библиотеки города Казани.

Автор поэтических сборников «Подворотня», «SOSтояние весомости», «Трёхколёсное небо», «Иностранная вещь», «Стихотворения», сборника прозы «Калмыцкие таблицы». Публиковался в журналах «Воздух», «День и ночь», «Дети Ра», «Дружба народов», «Звезда», «Нева», «Новая юность», «Современная поэзия», «Юность», «Номо Legens» и других. Стихи переведены на сербский язык.

Победитель турнира поэтов Литературной универсиады в Казани (2013). Лауреат литературной премии имени Максима Горького (2020). Организатор и куратор ряда литературных проектов. Живет в Казани.

...ВЕДЬ ПАДАТЬ – ЭТО КАК ПИСАТЬ СТИХИ

Г. Б.

Накинь же дождь себе на плечи –
он так тебе идёт.
Вовсю идёт, и буквы шепчет –
счастливый идиот.

Дымится в лужах на асфальте
и листья нервно рвёт,
скрипя на водосточном альте –
ревёт, ревёт, ревёт.

Он оступается на крыше
и падает во тьму:
и вскрик его – тебе лишь слышен,
твой возглас – лишь ему.

Накинь его опять на плечи –
он в сумерках дрожит,
и всю тебя слезами лечит,
и только этим жив.

Лунатик

Как на лампаду, на небо дохнёшь –
погасишь звёзды, отвернёшься к стенке,
и, сном полурасстрелянный, начнёшь
цедить глагол оспатой ассистентке.

Она тебе сквозь тюль засветит в глаз,
и ты, словечки нанизав на рёбра,
на ловкое циркачество горазд,
карнизом ржавым пятишься нетвёрдо.

О, Господи, ты только не буди,
когда я черепицу разминаю,
ходи со мной по этому пути,
пока не приключится жизнь иная.

Тогда кульбиты будут так лихи,
так искренне прочертится глассада,
ведь падать – это как писать стихи:
ни притворяться, ни уметь – не надо.

* * *

Миру – мир тебе, брат! – безмятежный скиталец весны:
прорастают вьетнамские лапти в бананы-штаны,
на измятой тельняшке горит пионерский значок, –
до ушей улыбается Лёша – смешной дурачок.

Выходя из буфета на млечный казанский простор,
он мычащие губы от крови томатной отёр
и, присев на скамью у обкомовских ёлок в тиши,
воробыиной семье бесконечную булку крошит.

Мимо оперных стен и ожившего вдруг Ильича
я на велике мчу, дяде Лёше дразнилку крича,
а в кармане звенят тридцать восемь копеек надежд
на берёзовый сок, два коржа и огромный элеш.

У продрогших витрин торможу через сколько-то лет –
за стеклом банкомат – не оплатишь обратный билет...
Будто в детстве, где целым богатством считался пломбир,
мне из окон глядит повзрослевший теперь «Миру – мир».

Лядской сад

Мы выжили, спелись, срослись в естество
чернеющей в садике старой рябины;
глухой, искорёженный донельзя ствол
не выстрелит гроздью по вымокшим спинам,

плывущим к Державину, выполнить чтоб
в обнимку с поэтом плохой фотоснимок:
блестят провода и качается столб,
троллейбус искрит, перепутанный ими,

а ливень полощет у сосен бока
и треплет берёзы за ветхие косы,
газон, осушив над собой облака,
под коврик бухарский осокою косит,

и голос фонтана от капель дождя
включён, вовлечён в наше счастье людское...
и мальчик соседский, в столетья уйдя,
по лужам вбегает в усадьбу Лецкого.

Рождение

В новое переселяясь тело –
чувствовать озноб, неправоту.
Позабыть бы. Забываешь смело
то, что будет так неумоги.

Радуешься солнцу, но не знаешь,
что это такое, какова
близится расплата за уменье
языком нащупывать слова.

Смотришь-смотришь ясными глазами
на рождённый в первом крике мир.
Вот и всё. Мне всё про всё сказали.
Обними и на руки возьми.

* * *

Жизнь – застенчивый кузнечик,
разбегающийся в даль.
Прыгнет в небо человек
и исчезнет навсегда.

Только клеверная стела
прорастёт в тени крыльца,
и останется от тела
золотистая пыльца.

Светлана ГОРДЕЕВА

Родилась в 1968 году в селе Комсомольском Чувашской АССР. Окончила художественное училище в Гомеле (Белоруссия), Чувашский государственный педагогический университет им. И. Яковлева (факультет русской филологии). Работала художником-оформителем, корреспондентом и руководителем отдела в республиканских газетах, помощником депутата Госдумы России, пресс-секретарем, PR-менеджером.

Автор 16 сборников стихов, публикаций в общероссийских и региональных периодических изданиях. Финалист и победитель ряда республиканских и всероссийских литературных конкурсов,

Член Союза писателей России. Живет в Чебоксарах.

ПЕСНИ И ПЛАЧИ ЦАРИЦЫ ПИКЕ*

*

Никто мне не скажет больше того, что могу я услышать от ветра, который из своего безмятежного полета приносит мне пыльцу мандаринового дерева из персидского сада, золотой песок египетских пирамид, перо лучезарной птицы Кунгош**, которым пишу я теперь эти строки.

*

На каком языке рассказать я смогу, что пришла из таких неизведанных далей, что пила из озер с жемчужной водой и летала на белом коне в поднебесье? Как растила деревья маслин в полнолуние. Как искала монету любви, оброненную в черное озеро грусти. Как берегла непокорную душу и не хотела, зная судьбу, рождаться опять...

На семидесяти семи языках не рассказать мне об этом, лишь могу промолчать на семидесяти семи языках.

*

Тебе не надо держать меня в клетке, как редкую птицу. Мне некуда бежать от тебя, как Земле никуда не деться от Неба. И на какую бы ветку ни садилась птица, с чьей бы руки ни кормилась, она всегда живет в одном и том же Небе. Без полета синие глаза птиц теряют свой цвет как морские камни, выброшенные на берег. Без полета сохнут крылья как виноградные гроздья без заботливых взглядов садовников.

* До завоевания русскими Казанского ханства чуваша жили отдельным народом, у них были свои цари и правители. Последней, по преданию, была царица Пике.

** Кунгош – прекрасная мифическая птица, крылья которой, касаясь всего злого, превращали его в добро. Птица бессмертия и света.

*

Я состригла волосы в месяц юпа* и вытерла ими ноги того, кто ко мне не придет никогда. Его длинные смуглые пальцы никогда не протянут мне влажный цветок белого лотоса, не услышу и голос, что как ветер во ржи молчит на родном языке о нежности. А в глазах его цвета виноградной косточки не отразится мой лик, нарисованный этой весенней прохладой.

*

Когда идешь в середине леса, не видя тропы, посмотри на небо, спроси дорогу у Солнца. Когда не знаешь дороги в середине жизни, посмотри на небо. Светлоликий Шамаш** ходит по синей чаше и видит тебя: твоё прошлое и настоящее. О будущем не спрашивай богов, не дразни их своими мечтами как наживкой карася с золотой чешуей. Древнее Солнце встает на длинные ноги и идет по кругу, не спрашивая, куда и зачем? Хевел ури*** всегда ведут дорогой света.

*

Никак не могу устроиться внутри себя: неуютно, темно и холодно. Заглядываю в потайную дверцу души – и там нет покоя. Когда плачет мой народ, я плачу вместе с ним, когда поёт, я расправляю крылья. Я взяла эту чашу с золотистым сара****, уронила слезу, как камешек в озеро грусти... И увидела я, что нет больше места для слёз... Пришло время для битвы: копья выросли в сердце, и мысли покрылись броней.

*

Война пахнет железом и кровью. Это ветер соленый с моря пьет этот запах на берегу. Сколько мужчин должны отдать свои жизни ветру? На берегу священной реки Атал***** плачут женщины, полоща кровавые платки и печальные взгляды в зелёной как грусть воде. Мама прочитала узор на моем рукаве, прочитала его на подоле и заплакала. Почему ты плачешь, мама? Ведь это ты научила меня этим узорам вдов.

*

Почему люди плачут, закапывая тела других людей в землю? Воины сами сделали свой выбор и полынные слезы жен и детей не удержат их птиц души в тесной клетке. В далёких садах уже выросли ветки и ждут своих птиц. И созрели плоды граната и взрываются гроздья синего винограда – нет больше времени для прощания с женами и детьми.

*

Дело женщин – ждать своих мужчин живыми с войны. А ещё – петь и плакать. А ещё – верить и ждать... и рожать новых воинов. Только

* Юпа – главным обрядом, посвящённым предкам, является юпа (юпа ирттерни) – осенние поминовения предков, проводившиеся в месяц юпа (октябрь), т. е. в месяц поминок, по чувашскому календарю.

** Шамаш – бог солнца у вавилонян и ассириян. Имя его писалось идеограммой, обозначавшей: «Владыка дня».

*** Хевел ури – ноги солнца. Лучи солнца, которые видны сквозь тучи.

**** Сара – пиво, древний чувашский напиток.

***** Атал – древнее название реки Волга.

и можем, что молить о прощении и просить у богов капли жизни любимым, отдавая взамен всё самое лучшее. Родился в печи белый хлеб, вместо соли политый слезами. Белый как день, белый как одежды чувашских женщин, белый как конь мачавара*. Отдам белый хлеб из печи всевышнему Тура**. Он любит белые подношения.

*

Я просила тебя не приходить в мои сны, не тревожить духов прошлого. Даже если я и жила в древнем городе Урук***, ты ничего мне не должен. Тогда я простила тебя, а, простившись, положила тебе на живот белый камень, изрезанный волнами жизни, чтобы больше никогда с тобой не встречаться. Я взяла свою древнюю душу, как пальто со спинки стула и надела её, плотно застегнув пуговицы времени. Без тебя одно крыло моей души высохло и опало как жухлый лист, но я научилась жить с одним крылом – это не трудно, но больно.

*

Я проглотила любовь вместе с молоком матери, а теперь её выталакивает из моей груди боль. Боль превращается в воздух, который пью каждый день, иногда запивая слезами. Теперь я проглотила зерно надежды и обильно полила его живительной влагой веры. Пусть оно прорастет и даст всходы, вытолкнув обратно эту несправедливую боль.

*

Как золотая чаша наполняется весёлым вином, так город Сувар**** по утрам наливается Солнцем. Дети пьют это солнце и смотрят в глаза отцов, набираясь мудрости и отваги.

Когда рушится город, остаются следы ступней ног всех тех, кто в нём родился и умер. И никто не сможет завоевать этот город: в нём нет места для отпечатков чужих сапог.

*

Что останется, когда кончится наше время? Песчинка в море, птица в небе, полынь в поле... Кто вспомнит, где лежат кости предков? Кто подаст им пашалу***** в день Симек*****? Поднимаются предки в день летнего солнцестояния, чтобы взглянуть в глаза своих далеких потомков и увидеть в них отражение вечного стража – Солнца. Только оно передаст тепло и заботу живущим, только оно напомним о нашем величии.

* Мачавар – старейшина, тот, кто проводит обряды.

** Тура – верховный бог у чувашей.

*** Урук – стал первым городом Южной Месопотамии. Вокруг была возведена стена - что свидетельствовало о том, что Урук был городом, а не просто поселением.

**** Сувар – город Волжской Булгарии, вблизи Булгар.

***** Пашалу – пресная лепёшка, обычно поминальная.

***** Симек – летний праздник (совпадает с Троицей), посвящённый поминовению усопших, с посещением кладбищ. Проводился через семь недель после Пасхи.

Александр САВОСТЬЯНОВ

Родился в 1963 года в г. Клинцы Брянской области. Окончил Брестский инженерно-строительный институт, более 20 лет проработал в городском отделе архитектуры. Автор десяти книг стихов и прозы. Обладатель премии «Серебряное перо Руси» Международного конкурса «Национальная литературная премия “Золотое Перо Руси”-2016». Живет в Клинцах.

...У ВРАТ РОДНОГО ЯЗЫКА

Чёрная кошка

Чёрная кошка,
чёрные крошки – четверо милых котят
в городе Сочи.
Чёрные ночи. Чёрные тучи летят.
Спешный свидетель – северный ветер.
Прогрохотал товарняк.
Прямо бежали, хрипло рычали
трое голодных дворняг.
Шерсть встала дыбом.
Быстрым изгибом к яростной схватке готовьсь –
И у барбоса прямо из носа брызнула первая кровь.
Голод не тётка. Рвут свои глотки
Псы. Им совсем невтерпёж.
Лапой по глазу. Хватка ослабла.
Дикие визги, скулёж.
Время летело, кошка шипела,
не отступив ни на шаг.
Бешено лая, жутко оскалась,
в битву вступает вожак.
В бойне без правил псиной расправы
некуда пятиться. Ох...
Очень некстати, злобные тати...
Надо сражаться на трёх.
Челюсти сбоку. Хрустнули кости.
Острая боль до плеча.
В поисках чуда: «Где же вы, люди?» –
Больше не в силах кричать.
Всё запоздало. Значит, пропало.
Силы уходят в борьбе.
Скверное дело – брренное тело,
где перекушен хребет.
Ангел пушистый – белый котище...
Дверь отворяется в Рай...

Надо проститься...
Кажется, снится...
Иль показалось: «Вставай!» –
Словно ребёнок, малый котёнок
мордочкой ткнулся ей в шерсть.
Кошка вздохнула, молча уснула,
слова не ведая «смерть».
Кайся не кайся, поздно, хозяйка –
Скрылись все псы за углом.
Плачут котята. Прав обыватель –
как же им всем повезло...
Люди и звери... Горечь потери.
В зеркале бродят кривом
скользкие взглядом
Псы – где-то рядом.
Рядом вот так и живём.

В городе Сочи – чёрные ночи. Чёрные тучи летят.
Свет из окошка...

Чёрная кошка.

Четверо чёрных котят.

ВРЕМЕНА И СРОКИ

(Цикл японских сонетов)

*феникс бессмертен
песня во все времена
прелесть мгновений*

Чувства лета

солнечный полдень
в жёлтых иголках тропа
сосен макушки

ветра безбрежность
сини небесной исток
море ромашек

сладок цветочный нектар
время иллюзий
позднего лета глоток
осени привкус

Время осени

капли тумана
ворох опавшей листвы
шляпка маслёнка

сырость и слякоть
бабьего лета тепло
гроздь рябины

крик журавлиный вдали
в поисках счастья
падает с неба звезда
время расстаться

Зимняя сказка

гроздь сосулук
свет фонарей во дворе
странные тени

взрывы хлопушек
яркий огней фейерверк
зимняя сказка

Герда. замёрзший каток
в поисках Кая
долгая зимняя ночь
власть королевы

Мгновения весны

полем дорога
ключ с родниковой водой
девушки косы

листья берёзы
старый заброшенный дом
вбок накренился

вечер. стрекочет сверчок
голос цикады
полная будит Луна
запах сирени

Звёздное время

берег песчаный
ива под старым мостом
тёмные воды

лодки скорлупка
мошка. летучая мышь
лунную ночью

свежего воздуха вдох
целая вечность
падает с неба звезда
тихая пристань

Следы
(Брахиколон)

«...Жил –
Был».
– Пил,
Бил.

Сей
Путь –
Дней
Ртуть...

Блуд,
Смех.
Суд:
«Грех!»

Как
Жердь –
Знак –
Смерть!

Всех
Жаль...
Вех
Шаль.

Лет
Быль.
След –
Пыль...

...Плеснь.
Прах.
Песнь
Птах.

– Вглубь
Рой!
Рубль?
Стой!

– Есть! –
Рад:
«Здесь –
Клад!»

Вой.
– Чёрт?!
Бой.
Мёртв...

Лжи
Чернь.
Жив
Червь!

Акрокапризное

Апрель – проказник и обманщик,
оПрава марта, пропуск в май,
миРов сиреневых шарманщик,
кудЕсник, страстный шалопай,
оскоЛком льда прирос к рассвету,
метелью странной канув в Лету.

О/пять с утра дождит палитра,
о/К/ошко в осень приоткрыто,
ле/Т/ит, как в сказке, жёлтый лист.
нар/Я/д с деревьев снял магнитом
скор/Б/ящий ветреный каприз.
дождя /Р/асстроил безмятежность
октябрь/Б/ский гром – к зиме бесснежной!

(Сицилианская октава)

Майские приметы – нежные тюльпаны,
пЕрвые туманы, грозы и дожди.
пеСней белопенной бьющие фонтаны.
стаЯ журавлиная грусть опередит.
месяЦ ожиданий и переживаний
тайныМи тропинками тает позади.
серые заСветы сущности обмана.
звёздныйИ путь нетленной свежестью сквозит.

Л

(Гиперлипограмма)

Оля, Алла, Юля, Лиля,
Лёля, Ляля и Илья
У аула, ай, юлили,
Алый лаял у улья.

У алоэ эль лелеял.
Лол, ау! Алло, Али!
Ела Лейла еле-еле.
Аллилуйя! Лей ай!

Елью ель я у аллеи,
А у яла – Юлий, Лель.
Лилии – Эолу, Элли –
Лил июля ил елей.

Заколдованный алфавит

(Абecedарий-асиндетон)

Акварели Бархатной Веселье
Говорит Двудликим Естеством.
Жемчуг, Заколдованный Издревле.
Йога Камуфляжным Лепестком.
Мистика Нечаянных Оказий.
Полонит Реалий Суета.
Таинство Украденных Фантазий
Хитрости Цифрованной Чета.
Шалопутностью Щеголеват'Ы,
Эксцентричны Юркие Ягнята.

Восходящие миры

(Макаронистическая поэзия)

- Вилкоммен, да?!
- Ду ю спик инглиш?
- Их дойч ферштеен, ниht франсе!

...Ведёт звезда
Из прошлой жизни
По чёрно-белой полосе,
Где инь, да ян
В забавной позе...

- Найн либен?
- Фу! – Одна тоска.

Любой изьян
Почует в бозе
У врат родного языка.

Зачем во сне зубрить зулусский? –

Мир будет говорить по-русски.

Олег ЗАХАРОВ

Родился в 1961 году в селе Новоликееве Нижегородской области. Окончил Волго-Вятскую академию государственной службы.

Поэт, публицист. Автор книг «Кстохмы» (2006), «Нежданный гость» (2011), «Иронист.ру» (2016), «Есть повод!» (2016). Лауреат Всероссийского фестиваля иронической поэзии «Русский смех» 2007 и 2012 годов. Призер международного литературного конкурса «Жизнь прекрасна!» (г. Аахен, Германия). Серебряный лауреат национальной литературной премии «Золотое перо Руси».

Председатель Нижегородского городского отделения Союза писателей России. Живет в Кстове.

НО ТАК ПОРОЮ ХОЧЕТСЯ НОРМА...

Встреча с пародистом

Я жил, в потьму срываясь, — жаль...

Александр Балтин, Москва

Я шёл развалкой от вокзала
В ближайший лес писать стихи.
Был тихомолк. Потьма стояла.
Домой спешили попыхи.

Заухал филин в тёмной роще
Из-под какого-то тишка.
Я с перепугу сел на ощупь,
И ощупь крякнула слегка.

Лес накрывало полумраком
И птичий стих переполох.
И тут почуял я просаком,
Что приближается расплох —

Он всем известен, как поборник
Познаний в русском языке.
Моих стихов раскрытый сборник
Держал на правом коротке.

Он шёл ко мне наискосоком,
В лице сияло торжество,
Но я решился наутёком
Спасть от критики его.

Имея пять секунд в запасе,
Проклятья шёпотом твердя,
Я поспешил в свои свояси,
На побегушку перейдя.

Теперь в ночи лежу со страхом –
И сон нейдёт, и стул мой плох, –
А вдруг на стихотворный запах
Опять придёт ко мне расплох?!

Дорожные указатели

*Медвежья хватка у мороза,
А до жилья ещё полдня.
Кругляшки конского навоза
К деревне выведут меня.*

Александр Суворов, Республика Коми

В распутье заплутать несложно.
Кто жил в селе, меня поймёт.
В деревне знаков нет дорожных.
Есть указатели – помёт.

Помёт укажет без промашки
Любой маршрут, как в чаще мох:
В конюшню путь – коней кругляшки,
А в центр села – козы горох.

Он регулирует движенье –
Кому, куда и как идти.
Там поворот, а тут суженье
За счет помёта на пути.

Бывает, правда, я не скрою,
Сей указатель и суров.
Вчера вот встал ногой босою
На знак «Парковка для коров».

Консерватор

*...кофейник приближается к столу.
Но в то же время он метафизи-
чески еще находится вблизи.
Солонка тоже двойственна, настоль-
ко там и здесь, что в этом-то вся соль...*

Владимир Строчков, Москва

Умом-то я, конечно, понимаю,
что, наверно, в этом-то и ма-
стерство поэта крепкого ума.
Но так порою хочется норма...

На границе

*За межою пограничною,
За рубежною верстой –
Ничего не вижу личного,
Сколь, уставившись, не стой.*

Галина Умывакина, Воронеж, «День поэзии»

За столбами пограничными
У России на краю
Ничего не вижу личного,
Хоть полдня уже стою.

Появись скорее, личное—
То ли Гюнтер, то ли Джон,
Предложи хоть неприличное,
И за это *danke schön*.

Хоть и зрение отличное,
Даль пуста во все концы.
А увидеть ближе личное
Не пускают погранцы.

На границе хаотично я
Прометалась дотемна.
Молодая, симпатичная,
Почему я здесь одна?!

Как обычно, лаконичная,
Мне ответила страна:
Вон твое, Галина, личное –
Спит за баней с бодуна.

Основоположники

*В зимний вечер или в день осенний
Я сажусь за стол, со мной Мольер,
Аристотель, Гегель, Маркс, Есенин,
Грибоедов, Шолохов, Флобер.*

Михаил Давыдов, Нижегородская область

У меня в дому зимою как-то
Собрался писателей весь цвет.
Я спросил у Маркса: ты-то как тут?
Вроде не прозаик, не поэт...

Он ответил, полстакана выдув:
Я и есть писателя пример.
«Капитал» – фантазия, Давыдов,
Как у Жюль Верна, например.

– Ну а как же: «Новый мир построим»?
С флагами мы пёрли на реду...
– Нечто я один во всём виновен?
Вон и Фридрих с Энгельсом идут.

Мы всё замутили для прикола,
Посмеяться на досуге чтоб.
Правда, вышел он на грани фола,
Этот... Как у вас сейчас?.. Флеш-моб!

Хоть и был я циником бывалым,
Но замолк, услышав эту гнусь!
С той поры ни с Фридрихом, ни с Карлом
Даже в поле рядом не сажусь...

Молитва

*Ты прошла, оставив след –
То ли в сердце, то ль в судьбе.
Я спросил у Бога о тебе –
Он молчал – задерживал ответ.*

Евгений Воронов, Нижний Новгород

Я молился истово. Да зря
Бил поклоны: «Господи, прости!»
Слышу голос из-за алтаря:
– Абонент вне действия сети.

Мария БУШУЕВА

Прозаик, критик. По первой профессии психолог. Окончила Высшие литературные курсы и аспирантуру Литинститута им. А. М. Горького.

Автор нескольких книг прозы, в том числе романа: «Отчий сад» (М., 2012), а также публикаций в журналах «День и Ночь», «Литература», «Московский вестник», «Алеф», «Москва», «Урал», «Дружба народов» и других. Стихи переводились на французский язык.

Лауреат премии журнала «Зинзивер» (2017). Член Союза писателей России. Живет в Москве.

ОБДОРСКИЙ СЛЕД

Минувшее меня объемлет живо...

А. Пушкин

«...живущий лишь материальным слит с материей, его пространство – часть материального мира и обречено на полный распад после его смерти. Но «сеется в тлении, восстает в нетлении; сеется в уничтожении, восстает в славе; сеется в немощи, восстает в силе; сеется тело душевное, восстает тело духовное», – учил апостол Павел. И каждому дан шанс обрести при жизни тело духа. Оно не может быть украдено – только самостоятельно возвращено, как дерево в твоём собственном саду, с помощью духовных помощников.

Если в тяжёлый час сумерек души ты внезапно почувствуешь, что тебя окутало поле света, доброты и любви – и сердце, как инструмент, вновь настроилась на музыку жизни, – значит, твой духовный помощник с тобой. Чаще встреча с ним происходит во сне, но может случиться и наяву, к примеру, он пройдет мимо окна кафе, где вы сидите с другом или...»

Журналист по профессии, моя бабушка Ю не расставалась с любимым синим блокнотом, всегда лежавшим на ее тахте, под чуть примятой подушкой. Эта незавершенная запись была в нем последней.

* * *

Вижу этот крохотный слабый огонек на темном, почти черном, необозримом пространстве снегов, мне кажется, что он медленно дви-

жется, отражаясь в ночном небе. Вот он ближе, ближе, уже можно разглядеть, что это свет узенького оконца деревянной избы-церквушки, в которой стоит и молится маленький сутулый русский священник.

– *Что занесло вас, батюшка, в приобские снега? – это я спрашиваю его ровно через три века. Там сейчас 1728 год.*

Он вздрагивает и озирается: избышка-церковь пуста, темны углы, лишь на суровых иконах блуждают отблески огня, оттого кажется, что лик Николая Угодника совсем живой. От одиночества ведь что не померещится, вот и голос женский прозвучал.

Что занесло...

Дверь скрипнула. Господи, не разбойник ли? Да, нет, спаси Господи, толмач это Ипат Актамаков, мимо на собаках мчался, вот и заглянул на огонек. Взгляд веселый у толмача. Он и к шаману ходит. И отца Никифора чтит. Небось от шамана-то утаил, что окрестился недавно. На всех местных наречиях легко говорит, с вогулами, зырянами и самоедами, вот и русский освоил, когда окрестился, никто не понуждал, по царскому указу ведь «буде которые иноземцы похотят креститься в православную веру волею своею, и их велеть принимать и крестить, а неволею никаких иноземцев крестить не велеть...», по душевному то есть велению, а получил кафтан в дар и сапоги. А по-русски говорит лучше иного казака из черкас.

– Доброй ночи, отец Никифор. Благослови на доброе дело: хочу до Тобольска завтра ехать, мягкую рухлядь там продать, кормить детей надо.

– Пюв латтен, амнане, элпын апостольской торымквалне шуншан?

– Шуншам*.

– Помолись. Благословлю на путь-дорожку. – Из темных углов шорохи слышатся. Мыши, должно быть. И откуда берутся они в тундре заснеженной? Где человек осел, там и с ним мелкая божья сия серость. Да и то веселее, когда ни жены, ни детей. Ледяная земля, пустое гудящее пространство – лишь суровые ветры с Оби-реки долетают сюда и летят потом до серых хребтов Рай-Из... – Пошли, Аким, в мой закуток...

Гудит священнический домишко от обских ветров по ночам, точно жалуются: не место здесь русской избе, в обдорских снегах.

– Садись, садись, Ипат, почаевничаем. В Тобольске моим родителям кланяйся. Скажи, жив я, пока не нашла меня жестокая стрела, как моего отца, который с самим митрополитом Филофеем по юртам остяцким ездил... Бог помог – только молитвенно сложенные ладони пронзила, когда он молился, подплывая на лодке к вашему остяцкому берегу. Усердство батюшка мой являл, желая обратиться в христьянство население обских юрт... А митрополит наш тогда уж в схиме был именем Феодор...

Так вот оно что, понимаю я, отец Никифор из Тобольска, а в Тобольск что его привело? Какого роду-племени маленький сутулый священник?

– Славно, что заехал ты ко мне, Ипат. Совсем от одиночества я духом скудею, вот аж голос бабий слышу, будто спрашивает, какого я роду-племени. Такое в тундре у многих русских случается, тундра на пришлого человека морок наводит, а как речь живую услышишь, морок оставляет. Слава тебе господи, скоро здесь не изба моя будет, а церковь возведут, чуть поодаль, там, где ваш крещеный князец Тайшин житьство имеет... А от одиночества меня молитва спасает. С пресветлым Христом беседе веду. Он и во сне ко мне приходит, ласково так смотрит...

* – Скажи мне, чадо, веруешь ли во апостольскую церковь? – Верую.

– Да и я бы спросил, батюшка, как в наши края ты попал?

– Это, сын мой, само провидение, задолго до Филофея был митрополитом тут Киприан, с собой привез он московских черных да белых попов с их с семьями, всех супротив их воли, стенали оне, и кто еще по пути обманул бдительность Киприана да сбежал обратно, а кто не сумел и до Тобольска остался – судьбу проклинал, что сюда в холодный чужой край на испытания отправила. Один вскоре здесь помер, и вдова его следом ушла, оставили они сиротой мальчонку, вот от мальчонки того корень и побеги дал. Так времечко русское на сибирское в моем роду поменялось... После сюда киевские попы присланы были с митрополитом, дай вспомнить, как его величали, это еще до Филофея... запаматовал. А отец мой женился на дочери киевского певчего, того уже митрополит Филофей взял с собой... Певчие были не все монахи, кто постарше с семьей в Сибирь попал. Да не все тут ладно: матушку мою больно любил другой Филофеев певчий, молодой совсем послушник, Иоаким, от любви своей пострига он не принял, жениться возмечтал, священником стал, а тут ему мой батюшка дорогу и перешел, любовь у них случилась. После взял в жены Иоаким другую, да живут плохо, а сын его младший, Петр, третий год как пономарь у отца в Тобольске... Иоаким сильно тяготится, что у счастливого соперника отрок его на побегушках, ненавистью и обидой пылает, всяческие козни моему батюшке строит, и недоросль той же бесовской тропой ступает, а ведь каженный божий день не попреки, а доброе слово да еду вкусную, попадьею сготовленную, от моего отца видит. Преставился прежний отцов пономарь, славной души был... Не может Иоаким-недруг забыть загубленного счастья, а чем батюшка мой виноват? И, коли вера православная от сердца идет, простить бы должен...

– Выходит, так.

– И вот, что недавно Бог мне открыл: сильная обида Иоакима, его ненависть – рана назаживающая не одного его, а, выходит, и моя, может, и всего моего рода, у меня дочка растет, сейчас в Тобольске у деда с бабушкой, я и жену просил сыскать мне вместо, значит, во младости своей отошедшей в мир иной моей дорогой попадью, сыночка-то нашего до дюжины годков его страдалица вырастила, он сейчас уже дьячок в Березове, а доченьку младенцем мне оставила, сильно чувствительная была, видела однажды, как остяк из сырой рыбы внутренности выедает, в забытье впала. Вот и надеюсь на добрую женщину, коли такую найду, дочка с нами жить будет. И сдается мне, что и мою матушку, и меня, мы ведь с нею были едина душа, пронзила, как отца моего стрела остяцкая, злая ревность Иоакима, ее погубила, а мне рану нанесла, оттого скорбь во мне ежечасная, так рана сия все болит, все гноится и зарубцуется, ооох, чую, очень нескоро...

– Отец Никифор, откровенно скажу тебе: рана твоя от стрелы все той же – тадыма, шамана: отца твоего не сгубила, однако, по-прежнему в твой славный род стрела метит, жаждет погубить все твое древо, через глазницы сына Иоакима, пономаря, в тебя целится, наслад на него ненависть шаман, сделать это легко было посредством Иоакимовой давней обиды, за обиду ненависть зацепилась. А шаман как ветер...

– На то молитва защитная есть, Ипат. Да и зла я на шамана в сердце вовсе не держу. Он ведь веру свою защищал, древних богов своих, коих мы идолами зовем, оттого остяков поднял на Филофея и нас по вере своей судит. К тому ж моя жена-то родная была русской

по отцу, ларешному Тверитинову, а у матери ее половина крови – кондинская...

«Ларешный» – это, наверное, от слова «ларь», совсем не к месту спросила я и улыбнулась, вспомнив сюжет про машину времени из старой комедии. Искусство интуитивно угадывает необъяснимое, сокрытое от рационального ума, но обеспокоенный рациональный ум стремится тут же избавиться от смутно угаданного – порой и с помощью юмора – кратковременного торжества жизни над смертью.

Оба: маленький сутулый священник и длинноволосый толмач – одновременно тревожно друг на друга глянули.

– Отец Никфор, ты слышал?

– Слышал, Ипат.

– Это духи тебя пугают. Осенью шаман вызвал их, чтобы сразились они с твоим Христом...

* * *

...Почему-то я вспомнила одного из своих одноклассников, голубоглазого, крупного, инертного блондина, медвежьих движения которого никогда не совпадали с общим темпом класса, точно все участвуют в кроссе, а Олег очень медленно идет по соседней параллельной дорожке, из-за странного временного смещения от бегущих не отставая. Он занимался каким-то тяжелым спортом, точно никто не знал каким: одни приписывали ему тренировки в секции самбо, другие – упорную борьбу со штангой. Имя его тоже казалось увесистым – возможно, утяжеляло его звучание напластование уже известных мне исторических и литературных ассоциаций. Физическая сила сочеталась у Олега с сильнейшей робостью на уроках. Преподаватели предпочитали его ни о чем не спрашивать: учился он и соображал хорошо, но долгую паузу между вопросом учителя и его ответом не мог выдержать никто. Удивительно, что мальчишки нашего «элитного класса “А”», где процветало издевательство над выбранными раз и навсегда двумя жертвами: толстой девочкой, носившей ручки в пенале еще своего дедушки и прозванной «сарделькой», и коротконогим сыном одинокой почтальонши, к которому припечатали, разумеется, кличку Такса, Олега никогда не высмеивали. Никто ни разу даже не усмехнулся, когда он, вызванный отвечать новым преподавателем, еще не разобравшимся, who is who, минут десять пытался преодолеть робость: тихий голос запинаясь о самого себя, слова путались, точно глупые малыши под ногами у взрослого, и в самом Олеге в эти для него трудные минуты проступало что-то даже не малышное, а грудничковое, казалось, изо рта этого огромного младенца вместо слов вот-вот начнут выдуваться бессмысленные пузыри. Зато падающий на пол пенал вызывал в классе гомерический хохот, ликующий стук кулаков о парты и крики: «Сарделька, продай антиквариат!»

Вряд ли Олег за пределами школы продемонстрировал кому-то из одноклассников свои мускулы, скорее всего, его мужская вибрирующая сила просто улавливалась их низшим локатором, тем самым, что заставляет оленей сцепляться рогами, но никогда не даст оленю напасть на тигра. В классе об Олеге вообще мало что знали, он ни с кем не дружил, мне было известно и того меньше: ну из интеллигентной семьи: мама – терапевт, отец – кандидат каких-то технаук. И все. Влюбленная

в красавца-украинца с ахматовской фамилией Горенко, в чем, разумеется, угадывала некий тайный романтический знак жизненного пути, я вообще не обратила бы на Олега внимания, если бы не одна странность: он меня сильно не любил. Его нелюбовь ко мне, ни в чем конкретном не проявляясь, ощущалась мной, как невидимая враждебная эманация. Я постоянно чувствовала спиной холодящий взгляд (Олег сидел в другом ряду, возле окна), взгляд неприятный, недружелюбный. Если бы Олег был по-детски в меня влюблен и насмешливо отвергнут, его неприязнь имела бы прочные основания. Но я точно знала, что антипатична ему просто так, без всяких на то причин, наверное, он и сам, если порой размышлял на эту тему, не мог понять – почему... Мы с Олегом никогда не подходили близко друг к другу на переменах, и сторонний, не сильно чувствительный человек не смог бы угадать, что между мной и голубоглазым блондином существует какая-то непонятная связь. Однажды, уже в последние школьные дни, перед выпускным, в очередной раз ощутив спиной враждебный взгляд, я почему-то подумала, что неприязнь существует как бы отдельно от Олега, возможно, даже она родилась раньше, чем мы с ним встретились в школе, он лишь почему-то заполняется ею. «Сколько таких чувств, необъяснимых разумом, управляет людьми!» – записала я тогда в дневнике. Усиливало нелюбовь Олега и превращало ее в скрытую ненависть – как ни парадоксально это прозвучит – отсутствие взаимности: я не чувствовала к нему ни капли ответной нелюбви (почему-то я вообще не умею ненавидеть), лишь иногда, вспомнив из-за холода между лопатками о непонятном его отношении ко мне, оглядывалась и проводила по его лицу удивленным взглядом или в те минуты, когда младенческие пузыри пробуждали во мне жалость, могла мельком подумать о нем даже сочувственно. Но превратило неприязнь Олега в идею-фикс не отсутствие ответной нелюбви – непоборимая мощь власти чувства, привязывающего его ко мне, исходила из другого источника. Это я поняла много позже, уже окончив институт, потом второй, выйдя замуж, разведясь... И не желая встречать никого из одноклассников даже в сетевом пространстве.

* * *

Рассказал одинокий маленький священник толмачу Актамакову о своем отце истинную правду. Но не всю. Возможно, старик и сам недоговаривал, стыдясь признаться сыну, что, получив сквозную рану ладоней, не простил тут же подговоренных князцами остяков, не сокрыл происшедшее, а, всею душой вознегодовав, возвернувшись в Тобольск, малодушно донес самому князю Гагарину, чьи лошади, как поговаривали, звенели серебряными подковами, о нападении на судно схимонаха Феодора, что было властью названо бунтом, а посему воспротивившиеся крещению остяцкие князцы арестованы и отправлены в Березов. Примирился отец Иоанн с князцами по увещанию самого схимонаха Феодора, пришел после долгого разговора с ним к Гагарину и челом бил, чтобы остяков отпустили. И верно – вскоре их освободили. А вот простить сердцем князца, в него стрелявшего, так старик и не смог: не потому ли, хоть дыры-то от стрелы давно стянулись, и дикий свист, сквозь них прошедший, умчался, сами пальцы правой руки согнулись, точно собрались в каменное троеперстие, навек застывшее?.. Хотел он уже отойти на покой, прося митрополита освободить его по немощи членов от дальних поездок по юртам, но как-то проснувшись

ночью, вдруг да и воспринял застывшую в троеперстие длань как Божий знак: мол, до скончания дней своих крестить тебе народ сибирский во искупление того, что до сих пор сих детей тундры не сумел сердцем простить, и остался отец Иоанн служить, приспособившись все делать левой рукой, а правую когда прятать, когда у груди держать. Но, к счастью, отца Иоанна как заказчика из Тобольска в дальние юрты больше не призывали. Схимонах Феодор ушел в монастырь, люди сказывали, помер там от голода, ибо за правдивое суровое слово не любили его ни лживые суды тобольские, ни большой властью облаченные его недруги: назначенную самим Петром годовую пенсию в 200 рублей не выплачивали, хлеба ему не отправляли, заморили старого иеромонаха. А помощник его, отец Иоанн, крестил ныне остяков с татарами, торгующих в Тобольске, и даже двух пленных шведов сподобился, одного из коих потом владыка Антоний в диаконы определил, а другой, с царским имечком Карл, по Березовскому заказу служил теперь надзирателем над новокрещеными, остяками и самоедами.

Оставшаяся без матери внучка подросла: стала во всем помогать бабушке-попадье. Троеперстие дедово она однажды ласково назвала птичкой.

– Ох, уж и выдумщица ты, Стешенька, – улыбнулся отец Иоанн. – От раны остяцкой скорбная длань в троеперстие собралась.

– Птичка Сириин, дедушка... Мне Петруша-пономарь картинку в большой твоей книге показывал, на колени сажал и яблоком угощал. Ласковый он. Обещал после показать что-то еще занятнее.

Ах ты бес-искуситель! Старик побледнел, но ни слова не промолвил. Подозрительно все сие. Не жди добра от сына врага. И следующим утром был уже у архиепископа. Долго тот не принимал, важными делами, видно, озабоченный, лишь к вечеру принял и все выслушал. Не утаил Иоанн от него ни вражду пономарскую, ни отца его, Иоакима, давнюю ненависть, о причинах, правда, говорить не стал: любовь и ревность – чувства сложные, неподсудные, мало ли как отнесется к сей причине архиерей, мог ведь и сам когда-то в юности дальней до монашеского пострига быть отвергнутым девицей, и слезно просил, чтобы другого пономаря вместо Петра ему прислали ввиду несхожести нравов, препятствующих доброму пастырскому служению. А Петрушку пристроить бы куда-нибудь писарем. Грамотой он владеет, хоть и к церковному смирению не склонен. Владыка обещал. В конце беседы подвел он отца Иоанна к окну, погляди, сказал, на небо: то не тучи, а черные стрелы летят сплошным потоком. Вот она, вражда людская. А я мысленной молитвой и любовью к земле сей трудной, мне доверенной для просвещения, тучи разведу, следи! И точно – скоро открылся, словно синее око самого Господа, в небе просвет. Так велика сила веры, отец Иоанн, все в руках Божиих. А ты любовью ненависть пономаря укротить не можешь. Стыд.

* * *

Олег позвонил мне сам.

К тому времени я уже достаточно часто ныряла в прошлое, подчиняясь голосам давно ушедших, желающих нового воплощения – воплощения в слове. Желали далеко не все. Лишь те, чья коллизия жизни оказалась как бы незавершенной. Незавершенность могла быть разного рода: невинно пострадавший горный кандидат умер, не узнав

об оправдательном решении суда, следственное дело так бы и пылилось на дне провинциального хранилища, если бы он сам, вызволенный из небытия моей памятью, не попросил найти ветхие страницы в архиве, и, разобрав чужие почерка, очистить честное его имя от налипшей клеветы. Шляхтич-повстанец, отправленный в 1863 году на Нерчинскую каторгу, возжаждав отыскать исток своей внезапной сильнейшей любви к Сибири, любви даже там, за чертой небытия, до сих пор изумляющей его самого, просил вернуть его хоть на несколько дней в то давнее село, где он после каторги жил на поселении и где прислуживала ему добрая старая бурятка. Рассказать о никому неизвестном героическом поступке сельского священника, не оставившего своей церкви в страшные дни Красного террора, просила из небытия его дочь, и – не ради стремления сделать тихого иерея знаменитым, а подчиняясь совсем иной цели – какой – постепенно стало проясняться, когда из небытия бочком, запинаясь порой о слишком длинную рясу, вышел мелкими шажками еще один скромный священник – отец Никифор, потянув за собой нить длиной почти в три века, на которой горели разных лет узелки, – их мне предстояло (или доверено было?) развязать. Именно тогда в моей памяти возник вполне живой и теперь не сильно молодой одноклассник, чья нелюбовь ко мне была для меня, школьницы, загадкой, но сейчас, я поняла это внезапно, словно уловив чью-то направляющую подсказку, могла стать ключом к чему-то гораздо более важному, чем непонятная неприязнь одного человека к другому.

И в 1728 год я попала не по своей воле.

* * *

Перечитав свою фразу «К тому времени я уже достаточно часто ныряла в прошлое» и найдя глагол в ней верным, но описание сути самого погружения – недостаточным, поняла: чтобы показать все более точно, сначала нужно упомянуть одну рукопись, которая не была издана при жизни автора, советского академика Золотова, но есть в Сети и, разумеется, отнесена скептиками-ортодоксами к лженауке. Телепатия, утверждал ученый, *«это область бесконечного, в которой наше сознание может соприкоснуться с бесконечным множеством точек»*; в одной из глав он рассказывал о своих опытах по телепатической связи с мертвыми. Представляю, как, читая, одинаково негодуют ортодоксы: что верующие, что атеисты. Атеисты не сильно меня беспокоят, поскольку их материализм подобен убеждению человека, находящегося в доме и уверенного, что за пределами стен ничего нет, а вот чувства верующих обижать не хочется. Поэтому я напомним о двух фактах из жизни православных иерархов, один из которых, Филарет Московский, прославленный в лике святых в святительском чине, второй – архиепископ Евгений (в миру Андрей Евфимович Казанцев), по своему желанию поехавший в Тобольск и возглавлявший Тобольскую и Сибирскую епархию в первой половине XIX века. Прошение псковского архиепископа Евгения о переводе в далекую Сибирь вызвано было тремя сновидениями, в которых сначала его мать и отец – мы не знаем, были они на тот момент живы или уже нет, – и духовный учитель архиепископа митрополит Платон (Левшин), ушедший за несколько лет до своего явления во сне, *«настойчиво указывали ему о необходимости просить перемещения в другую епархию, а митропо-*

лит Платон указал именно *Тобольскую*». Это я процитировала статью Википедии. В других источниках находим подобные примеры из жизни святителя Филарета. Как-то владыке приснился покойный отец и предупредил: «*Береги 19 число*» и митрополит Московский, академик Отделения русской словесности, «*19 число каждого месяца проводил особенно благоговейно, старался в этот день непременно служить литургию*». Скончался святитель Филарет 19 ноября по старому стилю. Известна и другая история про митрополита: «*Один священник с особенным усердием поминал за литургией покойников, так что, если кто раз подавал ему записку о поминовении, он выписывал имена усопших в свой синодик и, не говоря о том подавшем, поминал всю жизнь. При соблюдении такого правила у него составилась синодик с таким многотысячным перечнем имен, что пришлось ему разделить его на отделы и помянуть по очереди*».

Случилось, что он впал в какую-то погрешность, так что ему угрожалo устранение от прихода. Дело было передано Московскому митрополиту Филарету, и когда преосвященный уже собирался положить резолюцию об устранении его, вдруг почувствовал какую-то тяжесть в руке. Митрополит отложил подпись журнала до следующего дня. Ночью он видит сон: перед окнами собралась толпа народа разного звания и возраста. Толпа о чем-то громко толкует и обращается к какою-то просьбою к митрополиту.

– Что вам нужно от меня, – спрашивает архипастырь, – и что вы за просители?

– Мы отшедшие души и явились к тебе с просьбой: оставь нам священника и не отстраняй его от прихода.

Впечатление этого сновидения так было велико, что Филарет не мог отделаться от него по пробуждении и велел позвать к себе осужденного священника. Когда тот явился, митрополит спросил его:

– Какие ты имеешь за собою добрые дела? Открой мне.

– Никаких, владыко, – отвечал священник, – достоин наказания.

– Поминаешь ли ты усопших? – спросил его митрополит.

– Как же, владыко, у меня правило: кто подаст раз записку, я уж постоянно на проскомидии вынимаю частички о них, так что прихожане ропщут, что у меня проскомидия длиннее литургии, но я уж иначе не могу.

Преосвященный ограничился переводом священника в другой приход, объяснив ему, кто был ходатаем за него». («Странник», 1862 г.)

Конечно, ни сон архиепископа Евгения, ни оба сна святителя Филарета не доказывают телепатической связи с ушедшими: первый явлен для человека верующего как Божий промысел, ответ на сердечную жажду миссионерского подвижничества, душевного знания своей трудной миссии, но нельзя отвергнуть и вероятность предощущения нежелательных, а возможно, даже трагических случайностей, грозящих жизни архиепископа, останься он во Пскове. Сон о дате кончины святителя Филарета был пророческим предвиденьем, которым обладал благочестивый старец, а другое сновидение митрополита должно воспринять, в зависимости от веры, либо как проявление заступничества самого Господа, либо как следствие благочестивого сострадания, свойственного владыке даже во сне, облеченного в сновидный образ толпы ушедших. Доказывают эти факты только то, что архипастыри Православной церкви считали вполне возможным последовать совету, пришедшему из потустороннего мира.

* * *

Совсем темно в тундре, на небе ни павлинова сияния, ни Луны, ни звезд, только крохотная одна звездочка моргает над крышей, ресницы свои опускает, точно молодая попадья-покойница, то ли сон, то ли явь, обнимает нежно она, что-то шепчет ласково, слов совсем не разобрать, вроде зовет за собой, и так на душе у отца Никифора стало тепло, с этим неясно откуда, может, и с того света, пришедшим родным теплом и проснулся...

И, встав, ощутил внезапную тревогу, ступив на холод половиц, поскорее в унты спрятал худые ноги, подошел к окошку: оно совсем заросло ледяной травой, но он и так знает: темно-темно в тундре, метет, метет, метет, мелкий снег закрывает небо: не видать на нем ни сияния, ни луны, ни звезд. И, вспомнив о непроглядной ночи, даже в уютных унтах и стеганом халате сразу замерз отец Никифор. Ох-ох-ох, одно остается зажечь стоящую на столе свечу да прочитать молитву «Отче наш». Что это я, как старик, подумалось: совсем от одиночества одряхлел чувствами, то ли ветры обские сквозь тело дуют, кости мои обвивая, мышцы суша. В Тобольск бы съездить, у материнской груди погреться, да на кого избушку со крестом на крыше оставить? Давно батюшку не видел, да еще письмо от матушки пришло с дурными вестями: Иоаким скончался, а перед тем сын его лампадное масло вылил, жалобу митрополиту написал, будто старик-отец привечает казака-католика Твардовского, но определило церковное начальство парамонаря не в писари, как просил отец Иоанн архиерея, а в далекое сургутское село дьячком по недостатку в северном краю причта, матушка пишет: отец Иоанн винит себя в смерти Иоакима, мол, просил Господа оградить от ненависти его и отроковых издевательств любыми средствами, вот Бог ревнивца и прибрал.

Ворота скрипнули. Господи. Кого несет нечистый? А может, ветер? По скрипу слышу – открывают. Спаси господи, не разбойник ли? И не знаешь, кого здесь больше бояться: то ли мстительных местных охотников, коих обложили со всех сторон, выжимая из них пушные дары за копейку, то ли беглых своих же русских.

В дверь стукнули.

– Ко здесь?

– Отец Никифор, Новицкий я.

– Ах, батюшки, заходи, пошто здесь оказался?

Окончил когда-то Новицкий Киевскую академию и, получив чин казачьего полковника, стал резидентом Мазепы при великом коронном гетмане Сенявском, но вскоре попал в плен и, отправленный в Сибирь, сразу написал русскому царю покаянное письмо. И после охотно участвовал в миссионерских экспедициях схимонаха Феодора, оттого с отцом Иоанном Новицкий близко знаком, даже почти дружен и всю его семью знает.

Сейчас бывший полковник был страшно бледен, не сел, упал на деревянный табурет, заплывавший под ним, точно в падучей.

– С евангельской проповедью к обдорским осяткам ездили мы с игуменом Симеоном, накиннулись они на него и на меня, аки дикие звери. Убить хотели. Они и крещеным осяткам мстят жестоко. Бежали мы постыдно, по дороге с ним разминулись: мои собаки в одну сторону, его – в другую понесли...

И тут раздался грохот: это нагнавшие Новицкого обдорские осятки срывали с петель ворота.

* * *

Мне стало страшно. И я закрылась от прошлого, в которое научилась входить с помощью случайно мной обнаруженного канала – канала эмпатического «подключения» к чувствам и состояниям тех, кто хотел бы нового воплощения в словесном пространстве, не имеющем временных ограничений. Мои прошлые объяснения все-таки не совсем верны. Голоса ушедших не звучат, просто внезапно высвечивается в моем сознании кто-то из далекого или не очень далекого прошлого, мне открываются его мысли, я начинаю чувствовать его чувства, самое сильное и не изжитое из которых и заставляет его искать помощи. И я вижу, словно на экране, эпизоды из его жизни. С мертвым такой контакт невозможен. Телепатическая и эмпатическая связь возникает не с мертвым человеком, а с *живым*. Он жив не здесь, а там, в другом времени, где бесконечно мучительно повторяется то, что ему не удалось завершить, приносит страдания то, что ему не удалось понять или узнать, не проходят его боль и страх. И там, в прошлом, он молит о *завершении и освобождении*. И я лишь одна из тех, кому это почему-то доверено – помогать.

* * *

Была несомненная, хотя и не сразу уловимая завязь символической связи в том, что звонок Олега совпал с моим знакомством с художником Б: Олег увидел нас, идущих по улице из картинной галереи, и позвонил вечером того же дня. Я только что получила, в придачу к первому диплому, именованному меня преподавателем истории, второй, удостоверявший, что теперь я имею полное право называться искусствоведом, и как раз о персональной выставке Б собиралась написать для какого-нибудь сайта. По матери живописец имел редкую национальность – манси, о чем мне охотно сообщил, объясняя некоторые фольклорные мотивы своих работ, придававшие довольно примитивному их стилю одновременно экспрессию и экзотичность. Даже его некрасивую наружность материнские гены делали привлекательной: длинноволосый и кривоногий, он походил на шамана, что на многих действовало магически: когда-то на лекциях американского профессора Стэнли Криппнера, специалиста по шаманизму, люди стояли вдоль стен, так сильна была поднимающаяся волна интереса к тому, что существовало долгие годы в тени. При первой встрече Б вызвал у меня чувство, что я уже знала его раньше, что, впрочем, вскоре легко объяснилось не мистически, а обычной памятью: я вспомнила, что видела фото Б на сайте сетевого журнала «Живопись. Авангард».

Как ни странно, ни звонку Олега, ни тому, что он почему-то знает мой номер, я совершенно не удивилась, испытав, едва он себя назвал, не удивление, а непонятное чувство холодящей тревоги, будто откуда-то, из глубины тьмы, стоящей за моей спиной, за мной стали следить чьи-то узкие черные глаза.

Он пригласил меня куда-нибудь съездить на его BMW: пока некоторые мои ровесники неслись по склону жизни с рискованной беспечностью неумелых горнолыжников, обретая у подножия лишь сломанные лыжи и травмы, порой смертельные – в середине 90-х погиб, спившись за полгода, чернобровый красавец, моя первая любовь, – Олег благополучно получил высшее техническое образование, защитил диссертацию и основал свое ИП.

– С тобой мужик был, – сказал он как-то сразу весьма фамильярно, – он тебе кто?

– Знакомый художник.

– Все художники асоциалы. Вредная для общества богема.

Впервые мы говорили с Олегом, и, в принципе, сразу стало понятно, что мы с ним люди из разных ментальных пространств, даже его школьная нелюбовь ко мне вполне могла этим и объясняться – формирующийся в нем благопристойный основательный обыватель чуял во мне чужака: именно я стала издавать в классе литературный журнал и совмещала в нем сразу две «должности»: главного редактора и художника. В обществе тогда уже витала мечта о богатстве, и одна из одноклассниц, номенклатурная мечтательная девочка, сочинявшая стихи про византийского императора и розовые облака, предложила назвать журнал «Эльдорадо», что оставшиеся после уроков одноклассники и утвердили не культурным голосованием, а веселыми одобрительным криками. Правда, проявили интерес к журналу далеко не все: с насмешкой отвергла идею литературного журнала секс-символ класса, имевшая репутацию самой глупой и недалекой девицы школы, – наш талантливый историк даже советовал ей бросить пытки непосильной учебой и сразу идти торговать пирожками у ЦУМа, – она демонстративно увела за собой нескольких примагниченных парней. Между прочим, пятью годами раньше только она одна из всего класса попала в Артек, в который, как пафосно заверяли некоторые педагоги, отправляли самых лучших. Одноклассница поехала туда «по благу» (тогда был еще в ходу именно такой способ получения всевозможных благ), просто ее статусный родитель «достал путевку», весьма подточив у меня идею справедливости, о которой твердила на уроках моя любимая учительница литературы. Через несколько лет прогнившие советские колонны рухнули, задавив многих, в том числе и ловкого папашу артековки, быстро нашедшей ему замену. Рассказал мне о ее личной жизни наш учитель истории, теперь немолодой усталый человек, директор частного гуманитарного лицея: однажды мы летели с ним одним рейсом. Представь мой шок, сказал он, когда я случайно обнаружил ее на сайте медицинского университета, ректор, разумеется, ее супруг, известный профессор-кардиолог, писавший диссертации по доброте душевной за своих любовниц: племянница моей жены училась вместе с одной из них, и та не скрывала от приятельниц источника кандидатской степени, даже гордилась своей женской успешностью. За нашу секс-диву профессор сочинил не одну диссертацию, а две. Все-таки жена.

Книга жизни, даже упрощенная до компьютерной игры, не утрачивает главного – требующего освоения неких законов и правил стремления к переходу с одного уровня понимания на другой, и судьба одноклассницы, приоткрыв прячущийся в тени вход под своды законов и правил общественных, сыграла в моей книге жизни витально важную роль, вызвав отвлечение к «животному двигателю» общественного бытия и обнажив *ложь социальной жизни вообще*. Я неосознанно превратила одноклассницу в лакмусовую бумажку: даже однажды из чистого любопытства, после ее возвращения из Артека, зашла за ней по пути в школу. Стоя в прихожей, я с интересом наблюдала, как семья: отец, мать и дочь – обильно насыщают свои желудки (меня они к столу, разумеется, не позвали): немолодая дородная женщина со вздернутым покрасневшим хоботком обнаруживала ту же манящую игривую смазливость, что расцветала у дочери, только уже затонувшую в лосня-

щейся телесной обширности, пожилой отец, тоже с хоботком, более длинным и острым, чем у супруги, прихрюкивал и причмокивал, обгладывая толстую птичью ногу, на щеках разругавшейся от еды дочери поблескивали жизнерадостные пятна животного жира... Сразу после встречи с нашим историком судьба дала мне возможность увидеть еще один штрих, довершивший картину обильного давнего завтрака: главным бухгалтером в университете, где я в то время преподавала, работала младшая сестра профессора-кардиолога – во время обеда пухлая финансовая чиновница доставала из сумки не меньше пяти больших банок с едой и сладострастно поглощала все содержимое, не оставляя ни крошки: там были мясные салаты, огромные котлеты, заправленные соусами гарниры, пышные сладости... Но особо часто она извлекала из банки упитанные птичьи ноги и обгладывала их, подрагивая изящным хоботком, уже почти запрятанным в слоистые сугробы розово-сахарных щек... Воистину: на обыденных уровнях бытия подобное притягивается подобным.

– Завтра вечером, в семь, буду у твоего подъезда, – сказал Олег.

* * *

Ипат Актамаков побыл в Тобольске хорошо: сбыв пушнину богатым татарам и казакам, он вез теперь домой муку, соль, сахар, рубахи и даже медные пуговицы в подарок жене, но больше для обмена с соплеменниками, – большая радость для их жен, любивших нанизанными на рыбную нить пуговицами украшать свою грудь, – надеялся он выменять блестящие кругляшки на пару оленей. Еще не стаял снег, лишь кое-где обнажил землю с холодными бельмами льда. Собаки бежали споро, веселый возница то насвистывал, то напевал, то предавался хитрым приятным размышлениям о своем нынешнем достатке. О сородичах Актамаков был мнения самого невысокого. Порой и стыдился грязной их юрты, нищей одежды и дикости нравов. Кроме как звероловства, рыбной ловли и сбора пуха, и занятий-то у них не было. Русские, подчинившие племена остяков и вогулов, да и магометане, претендующие на потомственную сибирскую власть, нравились ему больше: казаки здесь и даже крестьяне русские одеваются чисто, ведут себя степенно, почти все грамоте обучены, правда, бывают казаки, что жадны больно, даже своего православного Бога не боятся, разрывают могилы инородческих князьков и забирают оттуда серебро. Но кара тадыма-шамана вскоре их настигает: дети осквернителей умирают малых годков, сами они болеют или от инородцев гибнут, бывает, что расправляются с татем самоеды, веру чужую не принявшие. Магометане тоже русских не сильно любят, в Тобольске порой церковные службы срывают, но выгоды ради торговые дела ведут со всеми. Ипат думал даже сначала их веру восточную принять, но поселившейся среди крещеных остяков отец Никифор больно ему понравился: светлый такой, точно полярное солнце, на слово ласковый, на угощение щедрый. Вокруг его избы-церкви шесть деревянных изб остяцких: окрещенные им семьи даже юрт деревянных себе не стали строить, по-русски в домах живут, – и все они любят отца Никифора больше своего Обского Старика, до сих пор тайно помогающего им рыбу ловить. Родителей отца Никифора Ипат в Тобольске повидал: поп Иоанн стар, согнут, как стружка, бабушка-попадья добрая, потчевала Ипата всем, что имела, дочурка Никифорова Стеша славная, улыбчивая... Но свое крещение и свое

имя новое Ипат от шамана и даже от своей семьи скрывает тщательно. Осторожен остяк-толмач Актамаков. Двойною жизнью живет. Оттого и заезжает к отцу Никифору лишь под покровом ночи. Дорога побежала мимо замерзшей реки Полууй, вот и поворот к остяцкой деревне, сейчас в темноте должен сверкнуть обледенелым крестом самый крайний священнический дом. Вдруг и точно что-то в снегу сверкнуло, а затем сразу все небо вспыхнуло: это зеленое полярное сияние взошло на тундрой и осветило окрестности. Собаки по окрику Ипата встали. Черное пепелище предстало взору потрясенного остяка: не было ни одной уцелевшей избы, леденели на дороге изуродованные и оскверненные трупы. Ипат спешился и, подойдя к обугленному столбу, оставшемуся от ворот избышки-церкви отца Никифора, заплакал. К столбу пристыла пощенная собака с поднятой вверх передней лапой.

Пазори погасли.

* * *

– Наружность у него какая-то странная, – сказал Олег. – Дикая.

Мы ехали по шоссе к лесопарку. Машину он вел хорошо, и мелькающие близгородские пейзажи, чуть раскрашенные приближающейся, еще не наступившей осенью, настраивали бы меня, любительницу автомобильных дорог, на медитативный лад, если бы не тяжелила общине ощущаемая мной неприязнь Олега: за прошедшие годы она никуда не исчезла и сейчас вызывала у меня неприятное холодящее напряжение.

– Он наполовину манси.

Мы снова говорили о художнике Б.

– Манси?

– Когда-то их называли вогулами.

– Вогулами? – Олег, переспросив, довольно долго молчал: его школьная манера творить паузы, точно вопрос и ответ были разведены по разным словесным берегам, у него осталась. Мы подъехали к лесопарку, припарковались, и, оставив машину на стоянке, вошли в ворота. – Дед мой рассказывал, кто-то из моих предков учил вогулов и каких-то... забыл.

– Остяков, наверное. Ханты по-современному. Или самоедов, это ненцы.

– ...а может, лечил. Не помню. Дед умер, некого теперь спросить.

В моем сознании вмиг все соединилось: вогулы, остяки, его фамилия, постоянно мелькавшая рядом с фамилией моих собственных предков по одной линии во множестве документов XVIII века и XIX, которые я видела и читала, еще работая в университете, и его давняя неприязнь, улавливаемая мной даже сейчас и вызывающая душевное напряжение. Как странно, что я ни разу не вспомнила ни Олега, ни его фамилию, изучая в архиве исторические свидетельства о северном крае. С 1700-х годов по тобольским мостовым, по снегам березовским и сургутским, по тундре вечномерзлой пунктиром проходила, иногда на десятилетия теряясь и вновь возникая, родовая линия отца Иоанна, тобольского заказчика: его внук, сын убитого обдорскими остяками священника Никифора, сам стал миссионером, многие его потомки, как близкие, так и отдаленные, – ступали с крестом в руке по тем же следам...

– Ты сам-то понимаешь, почему меня ненавидел в школе? – спросила я. Мой неожиданный вопрос и его ответ, соединившись, оказались

как бы половинами двух совершенно разных мостов, возведенных в разные эпохи.

– Думаешь, ты была в классе звездой?

Мы немного побродили по лесопарку и поехали в город. Читатель, обожающий триллеры и ждавший чего-то острого, конечно, разочарован: ничего подобного не произошло. Зачем Олег вообще затеял прогулку с женщиной, которую еще с детской поры не любил? Не пробуждалась ли у него робкая тяга к творчеству, свободный импульс которого он угадывал во мне, школьнице, тяга, превратившаяся затем в неприязненное любопытство к представителям среды, осуждаемой в его родительской семье, через чей запрет он, будучи «хорошим сыном», переступить не смог? Такое средовое неприятие показал еще Томас Манн – и как причина оно представлялось мне вполне убедительным. Однако чуть позже мое боковое зрение вновь поймало быстрый взгляд нацеленных в меня черных зрачков. И я честно призналась себе: если такое объяснение неприязни Олега ко мне и верно, оно отражает лишь озерную рябь, бегущую от налетевшего ветра, а совсем не то постоянное течение, что холодит темную глубину. А хотелось бы «дойти до самой сути»... Мне вспоминались слова моей бабушки, записанные в синий блокнот: *«Люди не понимают символики жизни, сетуют на несправедливость, что срок жизни человека определен максимум веком (чело – век), а дерево, к примеру, тисс, способно прожить и 4000 лет. А ведь суть в том, что человек только воображает себя отдельным существом, будучи лишь частью своего рода, срок жизни которого так же долгов, как жизнь деревьев, именно потому род и называется деревом, чья ветвь – семья, чей листок – человек».*

– А если листок оторвался от ветки родимой?

Родовое древо отца моей бабушки Ю, не ответившей из небытия на вопрос о *листке*, возросло от мальчишки-сироты, о котором поведал толмачу Ипату Актамакову маленький сутулый священник отец Никифор. И, едва я снова, теперь еще более внимательно, стала изучать сохранившиеся исторические свидетельства, выяснилось: именно с линией отца Иоанна на протяжении долгих-долгих лет переплеталась линия предков Олега: их главным делом тоже было миссионерское священничество, весь XVIII и весь XIX век они крестили представителей коренных сибирских народов, а также окормляли новокрещеных и живущих на Обско-Енисейском Севере русских. И, конечно, они учили грамоте остяков (ханты), вогулов (манси) и самоедов (ненцы) и лечили их, ведь лекарей в том краю до второй половины XIX века, можно сказать, не было, потому вся надежда болящих была на шаманов да на священников...

Ни о какой связи двух родов Олегу пока я не говорила, но теперь уже не только чувствовала, но была почти уверена: его непонятная нелюбовь ко мне действительно существовала задолго до его рождения и до моего появления на свет, скорее всего, переданная ему, как голубой цвет глаз, – по наследству. Оставалось или понять: кем, когда и почему неприязнь была вложена в его генетическую программу, или... Или признать эту гипотезу собственным вымыслом.

* * *

Заманчивее всего было посчитать причиной давнего негативно-го чувства зафиксированные документами три конфликта (это уже XIX век): один – между священником, носившим ту же фамилию, что

и Олег, и диаконом-учителем миссионерской школы, потомком отца Никифора. Фамилии я называть не стану, обозначив один род как В (предки Олега) и второй как С (мои) – потомки живы, а я поняла: чтобы любить предков, желательно как можно меньше общаться с их ныне здравствующими потомками, живущими только здесь и сейчас. Другая распря, вызвавшая печальное осуждение проверяющего церковные дела, обнаружилась между священником С и его дьячком В. И третий случай – скорее даже не конфликт или ссора, а всего лишь сохранившееся на письме выражение уже имевшихся не очень добрых отношений благочинных Тобольской епархии В и С, несомненно, хорошо знакомых. Начну с него. Вот рапорт благочинного В. Епархиальному начальству:

«Я просил своим отношением с приложением копии с указа консистории о выборе депутата на общепархиальный съезд и список священнослужителей церквей г. Тобольска благочинного С собрать ближайшие к нему причты, где он сочтет удобным, а от отдаленных, которые не могут по причине отдаленности быть лично на съезде, отобрать письменные заявления о том, кого они желают иметь депутатом, и на избранное лицо составить акт, утвердить его подписями, так как там большинство голосов, и послать ко мне для подписи остальных четырех причтов моего десятка, однако, и мое трехкратное напоминание благочинному С результата не возымело, предписание Ваше осталось без исполнения, а мое трехкратное напоминание без ответа».

Понятно, что выполнить предписание в условиях огромных расстояний и разбросанности остяцко-вогульских юрт и самоедских чумов было невероятно сложно, но ведь благочинный С нередко сам ездил по улусам, о чем сообщал в отчетах: *«В дороге находились более суток, несмотря на то, что делали только один отдых среди болота, чтобы накормить оленей, и в юрту прибыли ночью на 21 декабря. Я велел приготовить в более чистой половине юрты место, чтобы совершить таинство крещения над 6-ти месячным младенцем...»*

Равнодушно игнорирование благочинным С трех писем благочинного В не могло не вызвать у последнего закономерной, возможно, сильнейшей обиды. Как отражается на потомках обида их предков? Если тяжелый стресс матери может привести к экспрессии генов ее будущего ребенка, что уже доказано, нет никаких препятствий к предположению, что и застрявшая в душе обида или ссора, вызвавшая мощный эмоциональный всплеск, способны отразиться на рисунке судьбы потомков.

* * *

Более похоже на межцерковную ссору, разгоревшуюся по неясной причине, не сохраненной документами, но, судя по ним же, долго тлевшую, эпизод, обнаруженный мной на другом витке общей истории С и В.

Действующие лица: *священник С, который после Тобольской духовной семинарии: «Хорошо знает Пространный катехизис, читает, пишет и поет хорошо. Поведения очень хорошего».*

(Все С играли на многих музыкальных инструментах и пели. Видимо, так силен был завезенный в начале XVIII века из Киева певческий ген!)

«Псаломщик В по окончании высшего отделения Тобольского духовного училища по прошению отца определен на место псаломщика...»

Вот небольшой отрывок из совместного подробного рапорта С и В церковному начальству:

«...остяки обучались псаломщиком в храме кратким молитвам, но за совершенным непониманием инородцами русского языка не преуспели в этом. А потому священником было решено вести дело на родном языке остяков, и результат оказался много действеннее. Остяки ныне учатся с желанием и без ропота. В селе для детей остяцких открыта школа, они приучаются к церковному пению на клиросе под руководством их учительницы. Как приятно лицезреть родителям, когда их малютки участвуют в отправлении общественного богослужения. Общее пение в церкви за малочисленностью русского населения редко, но за Акафистом ученицы и ученики школы поют: “Богородице прилежно”, “Достойно есть”, “Вбранной воеводе”, “Радуйся невесто”, “Аллилуйя”».

Еще – из того же рапорта: *«О беличьих шкурах, что приносились в церковь в былое время, и говорить не стоит. Ныне остяк если и приносит беличью шкуру, то единственно для того, чтобы в церкви встретить купца и сбыть ему товар с выгодой для себя, а вовсе не принести пользу церкви, – а научили остяков этому въезжающие торговцы. Искренно желательно, наконец, чтобы отношения к остякам создавались торгово-промышленниками не в духе безжалостной эксплуатации, а виделись в нравственном убеждении христианского достоинства человека. А мы наблюдаем упадок нравственности остяков; сожительство в родстве, жизнь безбрачная, женитьба на малолетних девочках, непочтение к старым родителям – явления между ними обыкновенные.*

Священник С Псаломщик В»

Казалось бы, полное единодушие. Однако через несколько месяцев все меняется, и уже один В пишет Тобольскому епископу о своем бедственном положении: *«имея семерых детей и скудное содержание, лишен я возможности получить в кредит хлеб и от инородной управы, и от русских торговцев, дети мои младшие по семейной бедности не имеют возможности обучения, а священник С обижает и несправедливо корит меня, что я к ведению церковных документов отношусь якобы небрежно по малоспособности и лености своей...»*

Вскоре с проверкой церковь посещает благочинный. И вот какой вывод делает он: *«указы, росписи и метрики, опись церковного имущества и памятная книга, приходо-расходные книги ведутся под началом священника С исправно, росписи за прежние годы значатся с 1857 г. Утварь, ризница, библиотека в отличном порядке. Дела архивные за прежние годы по настоящий содержатся надлежащим образом, приходо-расходные книги ведутся своевременно и отчетливо, наличные суммы, значащиеся по книгам, хотя и незначительные, состоят налицо, во всех прочих отношениях нашел я в состоянии похвальном: порядок, опрятность и исправность.*

Но крайне враждебные отношения между священником С и его помощником псаломщиком В омрачили сердце мое, известный мне из Прощения псаломщика В отзыв о нем священника С не совсем справедлив: не леностью и малоспособностью, а исключительно болезненностью, нищетой и обремененностью детьми объясняются отмеченные С недостатки В, он вдов, бедственное положение его таково, что у него недостает средств на обучение своих младших детей».

Благочинный дает указание *«выдать В. немного денег из церковных сумм в счет будущего жалованья, поскольку содержание от казны*

по отдаленности прихода от окружного казначейства и неудобства путей сообщения всегда поступает несвоевременно и причт не может за неимением средств запастись хлебной мукой, продаваемой с пароходов».

История не сохранила свидетельств, стремился ли законопослушный С, любящий во всем порядок и отчетность, хоть как-то своему подчиненному помочь. То, что он не сострадал ближнему, мне очень не понравилось, ведь сама я принадлежу к людям, импульсивно покупающим у замерзших уличных старушек совершенно ненужную мне ерунду. Потому обвешанный семью детьми В вызвал у меня сочувствие.

Вечером мне снова позвонил Олег.

* * *

Надо сказать, что чувствовать некую общую историю с тем человеком, с которым меня сводила судьба, я начала довольно давно. И школьная нелюбовь Олега, показавшаяся мне однажды совершенно от него отдельной, существовавшей еще до моего и до его рождения, была лишь первой ласточкой интереса к угадыванию теней прошлого, чего я, конечно, не понимала тогда. Теней, не только подспудно определяющих для меня отношения, но порой угрожающих повторением опасных ситуаций или, наоборот, помогающих мне в критических обстоятельствах. В иудаизме считается, что вновь рожденный – реинкарнация одного из ушедших родственников, так же думали и сибирские язычники – казалось бы, весьма убедительное объяснение повторяющихся семейно-родовых травм или одинаково счастливых поворотов в судьбах близких родственников, но православие не признает такую возможность или мягко избегает касаться слишком тонкого вопроса...

Связи далекого прошлого, о которых до последнего времени я ничего не знала, нередко определяли ландшафт моей жизни, а иногда буквально, не гипотетически, спасали меня. Расскажу лишь об одном случае. Обращающаяся к врачам только при самых крайних обстоятельствах, я могла бы потерять зрение, если бы резкая боль и невозможность разглядеть четко даже близкие предметы, не заставили меня все-таки вскочить с дивана и побежать в обычную поликлинику к окулисту. Была пятница, прием заканчивался, и медсестра, выйдя, предупредила, что врач скоро уходит. Я оказалась последней, кого офтальмолог все-таки решила принять. И, когда я вошла, пожилая докторша, спросив мою фамилию, воскликнула: «Ба! Так это же внучка Ю!» Назавтра меня смотрела ее подруга Т, старейший преподаватель медвуза, в молодости первая его красавица, а главное, один из лучших в городе окулистов. Ее мама, известный советский этнограф, в юности, в двадцатые годы, была сердечной подругой самой старшей сестры моей бабушки Ю, а после, несмотря на приличную разницу в возрасте, и ее близкой приятельницей: в годы моего детства они не пропускали ни одной театральной премьеры, обмениваясь в фойе легкими приветствиями, правда, весьма прохладными, с еще одной интеллигентной старушкой из прошлого, выпускницей петербургской гимназии и Бестужевских курсов, моей бабушкой по отцу, годившейся мне по возрасту в прабабушки. Зрение мне очень быстро спасли.

Более чем полувековая дружеская связь, вполне прослеживаемая, скрывала за собой не известные ни Т, ни моей бабушке Ю (за несколько месяцев до моей встречи с Т ушедшей) тени прошлых отношений,

караваном плывущие из Тобольска, где в первые годы XX века девочка Наташа, одна из дочерей мелкого городского чиновника и преподавательницы, отпавшей от священнического рода С, училась в Тобольской Мариинской девичьей школе вместе с девочкой Леной, дочерью врача З, родители которого, в 60-х годах XIX века попали в Сибирь, оторвавшись от старинного белорусского местечка и пересадив в новую почву бережно сохраненный во время долгого пути живой побег, выросший на морщинистых корнях еврейского дерева. Окончив Казанский университет, З вернулся в Тобольск, женился на русской девушке, в гены которой вплеталась тонкая вогульская нить, и стал лекарем, любимым остяками, зырянами и русскими жителями Березова и Обдорска, дружески сблизившись с настоятелем Обдорской духовной миссии отцом Иринархом (И.С. Шемановским), привлечшим его и пригласившего с З югорского священника С, вылеченного им от плеврита, к сотрудничеству с Тобольским губернским музеем: наиболее культурные люди давно стали понимать необходимость сохранения этнографических артефактов...

«Любое родовое дерево тоже не вечно, – писала бабушка Ю в синем блокноте, – истратив всю свою энергию, передававшуюся из поколения в поколение, подчиняясь удивительной игре наследования и питаясь новыми соками, оно все-таки уступает место другому, чей побег взойдет из его корней, вобрав в себя смысл существования, родовую задачу дерева, обреченного стать прахом. Когда множество поколений, каждое на новом витке, задачу выполнит, побеги более не будут нужны, да и не останется на них у дерева сил, оно засохнет, если и выбросив из корней случайный росток, то чахлый и нежизнеспособный. Так после смерти великого режиссера, завершившего свою миссию в искусстве, перестает существовать и его театр».

Дочь З, Елена, после Мариинской Тобольской школы училась в Санкт-Петербурге на естественно-научных курсах Лохвицкой-Скалон, сменила сразу после революции отчество, образовав его от имени деда по матери, стала этнографом и вышла замуж за сына вологодского священника из дворян, интеллигента-зоолога О, в тридцатые годы отправленного в лагерь особого назначения на Соловки и расстрелянного в Ленинграде, на следующий день после о. Павла Флоренского, 8 декабря 1937 года, вместе с другими заключенными Соловков, одним из которых был талантливый художник, первая любовь восемнадцатилетней Ю, моей бабушки...

* * *

– Я нашел записи деда и зачем-то сканировал, – сказал Олег. – Ничего личного. Типа какой-то сказки. Не знаю, что с тетрадкой делать. Может быть, ты прочитаешь?

– Шли.

После продиктованного мной электронного адреса последовала долгая пауза: две половины моста со скрипом двинулись навстречу друг другу. За окном кудрявились облака. Внезапно вспорхнувшая мысль о том, что Олег попытался вызвать у меня интерес к себе записками деда, судя по всему, совершенно ему безразличными, уже почти настроила меня на готовность поскорее забыть про многолетнюю его неприязнь и даже намекнула на приятное предощущение возможной моей к нему симпатии.

Я смотрела в окно. Смартфон, похоже, нужно было срочно менять: он стал нагреваться и, как живой, грел сейчас мою ладонь. Наконец, две половины моста соединились – и он оказался не мостом влюбленных (о, эта вечная женская глупость, выдувающая мыльные пузыри самоиллюзий), а вполне практическим устройством для перевозки грузов и пассажиров.

– Я хотел бы записки опубликовать в историческом журнале, видел в нем твои статьи. Только фамилия моего деда должна стоять обязательно.

Так вот зачем он мне позвонил, встретив с художником Б, ему не я была нужна, а моя предполагаемая возможность помочь с изданием записок деда! Настала эпоха, когда получившие материальное возжаждали духовного, в своей передельной точке – бессмертия, уверенные, что к экзистенциальной проблеме своего запечатления в веках нужно подойти столь же прагматически, как к оптовым поставкам предметов их бизнеса. И Олег, общаясь со мной ради сугубо деловой цели, преодолевал давнюю ненависть, оттого я и ощущала, общаясь с ним, сильнейшее напряжение. По идее правильнее было бы ему отказать, но мое любопытство к историческим свидетельствам, тем более имеющим отношение, пусть и скользящее по касательной, ко мне самой, оказалось сильнее разочарования.

– Не думала, что ты читаешь исторические журналы, – сказала я. – Хорошо, я посмотрю.

* * *

Неприязнь В и С достигает апогея, когда представители двух родов, священник В и диакон С в конце 70-х годов XIX века опять оказываются связанными общей миссионерской деятельностью.

«Ваше Преосвященство, Милостивый Архипастырь Отец, – пишет диакон С, – письмо Настоятеля В, набросив темную и несправедливую на меня личину возмутительных обвинений, возбудило много толков, не пощадив не только меня, но и выказав истинное лицо самого автора письма, на нелепое содержание которого отвечать не согласно с пастырской совестью, ибо письмо основано на вражде и клевете, питаемо властолюбием и самолюбием в буквальном понимании этих слов, а не на высоком Значении имени миссионера – Пастыря миролюбия и любви. Не этот донос, иначе я назвать письмо не могу, собственно, заставил меня осмелиться взяться за перо, а необходимость во имя пастырской Чести указать на причину враждебных отношений О.Настоятеля ко мне, к человеку, которого он ненавидит, ищет только одного, чтобы вывести меня из штата церкви; ибо людей с прямым характером не терпит и от обязанности быть верным справедливому слову уклонился ко лжи. Скорбь, которую я испытываю от его доноса, в тридцать лет сделала меня седым...»

Далее С, как говорится, «переходит на личности», видимо, решая действовать теми же средствами, что и настоятель В (письмо которого найти мне не удалось), чем несколько портит впечатление от патетико-драматической увертюры: *«Будучи приглашенным стать членом общества содействия Русскому Торговому Мореходству, я принимал у себя дома представителя немецкой экспедиции и от него узнал, что Священная Купель нашей Православной церкви, в которую новокрещен погружается для обновления в жизнь новую, сделалась серною ванной: для облегчения ревматизма суставов старшего брата О Настояте-*

ля, для которого если не дороги Священные вещи церкви, то могут ли быть дороги меньшие служители ея? В нашей Святой Православной Кафолической церкви от начала ея существования едва ли был подобного рода хотя один пример, чтобы Священная Купель была медицинскою ванною; не дай Бог, чтобы этот пример стал пищею Западных газет, и дай Бог, чтобы он не послужил нареканием для нашей святой церкви и служителей алтаря.

Справедливости ради скажу, что народ местный благоговейно преклоняется перед О.Настоятелем, самоеды и остяки идут к нему как к ростовщику с оленьими шкурами, малицами, рукавицами, пимами, женскими капорами, халатами, одеялами и всякой всячиной, дабы получить под залог той или другой вещи несколько рублей». (Похоже, диакон С, даже в состоянии сильнейшего волнения, сказавшемся на путаном стиле письма, мной немного выровненного, был не чужд иронии.)

«Миссионерские школы имеют важное значение в деле христианского образования инородческих детей. За преподавание объявлены мне от Тобольских губернаторов официальные благодарности в 1866 и 1876 гг. Все мальчики-остяки и самоеды никогда не обманывались в наружности своего учителя: один Диакон по всем предметам в учебное время ежедневно занимается и трудится в школе и усерднейше, почти постоянно, просит О.Настоятеля обратить внимание на бедственное состояние школы, распределить школу на два отделения, приготовительное и последовательное, выдворить прислугу О. Настоятеля в ближайшую комнату, ни кем не занимаемую, а получал всегда он в ответ одно: “ты мне надоедаешь со своей школой” и к себе всегдашнюю ненависть.

Путешествие, в летние месяцы прошлого года Отца Настоятеля наводит на мысль сомнения, в отчете говорится: предпринимал поездку по течению реки Оби и проехал до 700 верст, тогда как он далеко не доезжал – 400 верст можно отнести к путешествию пера» (Ирония диакона С переходит в тонкий сарказм.)

Не могу не сообщить, что между прочим местными новостями есть одна возмутительно выдающаяся, неблагоприятные толки о которой ведутся повсеместно. Отец Настоятель обращает свой кабинет в уединенное место очарования, запершись в нем с одной остячкой девицей Стешей, угощая ее сладостями и ведя ласковые речи. Нередко до наступления ночи она проводит время в его кабинете, а прислуживавшая Отцу настоятелю монахиня не единожды случайно видела эту деву, будто бы сидящую у Отца Настоятеля на коленях, о чем сообщила не только мне, но и пастве.

Поверю все изложенное, на всемилостивейшее благоусмотрение Вашего Преосвященства, Всемилолюбивейшего Архипастыря и Отца, всеннейший послушник: Действительный член, Православного Миссионерского Общества, Дьякон С»

Что касается прислуживающей монахини, углядевшей на коленях у настоятеля деву, куртуазная сцена, скорее всего, ей только пригрезилась. Священник В мог ей нравиться, и, хотя она, несомненно, боролась с искушением, кривая тень загнанной в подсознание страсти могла упасть и на ее источник.

* * *

Настоятель В писал в оправдательном письме: «в комнате, которая названа кабинетом, двери притворяются от холоду; нет никаких

запоров, кроме замка, который замыкаю только, когда ухожу, нет никаких крючков или задвижек. Всякий входящий входит без доклада свободно. Доносчик пишет, что монахиня видела, как девушка сидела у меня на коленях, здесь явное противоречие, если двери всегда были заперты из-за холоду. Окна высоко на втором этаже, подсмотреть нельзя. Припоминаю, что иногда мои обращения с девушкой по духовной нужде были очень близкие, и в таком случае при входящей в комнату монахине, девушка могла торопливо отпрянуть от меня: что и могло быть истолковано свидетельницей неверно. Девушка заслужила в семействе моего брата настолько хорошее отношение, что ей дозволяли обедать с ними вместе. Ровно и я, если у меня остался чай и лакомства, почему сироту не попотчевать? Я выспрашивал ее о замужестве, о том, есть ли у нее приданое, думая помочь. И, конечно, выспрашивал, хорошо ли знает она молитвы. Автор доноса представляет, что если священник остался наедине с девицей, то это обязательно какие-то очарования, вероятно, по себе заключал. Если были толки, то оные происходили не от монахини, а от самого дьякона. А местные отношение ко мне имеют такое, какое и имели».

Действительно, история с купелью вряд ли бы вызвала в то время особое возмущения даже русских верующих: что было делать страдающему жестокими ревматическими болями, когда лишь она одна позволяла погрузить в нее большое обширное тело полностью, а другие емкости, используемые для поддержания чистоты, были родному брату настоятеля малы? (Судя по Олегу, все В были очень крупные – определяет рост и строение мужчины обычно Y-хромосома.) Да и церковной купелью пользовались не столь часто, много чаще, ради того, чтобы крестить родившегося ребенка, миссионеры сами отправлялись в юрты, нередко – зимой в сорокаградусный мороз, летом оленеводы кочевали, а ехать надо было далеко. Настоятель пожалел брата, поставив обычное сострадание выше священного предмета. Как его за это осудить?

Игумен Иринарх (И.С. Шемановский), честнейший, бескорыстный человек, на свои средства начавший собирать первую библиотеку в Обдорске, упоминал добрым словом в своих записках и обвиняемого диаконом С настоятеля, и еще одного представителя рода В: «Священник В, – отмечал игумен, – горячо любимый и уважаемый за кротость и чисто пастырскую доброту своими прихожанами...» Этот батюшка прослужил в одном селе сорок лет. Сын его, тоже священник, в 20-е годы прошлого века арестован, подвергнут пыткам, погиб.

Православный ревизор духовной консистории о другом пастыре из рода В сообщал: «Священник здешней церкви, по отзыву остяков, кроткий и безукоризненный, за что и снискал расположение своих прихожан, которые, однако, пользуясь его добротой, неоднократно вводили его в обман при браках, за неправильные действия по которым он подвергался законному взысканию».

Возможно, и настоятель В так же ласково обращался с девушкой-остячкой Стешей. И не был ростовщиком, а просто любил пастуемых: давал им в долг не свои, а церковные деньги под залог вещей, в крещении и образовании остяков и самоедов не сильно упорствовал, пуская, так сказать, дело на самотек, чем, наверное, привлек в церковь больше людей, чем особо в крещении усердствующие. Осталось неизвестным, в чем обвинял он диакона С в своем письме, на которое тот, сильно обидевшись, ответил. Но ведь, с другой стороны, искренняя *филофеева* вера диакона С могла быть действительно оскорблена использованием

священной для него купели в качестве серной ванны, и он, судя по его наградам и озабоченности школьными делами, совсем не на словах радел за образование детей юрт и чумов, и нравственные нормы не являлись для него только бумажными предписаниями.

На судьбе В письмо С никак не сказалось, а дьякон С через год был рукоположен в священники, из чего можно сделать вывод, что церковное начальство умно решило: оба навета – несправедливы и явились следствием исключительно взаимной неприязни.

«Мы узнали о горестном явлении – ссорах миссионеров между собою, – писал тот же игумен Иринарх, – они объясняются условиями жизни в одном из самых глухих местечек необъятного нашего Отечества...»

* * *

Дня через три Олег опять позвонил и поинтересовался, понятен ли мне почерк его деда. Я только что закончила читать про угощаемую лакомствами Стешу, вспоминая далекий Тобольск и дочку отца Никифора, и опять удивляясь, с какой изощренной изобретательностью создается судьбой причудливый узор даже малого клочка истории: повторяющиеся имена и фамилии часто вплетены в одинаковые отношения и оказываются на одних и тех же витках социальной спирали. В зеркальном повторении через полтора века девичьего имени, запечатленного в моих генах тревогой отца Иоанна, воображение, жаждущее подтверждения *неслучайности* жизни, угадало одно из доказательств, погасив рациональное сомнение, лишаящее несиюминутного смысла каждую отдельную жизнь.

– Еще не успела посмотреть, извини, – сказала я. – Завтра начну разбирать. Все эти дни читала тобольские епархиальные документы... Там много о твоих предках: они были священниками-миссионерами и священнослужителями, и даже благочинными. Местных жителей крестили, конечно, детей их учили, ты верно говорил. Между прочим, мой тоже по линии отца моей бабушки тем же занимались, в одних храмах с твоими служили, так что мы с тобой знакомы не первый век...

На последнюю часть моей фразы он никак не отреагировал, видимо, восприняв ее как ничего не значащую, не очень удачную шутку. И, помолчав (я уже привыкла, что разводной мост очень медленный), спросил:

– Благочинные – это кто такие? Тоже колонизаторы?

– Церковное начальство: контролировали церкви своей епархии. Только почему ты назвал священников колонизаторами?

– Так пишут на сайтах, – ответил он.

Действительно, я находила в Интернете немало постов и комментариев, выказывающих ненависть к православным миссионерам неоязычников, возвращающих свои капища и совершенно забывших, что именно русское духовенство учило их предков грамоте. Священники переводили не только Священное Писание, но составляли самодельные буквари и разговорники для детишек (первый печатный остяцкий букварь – заслуга обдорского миссионера Егорова), помогали в воспитании, защищали от корысти местных дельцов, а порой и несправедливого суда, с готовностью за взятку отправлявшего на каторгу вместо преступника ничего не способного объяснить невиновного остяка, приучали к элементарной гигиене ради сохранения здоровья, изучали быт и культуру коренных народов, северную природу, вели учет смертей,

браков и рождений... Исследователи Сибири середины XIX века замечали, что сибирское духовенство было образованнее духовенства европейских губерний, священники и диаконы отличались обширными познаниями и состояли в высшем кругу сибирского общества. Однако относилась эта характеристика, конечно, далеко не ко всем: немало было и малообразованных, но сердечно искренних служителей веры, среди них встречались новокрещены, были и священники, наоборот, напрочь лишенные *филофеева* горения, от служения бежавшие, ведь миссионеры обязывались проводить долгое время в разъездах по тундре, месяцами жить вдвоем (священник и причетник) у самого Обского края... Далекое не все выдерживали наводимого тундрой морока, нескончаемых жестоких морозов, а часто и спешащей за ними по снегу и чахлой траве обычной нужды. Бывало, совершив одну поездку с походной церковью, священник отказывался от невыносимо тяжелого для него заказа, сославшись на слабое здоровье. Не выдержал суровых испытаний на реке Таз даже диакон – по национальности самоед...

Неужели подвиг православных миссионеров, рисковавших жизнью, отправляясь с крестом в руке в самые дальние и дикие места, был напрасен? Неужели наши с Олегом предки, жившие тяжело, бывшие обычными людьми, страдавшими порой от вражды и бедности, но упорно верящие в свою высокую миссию, служили химерам? И нелегкий их каждодневный труд сейчас забывчиво стирают одним нажатием пальца – delete, смахивая со своего стола, как засохшие крошки, их самих?

Все они в тревоге вопрошают из небытия – *мы были или не было нас?*

* * *

В тетради оказалась переписанная от руки поэма «Сказание о Тонье». Девушку из рода Тусым-ики, «бородатых людей», живущих на реке Пим, полюбил младший сын Верховного бога – Нум-Торума, небесный царь рода Орла. Он стал отцом ее сына-богатыря Тоньи.

Тонья! Он – потомок рода Орла,
Царя всех птиц,
Проживал на Югане много веков
этот род и счастливо жил.
Люди рождались, олени кормили их.
Но Кучум пожить решил.
Нойоны Кучума напали на них,
Тусым-ики, великий старик,
Нойонов всех победил.
И чудом спасенный,
Народ болотный он спас.
Всю силу и мудрость рода Орла
Тонье он передал.
Вскоре пришли казаки – сборщики ясака.
Тонья встал и с ними сразился
Страха Тонья не знал.
Выпущенная из его лука стрела
столетнюю листовницу пробивала насквозь.
Казачьи стрелы обратно летели,
как птицы, от взмаха его руки.
И когда Тонью хотели убить,

никто не смог Тонью догнать.
Тонья бегал так быстро, что настигал оленя.
Он скрылся среди болот.
Ханты с тех пор называют себя нерым-ях,
болотный народ.
Их великий князь,
Князь болотных людей
Тонья.

После стихотворной части следовал ее гораздо более обстоятельный прозаически пересказ с дополнениями, касавшимися версии смерти Тоньи – его погубила родня Тусым-ики со стороны жены: Тонья мостил головами убитых им казаков дорогу, но двух голов не хватило, и он положил – собачьи, что, родня, видимо, посчитала осквернением подвига. На православный крест, поставленный на месте крещения у реки Таз, самоеды вешали мертвых псов. Диакон-то ненец (самоед) сбежал оттуда недаром... Писал дед Олега и о том, что главный бог крещеных ненцев и хантов, Нум-Торум, слился с Николаем Угодником, к нему они обращаются, прося помощи, и, чтобы задобрить, мажут его рот на иконе кровью оленя.

Представьте мое удивление, когда в конце текста обнаружилось разъяснение, что есть свидетельство о первом варианте сказания, сохраненном в начале XIX века священником С, но этот экземпляр не найден, поскольку, как писал много позднее учитель А. Силин, переложивший легенду о Тонье, записанную им в 1934 году со слов Семена Покачева из поселка Угут, «повествование являлось сакральным, а потому тщательно скрывалось от чужаков» и могло быть уничтоженным. Этот вариант, самый короткий, – слышал В (то есть дед Олега) в детстве от своего деда – диакона Обдорской миссии, которую как раз в то время возглавлял иеромонах Иринарх (Яхонтов), вызволенный Тобольским митрополитом с Соловков. Дед Олега иеромонаха Иринарха только упоминает, не касаясь его биографии, теперь известной. Будущий начальник миссии был сослан на исправление в Соловецкий монастырь как участник протестной акции студентов Казанской духовной академии: 8 апреля 1861 года студенты совершили панихиду по крестьянам села Казанской губернии Бездна. Расстрел безоружных крестьян, а также их вождя Антона Петрова, ошибочно решившего и убедившего всех, что с 1858 года земля уже принадлежала крестьянам, вызвал массовые протесты студентов Казанского университета, Казанской духовной академии и большей части интеллигенции. Увы, местное дворянство, грустно замечают историки, мстительно ликовало...

В интернете я нашла историю легенды о Тонье в краеведческом альманахе «Подорожник», материалы которого сослужили мне добрую службу, приоткрыв многие страницы истории *«самых глухих местечек необъятного нашего Отечества»*, нашла и романтизирующую образ Тоньи сказку известной нижевартовской писательницы М. Анисимковой.

Олег с желанием публикации записок деда опоздал.

* * *

...Помните, в старой французской комедии восприятие здорового реалистичного сыщика по имени Кампана в процессе тесного общения с эксцентричным шизоидом Перреном начинает съезжать в сторону

символического прочтения мелких бытовых фактов: когда у сыщика развязывается шнурок, он, побледнев, произносит: «Это знак». Так и Олег после еще двух совместных поездок в лесопарк, столь же лишенных гендерного флера, что и первая, но чуть менее напряженных, выслушав все мои рассказы о его и о моих прародителях, на забавное совпадение альковного сюжета и даже имени двух девиц, разделенных расстоянием в сто пятьдесят лет, внезапно, тоже побледнев (!), сказал: «И та и другая Стеша? Это что-то неслучайное».

Мы долго молча шли по центральной дороге лесопарка, и, как в любой золотой осенний день, душа в очередной раз удивлялась красоте мира, уже не существующей отдельно от Бунина и Фета, Саврасова и Левитана...

– Ты любишь стихи? – спросила я.

Крылья моста не сходились очень долго.

– Нет.

– А что ты любишь?

Странно, но он ответил сразу:

– Ничего и никого.

– Совсем ничего и никого?

Мы уже подошли к машине. И на обратном пути я вернулась к разговору о священниках-миссионерах, которые, как предписывалось, должны были *выказывать личным нравственным примером качества отца-проповедника: молитвенность, смирение, бескорыстие, стойкость, готовность преодолевать трудности в условиях чрезвычайной сложности, терпение, приветливость, смиренную преданность Богу*. Память у меня хорошая, и я цитировала почти дословно недавно прочитанную статью. Я уже *видела и любила их*, упорно разгружающих ящики с походной церковью в сумрачной тундре, вздрагивающих по вечерам от внезапного стука в дверь молельного дома, недавно построенного невдалеке от чумов, от бряцанья железной утвари, прикрепленной на окно, дабы сразу услышать, что кто-то пытается проникнуть в дом. И, несмотря на ощущение постоянной угрозы, все равно открывающих дверь любому, кто пришел, ибо таков пастырский долг. Но Олега мои слова, похоже, не задели вовсе, наверное, он решил, что монолог мой несколько пафосный, а главное, все, о чем я говорила, очень от него далеко. Это уже *не существующее прошлое*.

Он вел машину и молчал. И думал о чем-то своем. И только когда BMW притормозила у моего подъезда, вдруг обернулся ко мне, держа мощные руки на руле, и лицо его просияло счастливой растерянной улылкой, точно он, чуть не затонув, не совсем понимает, какая сила помогла ему вынырнуть из холодной воды:

– Вспомнил. Очень сильно я в детстве морскую свинку любил. А теперь люблю свой смартфон. Как друга.

* * *

Догадаться было несложно: Олега бросила жена. Признался в семейном разладе, конечно, не он сам. Стоило проснуться моему интересу к его личной жизни, судьба сама приоткрыла мне искомую страницу – на улице, возле супермаркета, я случайно встретилась с еще одной бывшей одноклассницей, которую не видела много лет, хотя находила ее аватарку среди активно виртуально общающихся. Она-то все об Олеге и рассказала, предварив рассказ замечанием, что история Олега похо-

жа на подаренную плетеную корзинку, потом дарителем и украденную уже вместе с содержимым: сейчас в соцсетях модно использовать подобные метафоры и сравнения. Оказывается, Олег был женат на Алине, родной сестре нашего одноклассника Мишки Левенсона, двоюродного брата Инки, прозванной юными мерзавцами Сарделькой, и Левенсон, уехав к родителям-врачам в Израиль, перетянул туда и жену Олега с двухлетним малышом. Причем познакомил Олега с Алиной сам Мишка. Олега выбросили, как мусор, резюмировала одноклассница, ребенка его усыновил новый муж, на фиг им там среди маслин могучий дуб, Олега жалко, он сильно Алину любил, да и ей не на что было жаловаться: бабла хватало, и с сексуальным аспектом у него без проблем, – одноклассница усмехнулась: проверка состоялась. Возможно, разрыв молодой семьи был предreshен еще на свадьбе, она была свидетельницей со стороны невесты и слышала, как, уже крепко подвыпив, отец Олега внезапно упомянул «злодея Свердлова», отец Алины, конечно, тоже пьяный, вспомнил про унижительную «черту оседлости», заговорил о страданиях своего народа, стал называть имена убиенных родственников в Холокост и заплакал, глаза отца Олега тоже повлажнели, он заговорил о страданиях своего народа, о замученных и убитых в годы революции и в сталинских лагерях, о жертвах Великой Отечественной войны и стал называть имена своих погибших родственников, отец Алины вспомнил своих дядьев-фронтовиков: оставшегося в 43-м двадцатилетнего сержанта и его брата, девяностолетнего ветерана, в конце концов отцы обнялись и выпили за помин всех жертв и за здоровье живущих. Но Алинка этот разговор иногда вспоминала, называя «семейным водоразделом»... А может быть, все проще: она тайно страстно влюбилась и потому ушла от скучного правильного Олега, это в ее репертуаре, – у нее уже в пятнадцать лет был любовник, какой-то безбашенный тренер. Впрочем, у себя дома и здесь старые Левенсоны, что Мишкины, что Инкины, у них родство по ее матери, всегда говорили на идиш, одноклассница бывала у них часто, потому что Инкина и Мишкина бабушка чудно готовила, такого кугеля ни у кого больше не поешь, пальчики оближешь, так что их возвращение к своим древним корням совершенно закономерно...

Ни степень родственной близости моих ровесников, ни их национальные маркеры меня никогда не занимали. И о родстве Левенсона и толстухи Инки, вечно роняющей во время урока деревянный пенал своего деда, я ничего не знала, и сейчас, вспомнив, как стыдила обижающих Инку и Таксу, удивилась: что же Мишка не заступался за нее? Глупо считал, что за родственницу заступаться ниже его достоинства? Лучше спроси, сказала одноклассница, почему за нее не заступались другие теперь не наши: Данька Шапиро, Илья, Женька, ее подруга лучшая, между прочим, а Данька к тому же сам ее дразнил и над ней потешался. Они уехали, ты в курсе? Шапиро в Штатах, публикует там в журналах стихи бедного Таксы, живущего теперь в Нижнем Новгороде, сопровождая своими хвалебными комментариями... А Инка осталась. Наверное, ты о ней слышала, если нет, посмотри в инете, она известная в городе персона, недавно ее сам мэр награждал как лучшего преподавателя русской литературы. В новостях писали, что ее дедушка тоже был педагогом. У нее мой сын учился, обожает Инку до сих пор, с каждым праздником поздравляет, представляешь, столько лет прошло, а когда она ведет уроки, на ее столе всегда лежит тот же деревянный пенал!

* * *

Инкин пенал *отрицал окончательную смерть* ее деда, а наши с Олегом предки все так же тревожно вопрошали из небытия – *мы были или не было нас?*

Я решила поискать в Интернете однофамильцев Олега, очертив приблизительный географический ареал. Священников В было много в позапрошлом веке и в начале прошлого, они упоминались в старых документах, в новых статьях, один, изможденный, смотрел всепрощающими глазами Иисуса с фото, сделанного в застенках НКВД, зайдя в Википедию, я прочитала, что он причислен в святым новомученикам и исповедникам Русской церкви. Значился в этом трагическом списке и священник С. Однако уже в середине XX века фамилия В как священническая полностью исчезла. На сайтах, посвященных Великой Победе, упоминались фронтовики В, погибшие и выжившие, на форуме о жертвах сталинизма встретился В, начальник местного ЧК, расстрелянный в 37-м, в сетевом научном журнале писали о В, докторе физико-математических наук, скончавшемся в 80-е... А сейчас я нашла лишь четырех бизнесменов В (не считая Олега) и одного глянцевого фотографа. Один из предпринимателей В за уклонение от налогов был отдан под суд, но «раскаялся и погасил задолженность», отчего судья, скорее всего, раскayавшимся не обделенный, судебное дело закрыл. Неужели *деревянный пенал* предков Олега выброшен на свалку истории, как сам он из биографии его жены и сына?

Священники С были и сейчас. Это порадовало меня: *синий блокнот* мой бабушки Ю не обращен в никому не нужный хлам. В Тобольско-Тюменской епархии служил протоиерей С, в Московской – молодой иерей С, после окончания Тобольской семинарии и духовной академии окормлявший паству в Подмоскoвьe, нашлись и другие, возможно, столь далекие от моих С, что должны уже считаться просто однофамильцами, где-то в туманном прошлом имевшими с моими С общего пращура. Нет, я не сделала поспешного вывода, что сохранение С профессии предков, верность духовному служению, гарантирует им, в отличие от как бы *полностью умерших* предков В, *не окончательную смерть*.

Я чувствовала: то, что я теперь символически представляла как *деревянный пенал* и *синий блокнот* – нечто иное, большее, чем переданное по наследству призвание, даже большее, чем сохраняемая между ручек, карандашей и листов бумаги буква-человечек родового корня. Но – что? Возможно, оно имеет непонятную пока связь с моими эмпатическими «подключениями» к жившим задолго до моего рождения, к моей пространственно-временной памяти?

И судьба опять мне помогла, вовремя перелистнув страницу: мне позвонил тот самый художник Б, с которым нас видел Олег.

* * *

Звонок был чисто деловой. Да и другого повода для общения со мной я ни от кого не ждала, давно закрыв тему личной жизни, однажды догадавшись, что мое несовпадение с любым из встреченных мной мужчин имело причину не психологическую, а временную: они стремились и умели жить в сегодняшнем дне, полностью вмещаясь в него, точно предмет запакованный ловкой рукой продавца в картонную

коробку, и прошлое, оставаясь за пределами ее плотных стенок, отменялось их сознанием как нечто *несуществующее*: мертвые картинки и факты из школьного учебника истории, нагоняющие только скуку, и, конечно, любое упоминание о возможности контакта с теми, кто жил очень давно, показалось бы им странным или предельно глупым. Чтобы счастливо существовать, нужно было уместиться в ту же коробку и там плотно прижаться друг к другу, ведя домашние разговоры о продуктах в холодильнике или обсуждая растущие цены в магазинах, политиков и риски кредитования. Все это меня совершенно не интересовало. Прилепиться и стать как одна плоть ни с одним из них я совершенно не была способна: от любого достаточно близкого их приближения ко мне я начинала задыхаться, точно пробками заткнули все каналы, через которые поступал воздух.

Сетевой журнал «Живопись. Авангард» попросил художника Б об интервью. Он дал согласие, но выдвинул условие: беседовать с ним должна только М, то есть я. До интервью Б решил погулять со мной по городу и обсудить, о чем мы с ним будет говорить. Удобный способ вопросов и ответов, отправленных по электронной почте, он не признавал.

– Мне понравилась ваша мысль, что модернизм – это сочетание архаичного сознания и современной логики, – сказал Б, когда мы пришли в небольшой церковный парк и присели на скамейку. День был ясный, дождя не ожидалось. – Я с детства ощущал власть над собой древних образов, мне часто снилось какое-то незнакомое и пугающее место, на возвышении, отгороженное частоколом, когда я рассказал сон моей бабушке, она объяснила, что это капище наших предков, место, где приносились убитые олени в жертву нашим богам, с которыми общался только шаман. Кстати, женщин на жертвоприношение не пускали. Часто на этих местах ставили церкви. После революции все оставшиеся капища были уничтожены, обряды запрещены, но, когда бабуля была маленькой, в стороне от села, куда они бегали с ребятишкам, сакральное место еще сохранялось. Иногда, тайно от местной власти, шаман там камлал. Я из рода потомственных шаманов. Помните, я говорил, что по матери – манси? Раньше звали нас вогулами. А дед матери был хант.

– Но разве православие не вытеснило ваши языческие обряды?

– Понимаете, ханты, манси и ненцы, полностью ставшие православными, ассимилировались, стали русскими. Они родились заново как часть совершенно другого этноса, уничтожив своих богов, а значит, и собственных предков, которых вслед за русскими посчитали дикими, потому что они ели сырое оленье мясо и пили оленью кровь, жили в дымных юртах и кланялись деревянным обским истуканам. И, хотя моя бабуля говорила о русских священниках всегда хорошо: они принесли книжки, ведь и письменности у обских угров не было, заботились о бедняках, детишек у них брали в приюты, детей постарше учили, стариков не бросали, немощный отец самой бабули жил в богадельне при церкви, – но даже она, простая женщина, признавала: сохранило материнский род от полного растворения только двоеверие, то есть вера, что, если существует Бог единый для всех, у нас все равно есть свои родные, пусть и подчиненные ему, боги. Потому что чужая вера как бы полностью отвергала прошлое нашего народа, лишала непрерывную борьбу за выживание самого важного смысла, что привносил в обычную жизнь окружающий улусы мир, населенный древними богами

и духами предков, ведь народ жив, пока его предки живы... Лишала *иного* мира.

– Теперь я понимаю, – сказала я, – почему одного из моих далеких миссионеров-прадедов (не знаю даже, в какую степень возвести «пра») ранил стрелой остяцкий шаман.

Внезапно я увидела опасно сузившиеся черные зрачки Б. Это именно они целились в меня! Олег совершенно ни при чем, произошло обычное телепатическое наложение двух одновременно принятых сигналов: давней неприязни В и, конечно, совершенно бессознательного импульса Б!

– Я сейчас уловила исходящий от вас импульс родовой мести, – наученная неудачным опытом общения скрывать все, что может быть воспринято как непонятное или нелепое, я на всякий случай придала голосу немного шуточный оттенок.

– Вы верно уловили, – сказал он, – я действительно перехватил чувства того шамана. Он был, наверное, из наших мест. Еще при первой встрече я что-то такое, нас с вами связывающее, ощутил. Давнюю вражду наших предков, может быть... – он грустно усмехнулся, – ...которая порой сильнее любви притягивает друг к другу незнакомых людей через сотню лет после смерти тех, кто враждовал. Как вы, наверное, догадались, я не буддист, я верю не в память перевоплощений, а в память предков. Я – язычник. Но совсем не хочу с вами враждовать. – Он улыбнулся.

– По-моему, интервью будет интересным.

– Не сомневаюсь. Обо всем этом и поговорим.

– Давайте перевернем многоугольник. Некоторые русские начинали искать помощи у вашего шамана, то есть тоже опровергали свое прошлое – а искренне верующий священник-миссионер страдал от этого. Да, он служил государственному заказу, верил в необходимость крещения язычников, но это лишь внешние, хотя часто и сердечные, мотивы его деятельности, если посмотреть глубже – когда он крестил инородцев (извините, что употребляю старое слово), он, подобно им, не только сохранил мир своих предков, но тоже спасал *иную* реальность, что окружала его собственный дом и одухотворяла его сознание... *Лишенные чувства иной реальности, мы просто бумажные человечки.* И, произнеся эту фразу, я поняла, что хранила Инка в своем *деревянном пенале*, а моя бабушка в *синем блокноте*.

– Перейдем на «ты»? – предложил он.

* * *

...Как ни странно, Олег, сказав о совпадении имени двух девушек «это что-то неслучайное», оказался прав; только дверь в прошлое на этот раз открылась с другой стороны. Как говорится, никогда не знаешь, куда заведут ссылки Википедии! Я привычно бродила по сетевым тропам и, попав на малопопулярный, полузаброшенный сайт не-большого сообщества, интересовавшегося прошлым Тобольска, нашла биографическую статью о Филофее Лещинском и назначении его митрополитом на тобольскую кафедру. Все изложенное мне было хорошо знакомо, кроме нескольких дополнительных штрихов, выловленных автором из архива: фамилий священников, монахов и певчих, которых будущий схимонах Феодор привез с собой, и пунктирного обозначения их дальнейших судеб. Среди певчих значились С и В, о них было

сказано так: «в дальнейшем выбрали миссионерское поприще потомки Ивана (Иоанна) С, помогавшего Филофею Лецинскому (схимонаху Феодору) крестить остяков и вогулов и раненного при попытке лодки миссионеров подплыть к одному из улусов; бывшего певчего В, о. Иоакима, находим иереем в Тобольске, его сын Петр также пошел по стопам отца, среди сибирских миссионеров очень много священников В». О, Господи, это ведь юный Петр сажал на колени Стешу, внучку отца Иоанна, чья пробитая стрелой насквозь правая ладонь навечно застыла в троеперстии, а ласковое отношение дальнего потомка В к другой Стеше насторожило ревностного диакона С! Не ищет ли сильное чувство, не рассеявшееся в пространстве после того, как сосуд, в котором оно плескалось, распался на осколки, чтобы вскоре стать прахом, нового сосуда для продолжения своего пути до тех пор, пока энергия чувства не иссякнет? Тогда ведь и Олег – всего лишь сосуд для неизжитой ненависти и ревнивой обиды своего давнего-давнего пра. Когда же, наконец, иссякнут на Земле все потоки вражды, исток которых теряется в далеком прошлом?

* * *

Художник Б позвонил мне и передал отзыв главреда журнала «Живопись. Авангард»: интервью редактор назвал потрясающе интересным.

– Только попросил тебя задать еще один вопрос: правда ли моей кистью водят порой древние образы родовой памяти? И чтобы я ответил и переслал текст завтра, не позже 14.00.

– Задаю.

– Правда.

– Как-то слишком лаконично.

Он засмеялся.

– Ну я же не литератор, мы, художники, почти немые. Глазами слушаем и говорим. Ты подумай сегодня, как им это все покруче объяснить, хорошо? Напиши, что я умею выходить на контакт со своими предками и они мне передают образы, вот и весь секрет. Вечером я проявлюсь снова.

Написать пару слов на тему юнговских общечеловеческих архетипов, хранящихся в коллективном бессознательном, и национальной их трансформации в работах художника Б я могла сразу. Однако мысли мои отвергли лежащее на поверхности объяснение, и не оттого, что оно отдавало модным штампом, причина была в моем сомнении: океан коллективного бессознательного, несомненно, окружает нас, но именно образы как примеры его влияния не представлялись мне при чтении Юнга убедительными – увиденные во сне символы, мандалы или архетипные персонажи казались мне переданными реципиентам телепатическим путем самим Юнгом – индуктором. Конечно, в любом случае они относились к древним прообразам, но... Мысли мои сначала перешли от Юнга на книгу и текст, который книга содержит. Мне вспомнилось, что одним из замеченных мной удивительных свойств книги была возможность возникновения эмоционального контакта с автором, порой и давно почившим. Стоило мне, читая, почувствовать любовь к писателю – он появлялся и обрадованно располагался рядом со мной, и я легко могла приблизить его лицо: так я способна увидеть облик того человека, который мне вскоре позвонит при условии его равнодушия ко мне или к теме разговора. И давно ушедшего в мир теней писателя

я ощущала, как живого человека, настроенного на разговор со мной. Были среди них и приносившие с собой обиду на непризнанность при жизни, чего совершенно был лишен Платонов (проза которого стала одним из потрясений моей читательской жизни), появившийся с доброй улыбкой. Конечно, выходили из своих книг далеко не все. Некоторые обложки напоминали наглухо запечатанные двери, и это не зависело от авторского таланта или мастерства. Может быть, мое чувство любви к автору, созвучие его мыслям становилось нитью Ариадны и давало возможность ему ненадолго выйти из иного мира? Объяснение для меня несомненно приятное, но если и верное, то лишь на малую часть, потому что были и не откликнувшиеся. Не откликнулся Писемский, хотя его «Тюфяк» я оценила: повесть стоит многого. Создалось у меня впечатление, что Писемскому совершенно безразлична судьба его книг – он больше в них не жил. Возможно, писатель живет («нет, весь я не умру...»), потому что его книги читают? Тогда почему откликаются и совсем забытые? Значит, хотя бы они этого сами, это *нужно им*. Они тоже вопрошают из небытия: *мы были или не было нас?*

Отвечая за художника Б на вопрос редактора журнала, я порассуждала о разных уровнях реальности, процитировала советского академика (еще раз с восхищением о нем подумав): *«Таким образом, даже если живое существо умирает, излучаемая им информация может “крутиться” в общем информационном поле планеты неограниченно долго, до тех пор, пока не замкнется на организм, который окажется в состоянии не только воспринять, но и обработать ее»*, – и завершила ответ предположением, что художник Б и есть такой «организм», воспринимаящий и творчески преобразующий древнюю информацию... И, конечно, не стала загружать ответ размышлениями о белом пятне в теории общего информационного поля. Теория хорошо объясняла возможность ретроскопии – закон сохранения на любое по протяженности время тех событий, которые, по всей видимости, были связаны с сильнейшим эмоционально-энергетическим всплеском, допускал вероятность их считывания, но, предполагая, никак не объяснял возможность контакта с теми, кто оказался по ту сторону нашей реальности: сохраняющаяся информация это консервация, а любое живое общение предполагает развитие. С другой стороны, может быть, иллюзия развития как раз и возникает только в закрытых границах сохраненной информации?

* * *

С Олегом встречаться больше не хотелось. И на его предложение прокатиться снова до парка я мгновенно водрузила защитную стену: увы, рада бы, да не могу, нужно писать статью, а для этого прочитать несколько книг. Напряжение от общения с ним стерлось, точно древняя надпись на камне; когда я думала о наших с ним прогулках и они представлялись мне какими-то гранитными, точно осколки обветренной временем скалы, невозможно было вообразить на этих серо-черных обломках живые ростки растений. Впрочем, возникший образ камня мог объясняться и той мемориальной темой, к какой я сама Олега склонила: до нынешней встречи со мной ему не было никакого дела до его предков, тем более что в его родительской семье тема их священничества с советских времен, по-видимому, числилась в запретных.

– А когда сможешь? Завтра вечером? Это и с тобой связано... – Голос его точно смялся, почти пропал, снова распрямылся, споткнулся. –

В общем, после наших разговоров... Нет, по телефону объяснить не получится.

Пришлось согласиться.

Оказывается, этого крупноблочного мужчину, абсолютно далекого от всякой мистики, наши беседы, как он выразился, «совершенно выбили из реала». Еще моя бабушка Ю предупреждала об опасной способности смещать, точно крышку от люка, сознание другого человека, открывая щель в пространство, где властвуют иные законы восприятия, рискованные для неподготовленного ума. В *синем блокноте* объясняла она такую способность «*многоколенным служением инобытию*». Тогда я не думала – так это или не так, но сейчас, глядя на потерянное (по-моему – в прямом, а не метафорическом смысле!) лицо Олега, вспомнила предупреждение бабушки.

Олег трижды увидел совершенно реалистичный сон, чего с ним никогда не случалось прежде: обычно плавали какие-то облачные обрывки, тут же растворяющиеся при пробуждении. Снилось ему, будто в своей комнате, обстановка которой не изменилась, он просыпается от того, что открывается дверь и входит старик-монах. Нет, страха во сне Олег не испытывал. Старик, отодвинув кресло от компьютерного стола, присаживается, смотрит долгим взглядом на Олега и после длительного молчания произносит: «Иоанну передай, чтобы простил меня». Олег во сне тоже садится на постели и тут же просыпается.

– Стул отодвинут, а я почему-то не лежу, а сижу!

Я сразу поняла: к нему приходил не монах, а отец Иоаким, ненавидевший отца Иоанна как счастливого соперника. Выглядел Олег как человек с несколько измененным сознанием – именно для негибких упертых материалистов даже легкий мистический ветерок порой катастрофически опасен. И я решила, что обязана Олега «заземлить».

– Кресло вечером отодвинул ты сам и забыл. А сидишь на кровати потому, что есть фаза между сном и явью, гипнагогия, в эту фазу ты стал вставать, не полностью пробудившись, а когда проснулся окончательно, предыдущее действие опять же забыл. Так бывает.

– Мне еще дважды этот старик снился. И, когда я пообещал ему во сне: «Передам», на его месте вдруг оказался мой дед, чья тетрадка с записями у тебя. И во сне я одновременно видел и деда, сидящего на стуле, и черного старика, который уходил по коридору, сначала это был просторный коридор нашей квартиры, когда я женился, родители отдали мне свою сталинку, а сами переехали в однокомнатную, потом коридор превратился в какой-то другой, очень длинный, просто бесконечный туннель, фигура стала удаляться. А мой дед сказал: «Люди считают, что память дана людям всего лишь для запоминания, на самом деле только в памяти спрятан ключ к тайне жизни и смерти». Первый раз в жизни я запомнил слова из сна! Жесть!

– А если твой дед открыл тебе правду?

– Я ни во что такое не верю, рациональное мышление выше всяческих фантазий и мистики, не стал бы на такие абсурдные темы вообще говорить, тем более что-то из сна передавать, если бы не тягостное ощущение... И тут в аварию едва не попал. Понял: мне эта хрень мешает, нужно освободиться. Да и деда мне было жалко, когда он умер. Возможно, затосковал по нему, оттого и на дороге проявил невнимательность. Мы живем одна, говорит отец. Он ученый, доктор наук, у него и сейчас высокий индекс цитирования. Можно сказать, он мой help desk. И я верю, разумеется, ему, а не идиотическим снам.

– А почему ты решил, что должен о них рассказать именно мне?

– Потому что ни с кем никогда таких... – он подбирает, как я поняла, менее обидное слово, – ...не нужных мне разговоров не вел. Только с тобой. И ни о каких предках я не думал и думать не собираюсь. Нам бы с современностью разобраться, с собой. А не древние сундуки вскрывать и заниматься рухлядью.

– Ты по-прежнему сильно не любишь меня? – спросила я.

Два крыла моста качнулись и очень медленно двинулись друг другу навстречу. Я вдруг заметила, что листва в парке почти опала, хотя, еще не тронутая дождями, являла все цвета лиственной осенней палитры. Мобильный завибрировал в моем кармане: звонил художник Б. Автоответчик послал ему эсэмээску: «Извините, перезвоню позже».

– Теперь – нет, – сказал Олег, – а все эти годы, если честно, вспоминал тебя и не мог отделаться от неприязни. Что-то мне сильно в тебе не нравилось. До ненависти. Сам не мог понять, почему. А теперь я тебе благодарен. На работе меня считают буржуем, хозяином, не поговоришь по душам. Я был совсем один. Стены квартиры меня грызли, от компа глаза болели. Общение с тобой вернуло мне желание жить. Я даже морскую свинку себе купил. – И он как-то по-детски мило улыбнулся.

Мобильный снова завибрировал. Художник Б прислал эсэмээску, я ее прочитала и, поразившись совпадению со словами, сказанными Олегу во сне его дедом, повторила вслух: *«понял именно в памяти спрятан ключ к тайне жизни и смерти»*.

– Когда ты успела ему пересказать?!

– Совпадение.

– А... бывает...

Мы расстались у моего подъезда. Он попросил его познакомить с какой-нибудь приятной худенькой брюнеткой. Пусть даже из среды искусства, чтобы красивая, только обычная, без погружений в прошлое и в хардтокинг, в ресторан вместе сходить, в ночной клуб, на море съездить, для релакса в общем, а для серьезного у него бизнес, две головные боли – это слишком... Как ему удастся заниматься бизнесом с таким интеллигентным голосом, подумала я, тембр высоковат для его мощного крупного сложения. Наверное, роли распределены: Олег – информационно-технический центр, а орет и материт сотрудников его низколобый заместитель.

– И еще... как его... Иоанн, ты передай ему, что старик попросил... – Олег смущенно хихикнул, – ...в своем воображении, разумеется.

– У меня нет такой приятельницы, – сказала я. – Сам где-нибудь познакомись, чего тебе и желаю.

* * *

– Я понимаю слова о ключе так, – говорил мне Б. Мы встретились в кафе «Лабиринт», – внешние функции памяти известны, но память слоиста, под функциональными находятся у нее более глубокие слои, один в другом, как в матрешке, и на самые глубокие (или дальние) некоторые люди могут попадать через пространственно-временные туннели, потому что смерть и жизнь существуют в памяти одновременно, да, ушедшие ушли, здесь их нет, но на глубоком слое памяти они живы. Все, что человек изобретает, существовало до его изобретения как прообраз, и кино, возможно, повторяет то, что есть в наших генах: события из жизни людей, окрашенные сильными эмоциями, записаны

в них, действительно, как кинофильм. С интерактивным кино теперь, пусть примитивно, зритель взаимодействует, и с кинопамятью скоро люди смогут взаимодействовать. Убедительно?

– Вполне, – сказала я. – Посмотреть можно. Но происходившее в прошлом нельзя изменить. Можно лишь помочь героям фильма обрести освобождение от вечного круга душевной боли, страха или неведения... И от мучительного их сомнения *там* в собственном былом существовании *здесь*. То есть завершить сюжет.

– Пока нельзя изменить.

– Знаешь, мне кажется, двигаться по этому пути дальше не надо.

– Боишься Минотавра?

Я не сразу ответила, потому что, внезапно повернувшись, увидела, как мимо окна кафе прошел, ступая мелкими, точно робкими, шажками, маленький старичок-священник.

– Чувствую запрет. Главное, что *все они были...*

– Не были, а *есть*. Мы-то с тобой это знаем.

В оконное стекло стукнули крупные капли дождя. На соседнюю стоянку подъехала машина. Из нее выбрался Олег и, открыв боковую дверцу, извлек за руку молодую худую брюнетку. Других свободных мест в кафе уже не было, и, когда они вошли, я позвала их за наш столик.

– Это мой бывший одноклассник, – представила я Олега художнику Б. – Бизнесмен, герой нашего времени.

– А это моя бывшая одноклассница, – обратившись к спутнице с улыбкой, сказал Олег, – с которой мы знакомы не два дня, как с тобой, а ровно триста лет. Три века враждовали и только недавно простили друг друга.

И эффектная брюнетка, посмотрев сначала на меня, а потом на Олега, засмеялась.

Николай БОЖИКОВ

Родился в 1960 году в Москве. Окончил Первый Московский медицинский институт им. И.М. Сеченова. Кандидат медицинских наук. Работал врачом-эндокринологом в ГКБ № 33 имени проф. Остроумова в Москве, в консультативно-диагностическом центре № 2 ВАО Москвы, поликлинике ОАО «Газпром».

Публиковался в журналах «Дальний Восток», «Чайка» (США), «Новая литература» и других. Живет попеременно в Москве и в городке Свети-Влас в Болгарии.

ВРЕМЯ ПРОЩАНИЯ

Молчалива Вера была не по-женски, берегла слова с юности. Где-то с месяц назад узнала, что носит в своей поджелудочной железе опухоль. Как нередко бывает, какое-то время не придавала должного значения болезненным ощущениям у себя под ложечкой. Иной раз эти боли отзывались в спине. Вера понудила себя к диете, какую советуют доктора при разгулявшемся гастрите, попринимала обволакивающие гели и таблетки от избытка кислоты в желудке. Затем начались походы по врачам и обследованиям, потому как боли не реагировали ни на перемены в питании, ни на лекарства. После компьютерной томографии медики определились с диагнозом. Лечащий врач сочувственно объяснил, что ее случай операции не подлежит, а химиотерапия возможна лишь в щадящем режиме по причине плохих показателей крови.

Островок малогабаритной квартиры, числившейся по документам трехкомнатной, стал ее повседневностью. Большую часть дня проводила она в постели, меньшую – в старом глубоком кресле. Оно обнимало собой ее маленькое заметно полегчавшее тело, укрытое пледом из овечьей шерсти с гуцульским орнаментом. Вера надевала очки, устраивалась в кресле с книгой в руках, принималась было читать, но мысли о прошлом, выплывающие словно осенние сквозистые кроны из тумана, увлекали ее за собой.

Общаться с Аллой, своей невесткой, она предпочитала больше жести, мимикой и взглядами, чем словами.

Был первоначальный бросок воли, умиривший жалость Веры к себе, а вслед пришло приятие того, что неминуемо должно случиться с ней в ближайшие месяцы.

Когда снежная лавина унесла жизнь ее сына на горнолыжном склоне два года назад, все было иначе. Никакого смирения перед трагедией в

ней в те дни не было. Она раз за разом задавала себе один и тот же вопрос: «Почему мой Дима, почему такой нечаянной смертью?» В изнеможении ударяла себя пальцами по вискам, чтобы изгнать безответный вопрос из своей головы.

Странное дело, но через какое-то время болезнь сделалась ей чем-то вроде подруги, с которой можно было доверительно поговорить. Только разговор этот был беззвучным и внутренним, как в молитве. Она говорила болезни: «Ты не спеши, дай мне время подготовиться, все обдумать, но и не задерживайся сильно, чтоб не стать мне обузой невестке».

Не хотелось ей умереть, как Антонина Игнатьева из пятой квартиры в их доме. Отправилась в поликлинику выписать рецепты на лекарства, в очереди перед кабинетом врача привалилась к стене и тут же сползла вбок, налегла на старушку неживым уже телом, перепугав ее до смерти. Пробовали доктора оживить Антонину, но тщетно. А старушку переместили в кабинет, уложили на смотровую кушетку, скрытую ширмой, и отхаживали нашатырем и настойкой валерианы и ландыша.

Вера всем своим существом желала встретить последний час в незамутненном уме. Она представляла, как скажет вплотную подшагнувшей к ней смерти: «Вот теперь я готова!»

Что-то в памяти остывает, что-то продолжает тлеть, но есть и такое, что не изглаживается до самого конца.

С живостью представляла она картины из тех полутора лет детства, когда в начале войны оказалась с семьей в Челябинске в эвакуации. Отец служил замом главного инженера на машиностроительном заводе автомобильных прицепов. Завод в малые сроки построили под нужды воюющей армии. Вера отца не видела по нескольку суток. Мама работала в архиве по десять часов в день со сверхурочными и поздно возвращалась домой. По ночам было слышно, как ее одолевают приступы кашля.

Семилетняя Вера не успела обзавестись подругами на новом месте, да и туго она сходилась со сверстниками. Было ей одиноко, а вечерами порой и пугающе.

В один из дней, когда за окнами начинало темнеть, она из любопытства зашла в кладовку. С интересом Вера озидала ее содержимое при бьющем в глаза свете ввинченной в патрон лампочки без плафона, свисающей на электропроводе. По двум смежным стенам тянулись полки в три этажа, уставленные стеклянными банками. По большей части они были пустыми, но встречались и заполненные солеными огурцами в знобких пупырышках. Внизу была пара полок пошире, верхняя из которых вполне могла сойти за столешницу. На ней помещались пыльные подшивки журналов и настольная лампа с зеленым металлическим абажуром. Тут же был и неказистый подсвечник на две свечи из темно-синего стекла. С одного края ножка была у него отколота, но это ничуть не мешало его устойчивости. На левой от входа стене, под потолком, на расшатанном крюке висела кособокая шляпа из соломы. Лучшего головного убора для огородного пугала было и не сыскать! На полу, под нижней полкой, стояли картонки со всяким хламом. В одной из коробок Вере попались парафиновые свечи и пара коробков с терками, исполосованными головками спичек.

В тот раз Вера была награждена чудесной находкой. Она заприметила что-то задвинутое внутрь и прижатое к боковой стенке стопкой журналов. Когда достала увесистый сверток, обернутый в синюю шаль,

и раскрыла его, ахнула. Это были иконы, иконы, принадлежавшие ее бабушке.

Бабушку Капу Вера хорошо помнила. Она жила с семьей сына вплоть до своей кончины незадолго до войны. У бабушки был собственный закуток с дверным проемом, занавешенным плотной фиолетовой шторкой. В крохотной комнате был устроен передний уголок. Здесь стояли в настенном киоте иконы.

Вера иногда осторожно отодвигала край шторки, чтобы понаблюдать, как бабушка при свете затепленной лампадки шепчет молитвы и крестится с поклонами. В самый первый момент Вера замирала, чувствуя, как лики со стены смотрят прямо на нее. Она зажмуривала на несколько мгновений глаза, но ничего от этого не менялось...

Вера освободила на столешнице место, чистым носовым платком аккуратно протерла иконы от пыли и расположила их в ряд, приставив к стене. Найденные свечи пришлось впору подсвечнику. Вера чиркнула спичкой о коробок и поднесла огонек к фитилю первой свечки. Когда она убедилась, что пламя прижилось, проделала то же со вторым фитилем. Верхний свет она погасила.

Как-то сама собой пришла к ней мысль помолиться. Если бабушка, самый добрый во всем свете человек, какого она знала, всякий день жизни не жалела ни времени, ни своей спины для молитвы, значит, в этом был какой-то особенный смысл.

В тот вечер Вера попросила у Бога, чтобы мама поскорее вернулась домой, обняла ее и поцеловала в висок...

Вера прикрыла глаза, вспомнила, как бабушка обращалась к ней: «Здравствуй, радость моя! Как ты, радость моя? Здорова ли ты, радость моя? Что-то ты приуныла, радость моя». Никто больше, даже мама, не называл ее так.

Иконы Спасителя, Богородицы, святой мученицы Капитолины, те самые, перед которыми когда-то молилась бабушка Капа, теперь составляли Верин домашний иконостас. Лики на них потускнели от времени. Вера попросила невестку развернуть кресло так, чтобы ее лицо было обращено к образам. Последние пару недель она молилась, не покидая кресла.

С Аллой у Веры с самого начала сложились отношения непритворного расположения. Когда случилась трагедия с Димой, общее горе еще больше их сблизило. Каждая из них не позволила скорби другой закоснеть и превратиться в депрессию.

Все чаще стала задумываться Вера о том, как сложится у Аллы жизнь, когда ее не станет. «Ты один знаешь, что лучше для Аллы, – обращалась она к Богу. – Но молю: соедини ее с человеком любящим и надежным».

Алла сказала на днях, что хочет познакомить Веру со своим другом Юрием. Вера сильно обрадовалась. «У них, похоже, серьезно, – решила она. – Иначе Алла никогда бы не надумала позвать Юру к нам в дом».

Когда Вера заболела, невестка решила уйти из мастерской индивидуального пошива одежды. Алла работала там закройщицей. Нужно было высвободить время для ухода за свекровью. Последним заказом, выполненным Аллой до увольнения, был костюм из первоклассной английской шерсти для Юрия. На работе ему подоспело повышение. Его начальник при встрече подсказал купить костюм подобротней, а еще лучше заказать в приличном месте. «Добавь себе презентабельности!» – сказал он полушутя.

Алла снимала с фигуры Юрия мерки, но в какой-то момент задумалась и выпустила сантиметр из рук. Она извинилась за свою неловкость, подобрала с коврика ленту. Тут Юрий к ней присмотрелся, и Алла улыбнулась смущенно. Он опустил глаза, почувствовал впервые за долгое время, как спало отягчение с его сердца. Пять месяцев назад он развелся с женой, не смог простить ей неверности. И все это время жил, борясь попеременно с апатией и накатами злости.

Так они познакомились. Было поначалу обоюдное тяготение, но вскоре они поняли, что им выпало неподдельное чувство. Они рассказали друг другу о своем прошлом без оглядки на свою уязвимость. Что-то сострадательное добавилось в их любовь. И каждый чувствовал, что уже не был прежним.

Вере Юрий понравился. Был он невысокого роста, коренастый, зеленоглазый. Разговаривал негромко и немногословно. Обмолвился и о том, что прежний его брак окончился крахом. И тут же добавил, что в свою будущность смотрит с надеждой, что она и теперь уже начинает сбываться. По тому, как Юрий смотрел на подругу, как взял ее ладонь в свою руку, обеспокоенность Веры за Аллу если не рассеялась, то заметно ослабела. Совместное чаепитие никому не было в тягость. К торту, принесенному с собой Юрием, Вера едва притронулась, но про себя отметила: «Коржи удались, да и крем нежирный, как мне нравится». А маленькую вазу с букетом душистых фрезий от Юры по просьбе Веры поставили на ее прикроватную тумбочку.

Наедине с собой Вере вспомнилось, как Алла на вопрос о причине расставания Юры с бывшей женой пояснила, что дело было в ее измене. «Со мной ведь тоже подобное было», – подумала Вера.

Когда исполнился год со дня их с Анатолием свадьбы, они пришли сообща к решению, что не стоит времени с рождением ребенка. Инициатором все же был тогда ее муж. Иногда ей казалось, что он жаждет ребенка сильнее, чем она сама. Их брак был поздним, обоим уже стукнуло сорок.

Анатолий был институтским доцентом, преподавал студентам из дальнего зарубежья русский язык. Был у него старый приятель в издательстве научно-популярной литературы, через которого он рассчитывал получить подработку редактором.

Время шло, а беременность у Веры не наступала. Оба супруга первоначально проверились у врачей. Вера потом долгое время лечилась от бесплодия.

Не сказать, чтобы муж был нарочито невнимателен к ней, но и замаскировать перемены в себе он был не в силах. Куда-то пропала его привычка добродушно подшучивать над женой, редки стали прикосновения его рук и губ, да и ласка была какой-то разбавленной, а поцелуи, когда и случались, обижали ее своей сухостью. Как будто все лучшее в их отношениях было беспощадно отцежено.

Анатолий дорос в карьере до заведования своей кафедрой, и материальное положение у них укрепилось. Но налаженность жизни только усилила их отгороженность между собой.

Был у Веры момент отчаяния, когда она подобно тонущей вцепилась в брошенный ей спасательный круг. Этим кругом стал для нее Роберт. Он заговорил с ней перед картиной Сюзанна «Мост над прудом» в зале импрессионистов в Пушкинском.

– Над водой будто витает дух отшельничества, – сказал он.

Вера взглянула на него и ответила:

– Сезанн мой любимый художник. Я прихожу сюда иногда.

В тот день она вела себя как загипнотизированная. Пошла за Робертом в ресторан, где они выпили дорогого шампанского, а затем он заказал кофе и клубничное фламбе на десерт.

Роберт представился дипломатом. Был ли он тем, за кого себя выдавал, – этого она знать не могла. Но одет он был безупречно, что вкупе с атлетизмом и наружностью Аполлона делало из него почти киношного соблазнителя. Да и красноречием Роберт владел не хуже, чем олимпиец своей кифарой.

Ей было противно вспоминать подробности того дня. Она знала одно: вошла она с Робертом в гостиничный номер одним человеком, а вышла уже другим. Она отходила от этого помрачения почти так же, как после операции на воспаленном аппендиксе, когда прекратил действовать наркоз. В ушах звенело, а перед глазами клубилась белесая пелена. Больше они с Робертом не виделись.

Но последствием той встречи стала беременность Веры.

Мужу ее шальная мимолетная связь никогда не была открыта. Вера сумела внушить ему, что гинеколог после осмотра и оценки свежих анализов высказалась о серьезном прогрессе в лечении. Мол, попытка зачать ребенка в этот раз будет успешной с большой вероятностью. И муж ей поверил тогда.

Дима вырос и превратился в Дмитрия Анатольевича. Отец любил его, от сердца радовался его успехам. Удивлялся, как это Дима в хорошем смысле переломил преемство в своем роду, где были сплошь гуманитарии. У сына рано обнаружили редкостные способности к математике.

Оправдаться перед собой за свою ложь Вера и не пыталась. «Жалкая попытка подкупить ту, которая по своему естеству неподкупна», – думала она о совести. На исповеди она покаялась в измене мужу и в том, что скрыла от него правду о Диме...

Настал четверг, и Алла напомнила Вере, что сегодня у них «банный день».

– Даже в моем положении время спешит, – посетовала Вера, – кажется, ты только мыла меня, а уже неделя прошла.

– Сейчас все приготовлю, и начнем, – сказала невестка.

Она обтирала сухую пожелтелую кожу Веры салфетками, смоченными разведенным в воде лосьоном. Придерживала тот участок, которым занималась в эту минуту, заботясь о том, чтобы кожа на нем не смещалась. Следила, чтобы прочие части тела не оголялись. Продвигалась она шаг за шагом: сначала голова и шея, потом руки и грудь, потом ноги, отдельно интимные места. В последнюю очередь, осторожно повернув Веру на бок, она обработала ей спину и ягодицы.

Когда все было сделано, Алла вновь уложила Веру на спину. Тут прозвенел сигнал таймера на смартфоне. Алла набрала в шприц раствор лекарства против боли и ввела Вере под кожу плеча. Вскоре та заснула.

Проснулась Вера от дикого крика. С ходу не смогла осознать, что эти истопленные звуки вырывались из ее горла. Алла с испуганным лицом склонилась над ней. Одной рукой она промокала пот у нее на лбу, другой – взяла ее за руку.

– Я здесь, я рядом! – успокаивала она Веру. – Кошмар приснился – сейчас все пройдет.

– Кошмар... пройдет, – повторяла за ней Вера, сжимая невестке руку.

Этот сон вернул ее в тот момент детства, когда родители отправили ее на одну летнюю смену в пионерлагерь. В этот ад не так-то просто было попасть, отцу или матери отпрыска нужно было достать в профсоюзе путевку.

В своем отряде Вера стала мишенью для запугивания и глумления. Она была слабее большинства прочих девчонок, не сквернословила и не пыталась заискивать перед лидером. К тому же она была из интеллигентской семьи. К ней пристала кличка Немая, потому что она ни с кем не заговаривала первой и большую часть времени пребывала в молчании.

У Веры были красивые волосы, заплетенные старанием маминых рук в толстую косу. В один из вечеров после отбоя, когда рядом не было никого из вожатых, ее притеснительницы сотворили над ней насилие. Вере обкорнали затупленными ножницами косу. Тянули за нее с такой силой, что Вера выла от боли. Позвать на помощь возможности не было – в рот ей всунули скрученную тряпку.

В другой раз после игры в волейбол ее подловили у душевой, устроенной на открытом воздухе, утащили на тыльную сторону на присыпанную песком полосу земли, за которой начиналась гущина бурьяна. Три мучительницы держали ее за руки, заломив их назад, а та, что верховодила ими, бросала ей мяч в лицо. «Поглядите-ка, у Немой голос прорезался», – выкрикнула она в ответ на Верины вопли. После этой расправы у Веры на месте лица была окровавленная маска.

Тогда ей казалось, что ненависть к этим людям никогда не покинет ее. Забыть об этом не получилось и спустя столько лет. Но она сумела простить их, и это стало безмерным облегчением для нее.

Через три недели Вера совсем ослабла и попросила Аллу позвать к ней отца Александра. «Хочу причаститься», – сказала она.

Когда сухонький рыжебородый священник выслушал ее исповедь, то задал один лишь вопрос: «Есть ли кто-то, кого вы не простили?» Она собралась с силами, качнула отрицательно головой. Отец Александр прочел разрешительную молитву и дал Вере причастие.

Она вглядывалась в вечность с улыбкой на губах.

Наталья ЕМЕЛЬЯНОВА

Родилась в 1981 году в Горьком. Окончила филологический факультет Нижегородского государственного педагогического университета им. К. Минина. Работает школьным учителем русского языка и литературы, директором воскресной школы, где преподаёт церковнославянский язык, и инструктором по фитнесу.

Поэт и прозаик. Публиковалась в альманахе «Земляки» и журналах «Зеркало», «Дети Ра», «Нева», «Слово/Word», «Нижний Новгород», «Дальний Восток», «Дарьял» и других.

Живет в Нижнем Новгороде.

ГОРЬКИЙ

Когда Евгений вошёл в вагон метро, он ахнул. Как же здорово вагон был оформлен к столетию Максима Горького! На торцевой стенке был размещён огромный фотографический портрет писателя во весь рост, боковые стенки вагона были обклеены фотографиями Горького меньшего размера, а также изображениями скульптурных и архитектурных памятников, связанных с именем знаменитого писателя, и фотографиями обложек его книг.

Оглядываясь по сторонам, Евгений прошёл к единственному свободному месту в вагоне и сел на него. Народу в поезде было много. Видно было, что все пассажиры с интересом рассматривали преобразённый вагон, многие фотографировались и тут же отправляли снимки в социальные сети.

В центре вагона стояли три молодые девушки – Аня, Лиля и Тамара – студентки факультета дошкольной педагогики педагогического университета им. К. Минина. Они весело хохотали и, позировав, фотографировались. Поведение их было шумным, более шумным, чем принято в общественных местах, было видно, что некоторых людей это раздражало. Раздражало оно, например, Маргариту Фёдоровну – продавщицу из продуктового магазина, женщину лет пятидесяти пяти в старомодном коричневом пальто со старомодной сумкой в руках. Маргарита Фёдоровна сидела совсем рядом с девушками и поминутно бросала на них испепеляющие взгляды.

Не менее сильно раздражало поведение студенток и Павла Аркадьевича – немолодого, но бодрого мужчину лет семидесяти в сером пальто и серой же шляпе. Он сидел напротив Маргариты Фёдоровны. В руках у него была свёрнутая в трубочку газета, которой он нервно стучал себе

Женя надел наушники и погрузился в «Гранатовый браслет»... «– Вот и всё, – произнёс, надменно улыбаясь, Желтков. – Вы обо мне более не услышите и, конечно, больше никогда меня не увидите. Княгиня Вера...»

– Парень, сфотографируй меня! – произнёс Евгений вновь.

Алиса Пташкина нервно набирала сообщение на телефоне. Афанасий Вятский размышлял о литературе. Студентки фотографировались и смеялись. Маргарита Фёдоровна с ненавистью смотрела на них.

– Парень, сфотографируй меня! – повторил Евгений, озаряясь по сторонам.

На конечной станции волна пассажиров быстро и шумно вылилась из поезда. Евгений, опираясь на костыль, с трудом поднялся с сиденья и вышел из вагона последним. Максим Горький, приклеенный к торцевой стенке вагона, хмуро смотрел на опустевший вагон. Двери закрылись. Волна пассажиров быстро и шумно вылилась в город. Евгений, опираясь на костыль, поднялся в город последним.

В городе шёл дождь. Елена Альбертовна, преподаватель культурологии из университета им. Лобачевского, закрывшись большим чёрным зонтом, спешила на лекцию. Василиса Михайловна, продавщица мороженого, шла под дождём без зонта. Волосы налипали на её мрачное измученное лицо, она поминутно отбрасывала их назад, но они возвращались на своё место. Семён Яблоков, разносчик еды из супермаркета за углом, быстро шёл по мокрому тротуару, согнувшись под весом огромной фирменной сумки. Зонта у него не было. Но он не был мрачен. Он был равнодушен. Он просто шёл вперёд под этим проливным дождём и тащил эту тяжёлую сумку.

Евгений тоже был без зонта. Он вышел из метро и замер в нескольких метрах от него. Почему он не шёл дальше? О чём он думал? Что творилось в его сердце?

Большая рыжая собака с клеймом на ухе лениво подошла к нему и села у его ног. Она подняла голову и заглянула ему в самую душу.

– А ты не кусаешься? – обратился к ней Евгений, с трудом выговаривая слова.

Собака свернулась в клубок и положила голову на лапу.

– Ну чего ты здесь? Надо идти. Вставай. Надо идти.

Собака оставалась неподвижной. Евгений тоже стоял на месте.

– Хороший писатель – Максим Горький. Как там у него про человека?.. Не помнишь?.. Вот и я забыл. Всё забыл... Дождь-то какой! Дождище!

БАБА СВЕТА

Умирая, баба Света слушала. В её восемьдесят восемь зрение почти покинуло её: катаракта поразила оба глаза. Баба Света как-то смирилась с этим, ещё в самом начале болезни лечиться она не захотела, она просто жила, плыла по течению. К своему логическому концу. Впрочем, к концу ли? Зрение почти покинуло бабу Свету. А слух остался таким же острым, как в юности.

Баба Света лежала в своей постели. Тонкая, сухая, почти невесомая. Несколько килограммов костей, обтянутых жёлтой истончённой кожей. Без мышц, без жира. Кажется, и подушка-то с матрасом под ней почти не проминались.

Баба Света лежала, прикрыв почти слепые глаза, и слушала. Она жила в квартире в современном семнадцатизэтажном доме. Это была квартира её внучки, в которую та перевезла свою почти оторвавшуюся от земли бабушку. Нужно же было наблюдать за её постепенным воспарением. Или испарением? Как вода испаряется из кипящего чайника, так некоторые люди испаряются из земной своей жизни. Постепенно и легко.

Баба Света лежала и слушала. Слушала жизнь. Вот что-то упало у кого-то из соседей, послышались голоса: мужской и женский. Говорят бойко, но слов не разобрать. Пара минут тишины. Вот где-то заплакал ребёнок. Успокоился. Опять заплакал, затих. Вот опять у кого-то что-то упало. Опять бойкая речь мужчины и женщины. И вновь тишина. Почти тишина. Жизнь всегда наполнена звуками. Если прислушаться к тишине, обязательно услышишь жизнь. Вот, вот она: у кого-то уже долгое время включена вода, звук такой монотонный, как-то незаметно заполняющий собой пространство, его не сразу и улавливаешь. Но баба Света уловила его, и уголки её губ дернулись, и лицо озарилось улыбкой. А вот слышится «цок-цок-цок» – где-то по кафелю. Баба Света знает: это соседская собака. Баба Света никогда не видела её, зато слышит её каждый день. «Цок-цок-цок» – и на лице старушки снова засветилась улыбка.

Когда баба Света была Светкой Яблоковой восьми лет, она жила в маленьком деревянном доме, в котором жила только её семья. Она любила утром выходного дня проснуться и долго не открывать глаза, лежать, прислушиваясь к жизни, которая происходила кругом. Вот слышится глухой мелкий деревянный звук – это мать раскатывает скалкой тесто на столе – будут пироги. Вот слышится протяжный скрип, хлопок и тяжёлый железно-деревянный удар – это отец пришёл с улицы и принёс воды – два ведра. Вот мягкий упругий звук – это спрыгнул с подоконника кот Тимоша.

Когда баба Света была красавицей Светланой двадцати двух лет, она вышла замуж и переехала в квартиру в старинный двухэтажный дом. Впрочем, не вся квартира принадлежала ей и её мужу, а точнее – она не принадлежала никому из людей, людям полагались для проживания отдельные комнаты, полагалась комната и молодой Светланиной семье. В этой общей квартире звуков было много. Чего только стоил дверной звонок! Посетители звонили на все лады: громче, тише, смелее, робче, то один раз позвонят, то два, то три, то... в общем, слушай сколько хочешь! А как разнообразно плакали соседские дети, спустя два года прослушивания этого хора Светлана с мужем дополнили его состав собственным ребёнком. И тут уж слух был настроен преимущественно на его соло!

Сейчас, в свои 88, баба Света лежала и вспоминала все эти звуки, которые ей было суждено услышать за свою жизнь. Вспоминала и слушала новые. Так проходили её дни. «Цок-цок-цок». Улыбка. Бум. «Мама!» – детский голос. Чей-то дверной звонок. Баба Света умирала. Умирала и слушала. Худела с каждым днём. Истончалась. Испарялась. Воспаряла над землёй. На лице её был свет. Свет мира. Свет уходящего с миром.

– Бабушка, а тебе не страшно? – свежим, будто морозный воздух, голосом спрашивала её внучка Верочка, сидя по вечерам у её постели, держа в своих ладонях сухую, почти невесомую, но тёплую руку бабы Светы, – тебе не страшно умирать?

Баба Света, не имеющая сил сказать хоть слово, чуть-чуть шевелила указательным пальцем своей руки, проводя им по мягкой и гладкой ладони внучки. Краешки её губ приподнимались в улыбку, и всё лицо озарялось светом. Озарялась светом внучка Верочка. Вся комната. И, может быть, весь мир. Баба Света принимала мир, отдавала мир и уходила с миром. Баба Света умирала и слушала. Как же приятно слуху было её ровное мирное дыхание.

Верочка, а ты слышала, как дышит мир? Как дышит мир.

Юриус МАРИЙСКИЙ

Родился в 1995 году в Николаеве, Украина. Окончил Николаевский национальный университет имени В. А. Сухомлинского (факультет иностранной филологии), получив диплом переводчика с английского. Работал менеджером по продажам в магазине музыкального оборудования, репетитором по английскому языку для детей и взрослых. Публиковался в журналах «Мост» (Санкт-Петербург) и «Союз писателей» (Новокузнецк). Автор сборника рассказов «Пробуждение». Живет в Николаеве.

ТЕМНОТА

Я часто думаю о том жизнерадостном голубоглазом мальчишке; устраиваюсь поудобней в своём любимом продавленном кресле, закуриваю одну из тех вкусных, но некрепких сигар, привезенных сыном из какой-то далёкой страны в подарок куряке-отцу, и начинаю вспоминать: светлые, пушистые волосы, тёмно-синяя жаркая кепка с эмблемой испанского футбольного клуба, маленький веснушчатый нос, вечно забитый соплями, тихенький, мышинный голосок и искренняя, живая улыбка.

Мальчишка был каждый день счастлив. Ему не нужны были никакие причины для счастья – он просто жил, а разве этого недостаточно? Когда наступал снежный январь, он был уверен, что зима – это сказка и рай и что нет поры замечательней; а в мае он спрашивал безбрежное небо – что может быть краше солнечной, цветущей весны? И каждая прочитанная книжка казалась ему самой чудной книжкой на свете, и каждый забитый гол во дворе был особенным. В школу он всегда ходил с удовольствием. «Если математика – царица наук, то кто тогда царь? – донимал он маму и папу. – Если есть царица, то должен же быть и царь». Папа улыбался до самых ушей, а мама шептала, что царь – это русский язык. Когда-то она мечтала стать поэтессой, но потом в её жизни приключился вдруг папа, и ей посчастливилось сделаться супругой и матерью. Поэтессой она так и не стала, но стихи писала всю жизнь. Папа был стоматологом и страшно любил на звёзды смотреть. У него тоже мечта была. Телескоп. Ему, как и маме, осуществить свою мечту не удалось. Пришлось довольствоваться дедушкиным биноклем. «Не сбылась мечта – не страшно. Что это за мечта, которая непременно сбывается? Настоящие мечты никогда не сбываются. Главное, чтобы было о чём мечтать. Когда мечтать не о чем – вот что страшно», – так он всегда говорил. А мама смеялась тихонько, по-домашнему так, по-родному, обнимала папу за шею и называла его ласково «мой философ». Они очень любили своего милого, послушного сына.

Этим милым, послушным сыном был я. Мамы уже много лет нет в живых, а папа умер совсем недавно, но любовь их и сегодня со мной. Я чувствую это. И люблю их всем сердцем в ответ.

Теперь я уже не мальчишка – глаза у меня, правда, до сих пор голубые, но жизни радоваться доводится редко. Волосы по-прежнему светлые, но не такие, как в детстве, они у меня до одного все седые и уже не пушистые, а совсем тонкие, рыхлые и вообще какие-то гадостные. Но я из-за этого нисколько не расстраиваюсь. Главное, что они есть.

Да, теперь я уже не мальчишка, и улыбка на моём лице – нечастая гостья. Книжек я больше никаких не читаю, во двор выхожу, но мяч не гоняю; я ныне гулять люблю спокойненько, не спеша, и лучше там, где потише, где побольше деревьев и поменьше людей. И думать люблю. О всяком, о разном – обо всём том, о чём положено думать дедам. О супруге своей покойной, голубушке, думаю, о сыне-красавце, о будущих внуках. О жизни, о смерти. О смысле.

В последнее время всё о детстве своём почему-то думаю. На прошлой неделе вспоминал, как у бабушки гостил на каникулах, оладьями со сметаной объедался до полусмерти, братьев Grimm вспоминал, чьи сказки она мне вечерами рассказывала, и рисунки свои корявые. Такими дурацкими они всегда получались, рисунки эти мои несчастные, а бабушка всё хвалила меня, молодцом называла. И о дедушке думал; помню, как халабуду мы с ним из стульев и одеял строили, птиц мокрым хлебом с балкона кормили, на стадион ходили гулять. А зимой мы петарды взрывали; я сам поджигал, а он только говорил настоятельно: «Аккуратно смотри. Долго в руках не держи. Сразу кидай. Пальцы!»

А сегодня мне хочется вспоминать темноту. О, это были страшные, славные дни! Никогда не забыть мне ту тёмную, опасную зиму. Мне десять лет. В школе вторая смена. Последний звонок – урок кончился. На часах полшестого. За окном – темнота. Я плетусь по заснеженной улице, со мной два приятеля. Нам по пути. На уроке физкультуры кто-то ляпнул, что в городе завёлся маньяк. Девочка Оля с параллельного класса его даже видела. Она говорила, что у него чёрные длинные волосы, он всегда в чёрной шапке и с чёрным пакетом, а в пакете том большой нож – им он режет детей, возвращающихся со школы домой. Недавно в кустах нашли голову девочки. Лицо бледное, ледяное, совсем перекошенное – на нём застыл ужас, кошмар. Маньяк часто поджидает свою жертву в подъезде – на том этаже, где всегда перегорает лампочка. Кто-то спросил девочку Олю – в каком именно подъезде поджидает свою жертву маньяк. Она пожалала плечами и буркнула: «В разных».

Мы уже далеко от школы. Пока мы вместе, нам не страшно. Но вот мои приятели расходятся – один повернул направо, а второй пошёл к остановке – сейчас он сядет в светлый, тёплый автобус и поедет домой; автобус привезёт его прямоком в его комнату – там хорошо, там безопасно. Счастливчик. Его не порежут ножом. Он вкусно поужинает, расскажет маме и папе о том, как дела в школе, и пойдёт делать уроки на своём большом, удобном столе. А мне мучиться здесь с этим маньяком. Кричать.

Мой дом там – за углом. Я иду быстрым шагом, ищу суматошными глазами свой двор; я не бегу, ни в коем случае, нет, как же могу я бежать по такой тёмной, безлюдной улице, ведь тогда маньяк подумает, что я испугался, что это я от него убегая, и побежит тут же за мной и сразу меня ужокошит. Мою голову найдут утром отрезанной, под каким-нибудь колючим кустом или в мусорном баке, и больше не будет у моих родителей милого, послушного сына.

Я захожу наконец в свой двор. Он кажется мне почему-то гигантским, там будто ещё темнее, чем на той улице, что никак не хотела кончатся; я чувствую, как дрожат мои худые коленки, и успокаиваю себя, что это от холода; сердце колотится, будто его гонят куда-то, и вот-вот я умру, не то от

ножа, не то от испуга. Мой подъезд только третий, и я спрашиваю самого себя в жуткой панике – почему он не второй и не первый? Я тут же отвечаю себе, что хорошо, что он не четвёртый, и мне становится чуточку легче.

Кто-то орёт на скамейке. Слава богу, я не один! Либо этот кто-то дурачится, либо его режет маньяк. В любом случае, мне повезло.

Проходит целая вечность, и передо мною подъезд. Большая и жирная зелёная «3». Я достаю длинный ключ из кармана (у меня есть свой собственный ключ, он уже давно наготове) и открываю холодной рукой железную дверь (на руке меховая перчатка, но она всё равно почему-то холодная).

Я внутри. Тихо. И крошечная тьма. «Опять свет отключили», – мелькает в голове тревожная мысль. Я знаю, что когда отключают свет, лифт не работает, но всё равно давлю зачем-то на кнопку. Лифт не едет. Я давлю снова. Лифт умер. Его зарезал маньяк. Я следующий; теперь он зарежет меня. Интересно, на каком этаже он притаился? Я застыл возле мёртвого лифта, палец на кнопке, я всё ещё не могу поверить в то, что он меня не повезёт. Он – предатель. Я ненавижу его. И как посмел он, подлец, подставить кабину под нож в такой ответственный час? Я отпускаю кнопку и пытаюсь припомнить, на каком этаже я живу. В голове всплывает жуткий ответ: «На седьмом».

Выбора нет. Я боюсь, но плетусь по ступенькам. Я понимаю, что непременно умру. Через какую-нибудь секунду – если повезёт – через две, – я буду зарезан. И для меня всё закончится. Не будет больше ни футбола, ни книжек. Ни «Матрицы» не будет по видуку, ни «Гарри Поттера». И мамы с папой тоже не будет. Интересно, сильно ли они огорчатся, когда найдут мою мёртвую голову? Наверное, сильно. Они же любят меня. Мама наверняка будет плакать, а папа скорчит свою излюбленную суровую мину и пробормочет угрюмо: «Как скверно ты поступил. Тебе кто умирать разрешал? Немедленно извинись». И моя мёртвая голова начнёт извиняться и обещать, что так больше не будет.

Я на втором этаже. Я всё ещё жив. Чего это маньяк забрался так высоко? Аж на третий этаж... Мог бы зарезать меня и на втором. Моё сердце терзают странные мысли. Почему я всё ещё думаю? Ведь я уже попросился со своей жизнью. Мне почему-то вспомнилась моя рыжая кошка. Папа купил её маме, когда меня ещё не было, а когда я родился, мама подарила её мне. Мама называла кошку Жасминкой, а мне нравилось говорить ей Жася. Для папы она всегда была просто Жасмин. Я вдруг подумал: а что если б прилетел ко мне какой-то колдун, предложил миллион долларов и сказал: «Вот тебе нож. Убей свою кошку. А не убьёшь – не дам миллион». Что бы я тогда сделал? Зарезал бы кошку или дулю колдуну показал? И я тут же думаю себе, что показал бы колдуну дулю – толстую и обидную. А если б взял я его миллион и зарезал всё-таки бедную кошку, то мне вмиг стало бы чудовищно стыдно и я бы горько заплакал. Я представил, как прихожу в школу на следующий день, показываю всем этот свой миллион и говорю: «А я кошку зарезал. И теперь я богач». И тогда в меня все начали бы тыкать пальцами, смеяться в лицо и дразнить: «Фу, он кошку убил! Зарезал ножом и получил миллион! Фу-фу! Продажный!» И вся школа бы об этом узнала, и меня повели бы к директору, а после уроков меня бы раздели до самых трусов, привязали к столбу на школьном дворе и стали бы швырять в меня камни. Но я бы никогда не убил свою кошку; и не потому что я боюсь столба и камней, а потому что я её люблю.

Третий этаж. Сейчас я умру. Где же ты, дядя маньяк? Выходи и зарежь меня поскорее. Только не больно режь. Я боли боюсь. И тебя я боюсь. Зарежь же меня, чтобы я не боялся. Жизнь перед глазами у меня уже промелькнула. Я готов.

Кончился третий этаж. Скоро четвёртый. Я всё ещё жив. А может, это всего лишь сон? Мне столько раз снилась эта гнусная темнота! В нашем доме часто свет отключают. Очередной жуткий, кошмарный сон. Прямо как прошлой ночью...

Тишина, темень, подъезд. И маленький напуганный мальчик – крадёт-ся бесшумно по так хорошо знакомым ступенькам, ступает твёрдо, но медленно – неплохо бы поспешить, но вместе с тем – страшно.

А маньяк? Разве был маньяк в моём прошлом сне? Кажется, не было. Значит, и сейчас его нет. Тогда почему мне так страшно? Я уже большой, мне десять лет, я не боюсь темноты. И маньяка не боюсь, и ножа его не боюсь. Потому что нет его – этого маньяка, и ножа никакого нет. Ведь сны не могут обманывать. Сны всегда настоящие.

Мне вспомнилось вдруг... Школьный лагерь. Дождливое летнее утро. Тамара Петровна загнала нас внутрь. Я стою в коридоре с девочкой Инной и хвастаюсь своей новой карточкой, которая попала мне в чипсах только вчера. Карточка редкая, о ней все мечтали. Я стою гордый и улыбаюсь. Инна смотрит на меня, как на чучело или на дурака, ухмыляется нагленько и показывает мне точно такую же карточку. И ей накануне подмигнула удача. Что-то дёрнулось в моей голове, и я вспоминаю последний свой сон: дождь, коридор, Инна и карточки. И чувствую себя волшебником. Сны не могут обманывать.

Пятый этаж. Никакого маньяка, но мне всё ещё страшно. Новая мысль: дедушка. Мне было лет восемь, когда он приснился мне в красно-чёрной рубашке. Я не видел его уже целую вечность, потому как он был в больнице, и очень по нему скучал. И в моём сне он тоже в больнице; он сидит на постели и что-то говорит своему брату. Тот приехал его навестить. И тут он теряет сознание и падает прямо в подушку. Я хорошо запомнил его рубашку. Она была красно-чёрная. В клетку.

Я проснулся, и мне взгрустнулось по дедушке. Я спросил у мамы за завтраком: «А когда ты повезёшь меня к дедушке?» Она сказала, что скоро, на днях, и после добавила: «К нему вчера приезжал дядя Вова... ты помнишь дядю Вову, сынок? Это дедушкин брат. Дедушка давно с ним не виделся. Они болтали, смеялись... А потом дедушке плохо стало, и он сознание потерял. Ты знаешь... как это бывает, когда люди теряют сознание? Вот и дедушка наш сознание потерял. Но сейчас с ним уже полный порядок. Врач говорит, на следующей неделе выпишут дедушку. Ты не переживай, сынок, чего ты переживаешь? Мы на днях съездим к нему. Обещаю».

Душа моя ушла в пятки. «А на дедушке какая рубашка была? Красно-чёрная?» – снова уставился я на маму с вопросом. Мама рассмеялась зачем-то и ответила тут же: «Кажется, красно-чёрная». – «В клеточку?» – «В клеточку».

Сны не могут обманывать.

Шестой этаж. Почти дома. Маньяка не существует. Всё так же темно. Сны всегда настоящие. Мама про тётю Вику рассказывала. Тётя Вика родила когда-то ребёночка. Она лежала там, где все тётки лежат, когда у них дети рождаются. Ребёночка на ночь унесли доктора, а тётя Вика уснула. Приходит к ней во сне покойная мать и улыбается счастливо: «Спасибо за внучку. Мы о ней позаботимся». Утром тётя Вика проснулась, а доктор говорит ей, что ребёночек её ночью умер. Так и живёт тётя Вика со своим мужем – без дочки, без сына. А у моей мамы есть сын. И у папы тоже. Они говорят, что он милый, послушный мальчик.

Седьмой этаж. Родной мой, любимый! Я больше не боюсь. Я дома.

Маргарита СМОРОДИНСКАЯ

Родилась в Подмоскowie. Имеет два высших образования: по филологии и психологии. Автор книги «Маяковский и Брик. История великой любви в письмах», вышедшей в 2014 году в издательстве «Алгоритм», ряда публикаций в различных журналах и сборниках.

Живет в Москве.

НЕОКОНЧЕННЫЙ РОМАН

– Выбросьте эти дурацкие цветы! Мне они не нравятся, – закричал молодой человек, едва войдя в комнату.

– Позвольте, а кто вы такой, чтобы тут распоряжаться? Я вас первый раз вижу. И чем это вам мои цветы не угодили? – возмутилась девушка.

– Да просто не нравятся мне они. Какие-то они желтые, тоску нагоняют, ей-богу. Выбросьте, не травите душу, – и молодой человек быстро вырвал цветы из вазы и отправил их в мусорную корзину.

– Да что вы себе такое позволяете? Вы эти цветы мне не дарили, не вам их и выбрасывать! – у девушки на щеках вспыхнул румянец от гнева.

– Не кричите. Вам это не идет. Я куплю вам другие цветы. Розы. Вы любите розы?

– Люблю.

– А зовут вас как?

– Маргарита.

– Маргарита?

– Да. А что вы так удивляетесь? Это не такое уж редкое имя в наши дни, – на лице девушки появилась кокетливая улыбка.

– Да нет, просто... – молодой человек замолчал, не зная, что сказать.

– А вас как зовут? – поинтересовалась девушка.

– Зовите меня просто Мастер.

– А вот теперь настала моя очередь удивляться, – захохотала девушка. – Что, тот самый?

– Тот самый. Как ни крути, – вздохнул молодой человек.

– Как-то странно мы с вами встретились. Неожиданно. Столько лет уж прошло, – смутилась Маргарита.

– А вы все такая же красивая... и загадочная, – снова вздохнул молодой человек.

– А вы все такой же... такой же... невозможный.

– У меня такое странное чувство. Как бы вам это объяснить... У меня будто все трепещет внутри от переполняющих меня чувств. У меня такой восторг внутри, как будто фейерверк взрывается. И в то же время мне как-то неловко, – тихо сказал молодой человек.

– Да перестаньте же. Дайте мне вашу руку. Я ведь как будто чувствовала, что сегодня что-то случится. Сердце так и колотилось с утра в груди. Только я понять не могла, отчего это. – Маргарита взяла руку молодого человека и начала целовать ее быстро, как будто боялась, что он сейчас исчезнет. – Как же долго я вас ждала. Вы же теперь никуда не денетесь, правда? Правда? Скажите, умоляю вас!

– Что вы, Маргарита? Конечно, нет. Куда же я от вас?

– Знаете, мне столько нужно вам рассказать, – начала девушка.

– Мне тоже. Мне тоже столько всего нужно вам рассказать, – перебил молодой человек. – Вы даже представить себе не можете, сколько всего случилось.

– А со мной самые настоящие чудеса приключились. Вы только послушайте...

Девушка и молодой человек смеялись и плакали одновременно.

В самый неподходящий момент дверь открылась, и вошел немолодой уже мужчина с аккуратно подстриженной бородкой в сопровождении более молодого человека в очках.

– Аникеев? Да что же это такое в конце концов? Ты опять по палатам шляешься? – громко спросил мужчина с бородкой. – Сколько раз тебе можно говорить, что нельзя это. Еще раз увижу, под замок тебя посажу. Ну а ты, Марья Николаевна, что тебе спокойно-то не сидится? Только перевели сюда, а уже, поди, роман закрутила? Пойдем, Аникеев, таблетки принимать пора. Ну что мне с ними делать, Александр Иванович?

– И не говорите, Эдуард Кузьмич. Одни проблемы, – согласился Александр Иванович.

Эдуард Кузьмич взял Аникеева под руку и начал выводить из палаты.

– Маргарита! – закричал молодой человек. – Я приду к тебе. Только жди меня! Жди! Я тебя так люблю! Если бы ты знала.

– Я знаю... – прошептала Маргарита вслед своему удаляющемуся Мастеру.

– А что-то в них есть такое, Эдуард Кузьмич, – начал Александр Иванович. – Что-то настоящее, чего нет в обычных людях. Они ведь, как правило, испорчены, эгоистичны, думают только о себе, совсем нет никакой романтики. Сами знаете.

Эдуард Кузьмич посмотрел в сторону Аникеева:

– Несчастные они люди, Александр Иванович. Просто несчастные люди.

– Не знаю, не знаю. Тут еще большой вопрос, кто из нас более несчастен: мы или они... – задумчиво произнес Александр Иванович.

Мастер и Маргарита сидели каждый в своей палате и смотрели в окна на проплывающие облака.

«Наверное, снова пишет. Для меня», – думала Маргарита, и счастливая улыбка озаряла ее лицо.

«Маргарита, жемчужина моя. Главное, что ты нашлась, что ты рядом. А все остальное неважно», – думал Мастер и тоже улыбался.

Стихи по кругу

Мария ЗАТОНСКАЯ

Саров

* * *

Этот камушек, выпавший из кошелька
в поезде Москва – Березино,
напомнил о Волге, плывущей за горизонт,
о чайках над головами туристов,
о плеске воды – почти той же,
в которой плавает чайный пакетик
с запахом бергамота.

* * *

Первый день без тебя занесло снегом
к чёрту,
к богу,
к поискам книги, в которой объяснялось бы,
зачем мы сходимся с этими или теми.
Вроде бы выяснила, что мы
состоим из встреч и не-встреч,
из случившегося и не.
Из того, например, как в соседней квартире
рыбу жарят,
как пахнет извёсткой из сырого подвала,
а после –
светом – когда выхожу в снег,
на котором рассыпаны
чьи-то следы.

* * *

Счищали со щёк детство,
рыхлили,
вскапывали юность лопатой.
Заодно с сорняками тугими
с корнем драли цветы.
Господи, может, осталось семечко в глубине
(у самого центра земли,
спряталось, не проросло тут) –
пусть его не найдут.
пусть его не найдут.
А то видишь – теперь только мокрая яма, в которую
потом принесут и положат
моё же тело пустое.

* * *

Полустанок в глуши.
Ни людей, ни чемоданов – тихо.
Поезд сипит, проводница курит,
вздыхает.
Вот так сходишь – и никто не встречает,
жалобная тропинка петляет к баракам.
Думала, это страшно –
когда в темноте, когда некуда дальше.
Но со временем глаз привыкает к мраку,
различает поле –
колосок к колоску,
травинка к травинке.

Елена ФРОЛОВА

Москва

* * *

Мысль о тебе всё чаще кажется странной,
чужой, как будто бы вовсе и не моей.
Где-то над океаном бредут караваны
с погонщиками, закутанными до самых бровей.

Халаты их пропитаны пылью горькой,
по загорелым лицам не ясно кто млад, кто стар.
Мне бы стать танцовщицей красивой и гордой,
чтоб танцевать погонщикам танец, тот, живота.

Звезды пустыни дрожали бы от смущенья
и от ревности, у каждой ведь свой погонщик.
Мой танец – это танец прощенья и мщенья,
и прощания. Но ни слова больше

о том, что сделали на утро в том караване
погонщики с недостижимой танцовщицей
тонко кованными инкрустированными ножами
от невозможности ни полюбить, ни насладиться.

* * *

Кто-то там наверху, потирая спросонья глаза,
Вдруг решил, что сегодня все будет наоборот.
Например, эта девочка, легкая, как стрекоза,
И вот этот вот мальчик, огромный, как плюшевый кот,

Неожиданно встретятся, станут смотреть на луну,
Пить плохое вино и смеяться над этим потом.
А когда он уедет в свою голубую страну,
Она будет в своей выходить на уютный балкон

И просить то ли звезды, а то ли кромешную тьму,
Чтобы мальчик был счастлив, спокоен и чтобы опять
Вопреки всем законам Вселенной и даже Ему
Пить однажды плохое вино и по небу бежать.

* * *

Спустившись от кафе «МОМО» к причалу,
присев в углу на самом на краю,
я по тебе скучаю и скучаю
и бесконечно с морем говорю.

Мне поддувает в спину тихий ветер,
ежи морские смотрят с глубины.
Зачем мы есть с тобой на этом свете,
когда друг другу больше не нужны?

Корабликом, баркасом или яхтой
отсюда на тот берег отвезет
любви моей смешные артефакты
просоленный уставший мореход.

А крошки от вчерашнего десерта
склюют с руки две чайки у воды.
А камушек в груди по форме сердца –
он с дырочкой.
От прожитой беды.

Мстислав ШУТАН

Нижний Новгород

* * *

Утёс на Волге. Нить рельефа
Так прихотлива, как волна.
И кажется: из барельефов
Его песчаная стена.

Смотрю и вижу галерею,
И вдоль неё легко плыву.
И, очарованный, немею.
И взглядом Мастера зову.

Женский взгляд

Когда весь мир густым туманом
Заволокло, заволокло
И только робкий лучик странно
Пробиться хочет сквозь стекло,

Когда все милые предметы
Чужими стали для тебя
И все счастливые рассветы
Ты забываешь, не любя,

Когда фальшивый звук жестоко
Испортил ладный звукоряд –
Спасает мир, его истоки,
Не мудрость чья-то – женский взгляд.

* * *

Плохо верится в силу добра.

Н.А. Некрасов

В силу добра можно верить,
Если простор для ума,
Если распахнуты двери
В милые сердцу дома,
Если двух душ единенье
Чуткую душу родит,
Если эпоха борений
Память о Боге хранит.

Если... А хочется утром
Выйти к дороге лесной —
Быть не наивным, не мудрым,
Гордой любясь сосной.
Солнце косыми лучами
Гладит её по стволу.
Радости где-то, печали...
Я здесь ещё постою.

Илья КРИШТУЛ

Москва

* * *

Я бы с удовольствием отсюда уехал,
Жил бы в Европе или лучше на островах,
И просыпался б от женского смеха,
От голосов на чужих языках...
Иногда болел бы душевной болезнью,
Как на Руси называли запой,
И вспоминал бы, как его – железный? –
Занавес. Или какой-то другой...
Я б не страдал без могил и берёзок,
К тому же берёзки можно купить,
Туда привезти, посадить. Стол из досок
На радость туземцам во дворе сколотить...

Взять самовар в лавке у наших,
Возложить перед ним перо и тетрадь,
И пересоленный суп черепаший
Деревянными ложками из миски хлебать...
А потом, отрыгнув, записывать рифмы –
«Россия – косые» и «Русь – я вернусь»,
И размышлять, какие мы скифы
И откуда у хлопца испанская грусть...

Я бы с удовольствием отсюда уехал,
Поселился б в Европе или на островах,
И просыпался б от громкого смеха
Смуглых охотников на черепахах...
Мне бы не снились родные могилки,
Только б я думал, встав поутру –

«Вот интересно, а пуля в затылке
Застрелит, если ствол приставить ко рту?»

Александр КОНОПКИН

Саров

* * *

Скрипучий мост протянут над рекой –
Махрятся тросы, ржаво плачут блоки,
И пожилая женщина с клюкой
Застыла на мосту как на пороге,
Как будто, наконец, дошла домой,
Но силы вышли и ослабли ноги.

Июль, жара, пропитан солнцем день,
Вода в реке коричнево-прозрачна,
И вётлы вдоль воды – под ними тень.
Ты вдруг спросила: «Слышишь, вётлы плачут?
Я в детстве к ним ходила в темноте
Подслушивать... А дед ходил рыбачить».

Водила пальцем: «Там стоял сарай,
За ним дорожка к дому и качели.
А видишь, вдалеке остатки свай –
Там был причал, мы с братом там сидели,
Закутанные в старый размахай.
И соловьи о чём-то важном пели...

Мы с бабушкой пололи огород,
Пока не жарко. Я потом сбегала –
Мне шёл тогда всего девятый год,
И мне тогда всего казалось мало:
И лета, и травы, и даже нот,
Что я из пианино извлекала.

Но город вырос, старый дом исчез.
И люди равнодушно ходят мимо,
Ведь здесь для них – одно из многих мест,
А мне сюда порой необходимо:
Я тут росла, я тут ждала чудес,
Тут запах детства и печного дыма...»

Задумчиво смахнула комара
И, посмотрев тожественно и строго:
«Как думаешь, когда придёт пора,
Мне можно будет попросить у Бога,
Чтоб за мостом качели, пыль, жара,
И бабушка встречает у порога?»

* * *

Погасло небо. Выгорел закат.
Родители зовут домой мальчишек.
Дома поглубже натянули крыши
И сонные, нахохлившись, стоят.

В настольных лампах кончился уют,
В настольных книгах замолчало слово.
И рыбаки, вернувшись без улова,
Обиженно портвейн по кружкам льют.

На тёплом люке кошка собралась
В пушистый ком и смотрит равнодушно,
Как в комнатах взбиваются подушки
И гаснут люстры. Всё готово спать:

В безветрии замрёт рыбацкий пруд,
Земля притормозит с протяжным стоном.
И даже смерть на несколько минут
Заснёт в углу, поникнув капюшоном...

Из будущих книг

Олег ДЕМИДОВ

Родился в 1989 году Москве. Окончил филологический факультет Московского государственного педагогического института. Поэт, публицист, литературовед, исследователь жизни и творчества имажинистов.

Составитель книги «Циники: роман и стихи» (М.: Книжный клуб «Книгозвек», 2016), а также двух сборников сочинений – Анатолия Мариенгофа (М.: Книжный клуб «Книгозвек», 2013) и Ивана Грузинова (М.: Водолей, 2016), автор биографии «Анатолий Мариенгоф: первый денди Страны Советов» (М.: Редакция Елены Шубиной, 2019), двух стихотворных сборников. Литературоведческие статьи публиковались в журналах «Нижний Новгород», «Сура», «Сибирские огни», «Октябрь», Homo Legens, публицистика – на порталах «Свободная пресса», «Кашин», «Перемены», Textura и «Rara Avis: открытая критика».

Живёт в Химках.

НОРМАЛЬНЫЙ, КАК ЯБЛОКО*

Главы из биографии Леонида Губанова

Контрасты, каверзы и рифмы

Жизнь любит контрасты, судьба – каверзы, его величество случай – рифмы.

Поэтому будущий поэт (по)явился на свет в такой необычной семье: один дед – сбежавший из ссылки революционер, второй – начальник нескольких колоний, отец – инженер, мать – работник милиции. Ничто не предвещало не то что гения, а самого обычного гуманитария. Должен был получиться ещё один среднестатистический гражданин СССР, окончивший школу (ну, или в силу бунтарского характера – ШРМ), работающий от одного заводского гудка до другого, в свободное время предпочитающий приключенческую и научно-познавательную литературу (куда ж без неё?), танцы и драки в местном ДК и, может быть, футбол, но не как часть здорового образа жизни и тем более призвание, а скорее как любимое нашим народом спортивное шоу**.

* Книга планируется к выходу в «Редакции Елены Шубиной».

** Анатолий Мариенгоф говорил: «[Театр] третье тысячелетие падает. Уже в Древнем Риме трагика победил комедиант, комедианта — акробат и акробата — гладиатор. <...> А вот то, что в конце концов футбол победит Станиславского

Как же так получилось, что молодой человек из рабочей семьи выбрал для себя писательский путь?

Здесь уместно ввести жизненную рифму и вспомнить Иосифа Бродского и Эдуарда Лимонова.

Оба – из той же когорты семей советской рабоче-служащей аристократии. У первого отец – морской офицер и профессиональный фотограф. У второго – офицер НКВД, радист и, как недавно выяснилось, шифрующий дворянин. И тот и другой должны были пойти по стопам родителей (в крайнем случае сделать достойную рабочую карьеру). Бродский собирался в морское училище, но его туда не взяли из-за «пятого пункта». В итоге так и не окончил школу. Лимонов должен был поступить на историко-филологический факультет Харьковского университета, но быстро заскучал на приёмных экзаменах и решил, что студенческая жизнь не для него.

Оба избрали для себя асоциальный путь, случайные заработки и поэзию.

Как к этому пришёл Губанов?

Его старший брат, не кончив школу, поступил на отцовский завод. Протекция – понятное дело. Но дальше сказались чисто губановское упорство и, видимо, наследственность: Владислав стал работать в очень и очень ответственном подразделении – в цехе окончательной сборки самолётов.

Подобный жизненный путь: школа, завод, научная карьера – ждал и Леонида. Но уже на первом этапе начались проблемы.

Асоциальное поведение обычного подростка может проявляться в курении, драках, распитии спиртного, ранних половых связях, вхождении в низшие слои уголовного мира. Но у нас ведь не обычный подросток, а гений (и по самоопределению, и по внешним характеристикам). Что вытворяют такие дети?

Старший брат рассказывал: «Один раз Лёня с Сашкой, соседом по даче, на юг сбежали. Не то что из дома убежать хотели, просто “посмотреть”. Когда денег уже не было, они яблоки ели, смотреть на них потом не могли... Деньги на обратную дорогу им, наверное, высылали. Ещё подростки были...»

Примерно в это же время, в 1958–1959 годах, сбегает из дома и путешествует по Крыму «молодой негодяй» Савенко. Он успевает поработать в чайхозах, исходить полуостров вдоль и поперёк и встретить Новый год на тюремной скамье в Алуште.

А вот и ещё один эпизод в пересказе старшего брата: «Как-то Лёня со школьными приятелями взял машину у отца, катались-катались и с испугу врезались куда-то, передок весь побили. Кто за рулём был, не знаю. Никто не погиб, но машина была здорово покорёжена. Для Лёни это было сильное потрясение, очень боялся, что отец его ругать будет...»

Приятель – это Борис Пишугин по кличке Пижон. Его отец – главный врач одного военного госпиталя, не лишённый артистизма, умел играть на гитаре, декламировал Маяковского. Да и сам Пижон в этом плане от отца не отстаёт. Словом, компания что надо. С таким и надо машину угонять да девочек цеплять.

и Мейерхольда, в этом я не сомневаюсь». – Подробней см.: Мариенгоф А.Б. Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги // А.Б. Мариенгоф. Собрание сочинений в 3 т. (в 4 кн.). Т. 2, кн. 2.

Это, конечно, не выходки золотой молодёжи, но выкрутасы, скажем так, позолоченной. В отличие от более именитых сверстников Губанов всё-таки пытается «дойти до самой сути», познать жизнь, найти в ней смысл, прикоснуться к прекрасному и т. д.

Вильям Мейланд, один из старинных друзей поэта, рассказывал о тайном путешествии в Загорск: «В Троицко-Сергиевой лавре был самый большой летний праздник – день Святой Троицы. Мы это поняли ещё в электричке. Народа было пугающее количество. В лавру пошли из любопытства. В один из главных храмов попали сразу, а выйти уже не смогли. Толпа верующих была слишком плотной. Забились с Лёничкой в какой-то угол и стали ждать, что будет дальше. Когда стало посвободнее, около нас остановился священник и с ним какая-то женщина, бедно одетая, с безумными глазами. Она увидела нас и стала кричать, указывая на священника: “Сотворите, сотворите свою детскую молитву за этого грешника!” Мы испугались и стали пробиваться к выходу».

Леонид Юзефович как-то заметил, что литература может быть чем угодно, но только не искусством. Проза – так точно. А вот поэзия – максимально приближена к искусству, но... она всегда о вечном, она вне времени. У прозы же, даже самой гениальной, есть срок годности. Поэтому – это уже домысливаю я – поэзия (и писание стихов, и их чтение) сродни духовной практике.

Может быть, Губанов (как и многие молодые люди его поколения), уставший от школьной подёнщины, пытается бунтовать и одновременно воспарять над мирским?

Литературная студия на Ленинских горах

1 июня 1962 года открылся Московский Дворец пионеров. Это должна была быть безумная по архитектурной задумке и долговременная стройка. Помогли её реализовать школьники, студенты и добровольцы. Общими усилиями справились за несколько лет: 1958–1962.

Помимо масштаба и грандиозности сооружений был ещё... зимний сад – с пальмами, лианами, фонтанами, бассейнами со всякой растительностью и прочей экзотикой. И рядом – всевозможные бесплатные детские кружки и секции. Это не только колоссальные денежные вложения, но и постоянный человеческий труд.

Думаешь про подобные проекты – и понимаешь, что это просто иная цивилизация.

На открытие Дворца пионеров приезжал Хрущёв. Легко представить эту картину: жара, июнь, Воробьёвы горы, у Дворца пионеров стройные колонны детей; в первых рядах, конечно, Губанов, а вот идёт Хрущёв – неторопливо, пожимая протянутые руки; останавливается перед юношей:

- Как звать-то тебя, пострел?
- Лёня Губанов.
- Чем занимаешься, Лёня Губанов?
- Пишу стихи.

– Это хорошо! Это правильно. Стране нужны поэты, чтобы воспевать наше великое строительство – строительство коммунизма.

И идёт дальше.

А молодой человек стоит да думает, что с ним только что произошло. Правда ль это, сон ли наяву? Но о великих стройках он уже пишет.

Пару месяцев назад, 30 марта 1962 года, в «Пионерской правде» напечатали губановские «Стихи о тайге»:

Мне приснилась вчера тайга
И продрогшие кедры в шапках,
Звёзды хрупкие ночь зажгла
Над заснеженной палаткой.

Видел я, как вставали люди
И как падали в снег леса...
И сибирские трудные будни
Говорили о чудесах.

Дальше начинаются типичные соцреалистические сентенции о строителях новых городов, о светлом будущем и об очаровании тайгой. Ещё не видны, но уже намечаются неточные рифмы. Образы позаимствованы у Есенина, крестьянских поэтов и поэтов новокрестьянской купницы. Нетрудно представить, что изучали слушатели литературных мастерских.

В студии на Ленинских горах преподавала Вера Ивановна Кудряшова. Лариса Румарчук оставила такой портрет своей коллеги: «...пожилая, с гладко зачёсанными волосами, в блузке с жабо, заколотым тяжёлой старинной брошью. Как я потом узнала, Вера Ивановна была заслуженной учительницей и вела эту студию со дня её основания (когда ещё студия помещалась в Доме пионеров и октябрят в переулке Стопани. – *О.Д.*). А организована она была Надеждой Константиновной Крупской для литературно одарённых детей».

Компанию ей составляла, собственно, Лариса Ильинична Румарчук – однокашница Евтушенко и Ахмадулиной по Литературному институту. Они что-то рассказывали. Объясняли азы писательского мастерства. Молодые люди робко читали свои первые стихи. Вместе обсуждали. Обычный процесс. Как везде.

Владимир Черкасов-Георгиевский, тоже посещавший это лито, рассказывал, как студийцы принимали нашего героя: «Не любили там Лёню по естественности – искромётной талантливости, брызжущей из стихов, как слюна с его губ, когда Губанов в декламации “заходил-ся”. <...> Лёня никогда не скандалил, не выяснял взаимоотношений, не “разбирал” произведений других. Он приходил для того, чтобы поведать нам стихами о своём житье-бытье, с товарищеской улыбкой послушать артель, помолчать и поговорить после собрания на какие-то простецкие темы».

Примерно в это же время пишется стихотворение «Блокада» – ещё традиционное, с предощущением будущего собственного стиля. Здесь, видимо, была прочитана книга «Денискиных рассказов» В.Ю. Драгунского, а конкретней – «Арбузный переулок», сюжет которого и становится основой стихотворения. Возможно, это было заданием Кудряшовой и Румарчук – переложить прозаическую историю:

Был мёртвый закат 43-го в мире,
Был город, был голод на синих губах,
Блокадная осень на траурных крыльях,
Гробы на горбах.

Был город, был гордым, но голым и нищим,
Бродячие листья, уроды-дома,

В них жили мальчишки, без песен, без писем,
Мальчишки без мам.

<...>

Был мёртвый закат, как кровавая тина.
А мальчикам снились арбузы с картин.
Арбузы, арбузы, арбузное небо,
Но семечек-звёзд не бывает и не было.

<...>

Кто знал, что мальчишка умрёт перед летом
С рисунком арбуза, и с болью планеты,
Арбузы, арбузы, арбузное небо.
Но не было мамы и хлеба ведь не было!*

В такой обстановке важным становится не столько обсуждение и тем более посещение такой студии, сколько контакт с учителем. Или, как в иных студиях говорят, с мастером. Чтоб снять этот вопрос, можно привести отрывок из стихотворения Румарчук, где как раз показывается Дворец пионеров:

Мы сюда приходили несмело,
И, на пальце крутя номерок,
Поднимались по лестнице белой
Записаться в любимый кружок.

И отсюда, из этого сада,
Наклонившись, поднялся в полёт
И упал на траву виновато
Первый склеенный твой самолёт.

Это неплохие стихи, но не близкие Губанову. Судя по всему, никакого контакта с Кудряшовой и Румарчук у него не было, иначе бы он задержался в этой литературной студии.

Но... всякий опыт необходим.

Что даёт литературная студия Дворца пионеров?

Во-первых, знакомства. Отсюда вышла ошутимая часть будущей смогистской банды: Сергей Морозов, Владимир Батшев, Татьяна Реброва, Александр Васютков.

Во-вторых, теорию и практику стихосложения никто не отменял. На занятия приходили известные литераторы и литературоведы: пушкинист Сергей Михайлович Бонди, не нуждающийся в представлениях Корней Иванович Чуковский, молодые поэты Фазиль Искандер и Олег Чухонцев, наконец, Сергей Баруздин – секретарь правления Союза писателей, а чуть позже главный редактор журнала «Дружба народов».

В-третьих, литературная студия обеспечивала бесплатные поездки по Подмоскovie и по «Золотому кольцу».

Как итог пребывания во Дворце пионеров появляется сборник «Час поэзии», подготовленной всё той же Румарчук. Правда, сборник залежался и вышел в 1965 году. В нём ещё несколько знаковых имён – Ольга Седакова, Александр Васютков, Сергей Морозов и Татьяна Реброва. К уже известным и проходным в советскую печать «Стихам о тайге» добавляются «Страницы детства»:

* Здесь и далее в цитатах орфография и пунктуация оригинала.

Наш тротуар в морщинах-трещинах,
Избит, истоптан каблуками.
Он шумных улиц руки скрещивает,
Большие, твёрдые, как камни.

Он постарел и сильно вылинял,
От времени неровным сделавшись,
Но сохранил рисунки, линии
Голубоглазых хрупких девочек.

<...>

Мне жалко, что листву ворочая
И пряча по карманам булки,
Придут сердитые рабочие
И ломом разобьют рисунки.

Всё это в принципе неплохо, но чувствуется, что стилистически не губановское. Может быть, так кажется, но никуда от этого чувства не уйти: вымученные тексты, написанные публикации ради, к тому же и не сумевшие как следует помочь.

Беда ещё в том, что к моменту выхода «Часа поэзии» (а он вышел не раньше июня 1965 года) Губанов состоялся как видный неподцензурный деятель культуры. Намеренно пишу так: уже не просто поэт, а деятель культуры. Думается, если б наша бюрократическая машина не затянула с печатью сборника, у Губанова случались бы и не один раз иные «советские» публикации. Правда, и поэт бы у нас был тоже иной – мастеровитый середняк.

Но надо отдать Губанову должное: он напрочь забывает и «Пионерскую правду», и «Час поэзии» – и с какого момента начинает искать ещё большей свободы. Необходимо что-то ещё.

Неофутуризм

Начитавшись доступных томиков Пастернака и Маяковского, «Полутораглазого стрельца» Лившица (вряд ли же читались новые сборники ещё живых футуристов Кирсанова, Асеева, Сельвинского, Каменского, Ивнева или кого помельче?), Губанов решает изобрести велосипед – неофутуризм.

Таких отчаянных юношей было много ещё во время расцвета футуризма – в самом начале 1910-х. Вслед за кубофутуристами появились эгофутуристы, «Петербургский глашатай», «Мезонин поэзии», «Лирика» – это была основа основ. А ещё существовал десяток микро-групп и множество одиночек, которые вполне могли прибавить приставку «нео» к своему будетлянству.

Впервые же эта приставка возникла в 1913 году – в казанском сборнике «Нео-футуризм. Вызов общественным вкусам». Конечно, то была пародия и насмешка. На страницах издания красовались в основном угловатые кубистические рисунки, но были и стихи. Например, такие:

Тигр тигристый
Бежал по пустыне
Увидел спящего путника.
Взалкал характер дико-игристый.
На путника кинулся тигр

Кровь жадно пил.
 На всю пустыню вопил.
 А путник не знал, не ведал,
 Что тигр им пообедал.

Посмеялись – идём дальше. Уже в 1920–1930-е годы всякий молодой человек, желающий писать ярко и эпатажно, начинал либо с подражаний зауми Алексея Кручёных и компании (взять хоть обэриутов), либо с провозглашения неофутуризма. Одним из таких начинающих поэтов был Николай Глазков. С конца 1930-х годов он тесно общался с Лилей и Осипом Бриками. Познакомился у них с Кирсановым, Асеевым, Кручёных и Мариенгофом. В 1939-м вместе с Юлианом Долгиным основал «небывализм». Им удалось выпустить два машинописных сборника.

Но возникает вопрос: был ли это действительно неофутуризм?
 Возьмём в качестве примера стихотворение «Гоген» (1939) Глазкова:

Ее зовут Байраумати*.
 И буйволы бегут.
 И я её не на кровати,
 а на берегу.

У него было ещё очень похожее, столь же эротоманское стихотворение:

На диване
 Надю Ваня.

Нечто подобное писал и Долгин, и остальные менее приметные молодые поэты. Пытались подражать кручёныховской зауми. Но в основном – вот такой примитивизм.

То есть тоже мимо.

Что же Губанов? Изобретает он что-то новое, дерзкое и эпатажное?

Владимир Бондаренко писал, что наш герой «... в 1963 году составил самодельный сборник “Первое издание неофутуристов”». По воспоминаниям Батшева, к работе над этим изданием привлекались ещё Валентин Волшаник** и Игорь Грифель.

Сам Губанов описывал этот период чуть иначе: во-первых, не 1963***, а 1962 год, а во-вторых, народа больше и больше экспрессии: «Когда говорят разбитые окна, форточка слушает, открыв рот. И так, это было в 1962 году. Два штриха. Потому что давно – и правда. Осенью 1962 года Л. Губановым был организован неофутуризм. Семь человек и одна девочка. Девочка не человек»****.

Вот бы Губанов удивился современной повестке дня, когда за эпатажную фразу «Девочка не человек» одиозные головы устроили бы

* «Её звали Вайраумати» (1892) – картина П. Гогена, написанная в полинезийский период творчества.

** Волшаник Валентин Иосифович (1944–2013) – художник. Учился в Киевском художественном институте и в Московском институте им. Сурикова, работал в книжной графике и оформителем афиш в кинотеатрах. За фальшивомонетничество был осужден, отбывал срок в колонии-поселении. Затем все бросил и ушел жить при монастыре, где и провел последние 10 лет. Реставрировал иконы.

*** Возможно, Владимир Бондаренко отталкивается от 1963 года именно потому, что в это время умирает Николай Асеев и, кажется литературоведу, должно возникнуть молодое поэтическое движение, которое подберёт упавшее знамя футуризма.

**** Крохин Ю. Профили на серебре: Повесть о Леониде Губанове. М.: Обновление, 1992. С. 101.

Литературная студия М.М. Шур

Наш герой вспоминал, с чего начинался переход от неофутуризма к новому звучанию: «Что ещё – музыка и свечи. Поношение прошлого. Гоношение в собственных ушах. Неофутуризм сдох в полугодовых пелёнках. Губанов писал и ругался матом. Мы ничего не знали. Но что-то получилось. И было очевидно, как трёшка на водку. Когда простужены, кушайте клубнику».

Вильям Мейланд приводит своего друга в новую литературную студию – в библиотеку им. Фурманова. Случилось это в 1962 году. Всем заведовала Мария Марковна Шур. Она в своё время рассказывала, что жила в том же доме, где и находится библиотека. Писала стихи. Захаживала и старалась на абонементе брать что-то новенькое из советской поэзии. Увидев такой недюжинный интерес к поэзии, библиотекари предложили Марии Марковне создать и вести литературный кружок. Естественно, на общественных началах, то есть бесплатно.

«Ах, Рассея, ты моя... Рас... сея...» – выдохнешь по такому случаю и дальше продолжишь восстанавливать историко-культурную канву.

С одной стороны, создание литературного объединения не принесёт никаких средств. С другой стороны, это хороший шанс создать собственную среду, найти единомышленников. Этим Шур и занялась.

Мейланд запомнил двух поэтов из этого лито – Бориса Барышникова и Игоря Антонова. Первый был прост и понятен, как телефонный справочник. Второй же подражал Маяковскому: был обрит наголо и писал с «какой-то общей “маяковской” мощью и немного пугающим “дымком шизофрении”».

Из заметных фигур были ещё Илья Габай* и Наталья Горбаневская**.

Шур говорила, что студийцы, пришедшие из простой советской школы, не знали настоящей культуры – древнерусской, Золотого и Серебряного веков. Были обычные подростки с зашоренным сознанием, в котором патриот Маяковский, борец с царским режимом Пушкин да сделавший себя Горький.

Как вы помните, это было и так, и не совсем так.

В школе Губанову давали что-то новое, яркое, самобытное. Другое дело, что он не брал всё это из казённых рук. А тут иная обстановка, доверительная, дружеская, свободная. Как не приобрести новые знания?

Мария Марковна читала и разбирала со студийцами поэзию Велимира Хлебникова, Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама, Бориса Пастернака. Разок отвезла юных поэтов на могилу Пастернака. И это правильно: надо своими ногами пройти по сакральным местам, своими руками прикоснуться, может быть, к деревцу, посаженному поэтом, своими глазами увидеть то, что составляло и составляет окружающую действительность, в которой приходили гениальные строчки и творились нетленки.

Атмосфера была настолько притягательной, что Губанов начал таскать своих друзей-приятелей со школы, со студии Дворца пионеров и бог знает откуда ещё – домой к Марии Марковне или к ней на дачу в Болшево (сегодня это один из районов подмосковного Королёва).

* Илья Янкелевич Габай (1935–1973) – педагог, поэт, писатель, сценарист, участник правозащитного движения 1960–1970-х годов.

** Наталья Евгеньевна Горбаневская (1936–2013) – поэтесса и переводчица, правозащитница, участница демонстрации 25 августа 1968 года против ввода советских войск в Чехословакию.

Что за стихи пишутся в этот период?

Юноша переполнен: в нём грохочут забубённая молодость с дурной головой, пульсирующее чувство слова, увенчанное изысканными рифмами, а самое главное – античный рок, фатум, судьба. Уже всё предопределено – и всё очень точно прописано в поэме «Помпея»:

Как страшно, Ночью, не рисуя,
Услышать боль, как вой Везувья.
Когда он прёт, гремит в груди
Готовый вырваться, сгубить!
Лежу на траурных постелях
Несчастной маленькой Помпеи.
Без слёз, без песен, и без гимнов.
А вдруг не выживу, – погибну!
Вдруг ночью пережжённой, чёрной
Всё полетит куда-то к чёрту
Мои глаза, азарт, грехи
Мои полотна и стихи
И то, что я вчера в слезах.
Никак не мог тебе сказать!

Под небом огненным, распоротым
Я гибну грубым гордым городом
Безумной мордой в небо тычась
В огне, во мне, умрёт сто тысяч
Сто тысяч губ, детей, тревог.
Забывтый небом медный бог.
<...>
Я ухожу, мой мир над бездной
Как и Христос, я не воскресну!
Пожаром звёзды обжигая
До лавы славы умираю!
Над римами, рабами, реками,
Миры мои поют мой Реквием,
У вечера, у Паганини
В смычках антенн, по струнам ливней!

Поэт наконец в полной мере может прочувствовать свой дар. Где-то глубоко внутри него клокочет бешеная сила. Он выплёскивает её на бумагу. Губанов заводил толстенные амбарные книги – только такие и могли уместить всё написанное.

Его поэтический гений шёл от постоянной внутренней работы, от духовного роста. Это хорошо понимала его последняя жена Наталья Кирилишина. Она писала: «Ведь гений <...> это в переводе значит дух, то есть получается поэзия духа, духотворчество, духовная поэзия».

Но помимо духотворчества шла непрерывная богемная жизнь.

В прокуренции

Поиски свободы и единомышленников продолжались. Возраст уже позволяет скопить денег и отправиться в кафе, где можно выпить, закусить, почитать стихи, а в «прокуренции» поспорить о прочитанном и об услышанном.

Тот же Владимир Черкасов-Георгиевский называл несколько важных точек, где можно было встретить юных баловней муз: «Самая вольная тогдашняя тусовка Москвы была в молодёжных кафе. “Кафе молодёжное” – “КМ” – “КаэМ” на улице Горького (теперь снова Тверская), “Аэлита” на Оружейном переулке, за его пересечением Каляевской улицы (теперь снова Долгоруковской); “Синяя птица” в переулочке от улицы Чехова (теперь снова Малая Дмитровка). Всё это в одном столичном пучке, на “центральной” площадке, которую юными худыми ногами прошагаешь за 20 минут. Мы орал друг другу свои стихи за столиками вперемешку с портвейном».

А стихи тогда были ещё простые и ясные. Авангардистский нерв в них только нащупывался*.

Сегодня, дед, опять проклятый день
С холодным сердцем, руганью и рванью.
Скулят дожди по спинам деревень,
Да стынет кровь перед рассветной ранью.

Ну что мы знаем в этот миг, старик?
Что этот мир не так красив и бросок?
Что ножницами-ливнями он стриг
Блондинкам-липам ветреные косы.

Да, он бывает жестким и глухим,
Ведь мы живем на палубах планеты,
Где жизнь смывает лучшие стихи
Погибших в качках мальчиков-поэтов.

Где вместо мачт стоит лишь крест Христа,
Где паруса, как тучи в черных дырах,
Где свет России, как больной кристалл,
Лежит на сердце каменного мира.

Ещё одно важное для той поры кафе – «Националь» – описывает Лев Прыгунов: «...было как бы три поколения, каждое из которых смотрело на более младшее с некоторым пренебрежением, а младшее, наоборот, с восхищением на старшее. Старшее со средним, как правило, перемешивалось, в зависимости от талантов и способностей тех и других. Врачи, адвокаты, подпольные цеховики, “каталы”, т. е. профессиональные картёжники, литераторы и поэты всех возрастов, художники и скульпторы, режиссёры, драматурги, фарцовщики-валютчики-иконники, кагэбисты и стукачи, которые могли быть одновременно всеми перечисленными, проститутки, сутенёры, и прочее, и прочее. И почти все почти про всех почти всё знали или догадывались, но предпочитали в чужие дела не вмешиваться. “Наша” компания как-то сразу перешла в “средняки”, а самыми младшими были в основном студенты факультетов журналистики и психологии; последний находился прямо за углом, за “Интуристом”, и двор их назывался “психодромом”, потому что там уже тогда всюду курили анашу, глотали кодеин, тазепам и кололись чёрт знает чем».

* Губанов Л.Г. «Сегодня, дед, опять проклятый день...» // И пригласил слова на пир. СПб.: Вита Нова, 2012. С. 277.

Мы знаем, что будущие смогисты как раз-таки были с «психодрома»*. Пускались ли они во все тяжкие** (ну, по советским меркам – так уж точно пускались! но тут вопрос в наркотиках), сказать нельзя. Губанова выбрал стакан. Всё остальное если и появлялось (от нескольких друзей поэта доводилось слышать о траве), то было несерьёзным, баловством, небольшим экспериментом.

Я ходил в голубых веригах,
Дивно-мерзкого гашиша,
По могилам плясал великих,
Бил поклоны по шалашам.

А в «Национале» между тем собирались Роман Каплан (человек, который при помощи Бродского и Барышникова откроет в Нью-Йорке самый знаменитый русский ресторан во всём мире – «Русский самовар»), Леонид Виноградов, Михаил Ерёмин, Евгений Рейн, Сергей Чудаков и многие другие.

Дадим ещё один эпизод, чтобы прочувствовать атмосферу. Рейн рассказывал о встрече с Ю.К. Олешей. Тот был не в лучшем состоянии. Ему оставалось полгода до смерти. То есть это – январь 1960 года. Он был полузабыт. И в тот раз сидел в «Национале» в одиночестве. Его заметил Рейн с товарищем. Подсели. Представились. Разговорились. Заказали одесскому гению бутылку коньяка. Думали, что вместе и разопьют, но Олеша оставил её для похода на день рождения Катаева.

А дальше у них случился прекрасный и показательный диалог: «“Как вы думаете, молодые люди, кто лучше пишет, я или Катаев?” [– спросил Олеша.] Я ответил честно – так думал тогда, так же думаю и сегодня, хоть я считаю Катаева замечательным художником, выдающимся пластиком слова: “Конечно, вы, Юрий Карлович”. Мой приятель стал что-то говорить о роли Олеша в русской прозе. Я помню, что мелькало малопонятное слово “имажизм”. Олеша остановил его, он сделал какое-то неясное движение рукой, обозначающее знак внимания. Тишина надвинулась на наш столик. Сдержанно гудело кафе в этот непоздний час. “Да, я лучший писатель, – сказал Олеша, – но у Катаева демон сильнее”».

Здесь важен, во-первых, «имажизм», который не совсем к месту употребляет приятель Рейна (и мы делаем вывод, что в оттепель теория и практика имажинизма находились в актуальной литературной повестке), а во-вторых, демон, который управляет гением. Но об этом мы ещё поговорим отдельно.

Как вы видите, в «Национале» компания собиралась отменная. Заходи в любое время дня и ночи – обязательно на кого-нибудь наткнёшься.

* Николай Мишин добавляет к и без того пёстрой компании ещё парочку заметных персонажей: «На этом пятачке-“психодроме” можно было увидеть Володю Жириновского, ещё не мечтавшего выйти на брег Индийского океана, и гениального русского художника Анатолия Зверева». – Подробней см.: Мишин Н. Истаявший СМОГ // Про Лёню Губанова: книга воспоминаний. М.: Пробел, 2016.

** «Во все тяжкие» – выражение не случайное. Помните, что в промышленных масштабах производили герои одноимённого сериала Джесси Пинкман и Уолтер Уайт? Чистейший амфетамин. Если верить воспоминания Аркадия Агапкина, то и Губанову доводилось баловаться чем-то подобным: «Последний раз я видел Губанова осенью 1974 г. на квартире <...> одноклассника. <...> Дружбы между нами не было, но обоюдная приязнь присутствовала. А тут, будучи оба под “феном”, как-то прониклись, разоткровенничались...» – Подробней см.: Агапкин А. [Воспоминание о Леониде Губанове] // Про Лёню Губанова: книга воспоминаний. М.: Пробел, 2016.

Вся эта ситуация, конечно, не походит на кофейный период русской поэзии, но подражание великим да пусть и мнимая, но преемственность – ощущаются. А на первых порах это очень важно.

В одном из перечисленных кафе происходит знакомство с Владимиром Шлёнским, который ещё сыграет свою роль в жизнь Губанова. Читаются и обсуждаются стихи футуристов. Совершаются прогулки по Москве, по её сакральным литературным местам и по кладбищам.

Вильям Мейланд рассказывал, как они небольшой компанией, затарившись бутылкой вина и батоном хлеба (о, какие это несерьёзные закупки! что такое бутылка вина на компанию ребят?), отправились в ночь на Ваганьковское кладбище. Искали могилу Сергея Есенина. Нашли. Помянули, выпили, почитали наизусть и его, и свои стихи. И в самый разгар этого действия... пришли милиционеры.

Что они забыли на кладбище? Может, сторож испугался и от греха подальше решил их вызвать?

Отвели молодых людей в помещение похоронного бюро и стали расспрашивать: кто они, откуда, что тут забыли? Парни, конечно, представились поэтами и назвали свои домашние адреса. Один Губанов съязвил, что живёт на улице под названием «Матросская тишина». Но стражи порядка, кажется, его не поняли. И попросили, раз уж перед ними возникли поэты, почитать что-нибудь.

И, конечно, началось небольшое представление. Представьте себе эту обстановку: Ваганьковское кладбище, дело близится к полночи, молодые поэты в компании милиционеров, кладбищенского кота и, конечно, незримого присутствия великих и не очень соотечественников.

Губанов уже «заходится» :

Сварганенный комок несчастья
Ваганьковским зовется кладбищем.
Все знают – я не рвусь на части,
и не хочу быть вашим классиком.

И та есенинская роль
на бархатный мой шарф не тянет.
Мне хорошо, что я король,
а буду нищим, лучше станет.
Я выпью водки на углу,
где церковь эта и ворота.
Я не на улице умру
среди бесстыдного народа,
а книжных полок посреди,
черновики где рваный ворох.
А смерть Ходжою Насреддин
засыплет снегом поговорок.
«И панихиде грустной внемля»,
я вам скажу не так, а сяк –
Любил поэзию, не землю,
Как море истинный рыбак!

Стихотворение написано 13 ноября 1963 года на Ваганьковском кладбище. Можно предположить, что и история с чтением стихов (наверное, всё-таки не этих, но не менее магических!) могла происходить плюс-минус в этот же период.

Владимир КУТЫРЕВ

Родился в 1943 году в деревне Высокая Чкаловского района Горьковской области. После окончания Заволжского строительного техникума служил в Советской армии, учился на философском факультете МГУ, там же в аспирантуре. Профессор Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского, доктор философских наук.

Автор более 400 статей и 18 книг. Основатель научной школы «Философия антропоконсерватизма». Дважды лауреат премии Нижнего Новгорода (за книгу «Естественное и искусственное: борьба миров» в 1995 году и книгу «Бытие или Ничто» в 2010-м). Трижды лауреат Всероссийского конкурса научных публикаций по гуманитарным дисциплинам. За вклад в философию награжден серебряной медалью С.Н. Булгакова (2008).

Живет в Нижнем Новгороде.

ЕСЛИ ПОЛОЖЕНИЕ БЕЗНАДЕЖНО, НАДО СДЕЛАТЬ ВСЕ, ЧТОБЫ ЕГО ИЗМЕНИТЬ

Стало чудовищно очевидно, что наши технологии превзошли нашу человечность.

А. Эйнштейн

Метаморфозы прогресса

Начиная с Нового времени, движущей силой прогресса стало не просто знание, а наука – знание социально организованное. Служа людям, она принесла им великие блага, о которых раньше нельзя было и помыслить. В XX веке наука превратилась в технологию, и в их отношениях с человеком произошел поворот в духе трагической диалектики господина и раба, когда не цель определяет средство, а наоборот: раб может обойтись без господина, а господин – нет. Без раба он «формальный господин», а в сущности – никто. Все решается техникой, из субъекта деятельности человек стал ее фактором и даже «человеческим капиталом» (капитал – это любое средство, используемое для получения прибыли). Великий математик и выдающийся философ XX века, один из инициаторов Пагуошского движения за мир (подумать только, человечество вело борьбу за разоружение!) Бертран Рассел сравнивал сов-

ременное ему развитие науки и техники с «танковой армадой», которая «потеряла своих водителей и движется вперед слепо, безрассудно, без определенной цели». Это он говорил до информационной революции.

Сейчас технологии достигли развития, грозящего их превращением в *hostis humani generis* (врага рода человеческого) по самой своей сути. Прочитав геном человека, что должны биологи делать дальше? Правильно: манипулировать им. Для чего придумывается идея его «улучшения»? По мнению раба, хозяин у него «плох», его надо совершенствовать. Поднимают крышку ящика Пандоры для чего? – Чтобы копаться в нем: трансгуманизм, Covid-19, «гуманизированные мыши» (в Китае летучие, у нас наземные – почувствуйте разницу) только первые ласточки. Ведь геном – это сопряжение, симбиоз всего со всеми в нем. И вот начинают «заменять» отдельные гены для предупреждения какой-то болезни. Разворошив, раскачивая миллионами лет их «притертость» друг к другу, сложившуюся симфонию. Сколько эти вмешательства породят новых проблем и болезней! Особенно в последующих, после «улучшения», поколениях.

* * *

Но... такова логика стихийного развития исследований, внутренняя потребность их продолжения. Возникла «частная наука», со всеми вытекающими отсюда социальными последствиями конкурентной борьбы. Еще не сказали своего веского слова физики в имитации Большого взрыва Вселенной (предлог – поиск бозона Хиггса). Скажут. Строятся десятки коллайдеров. Взорвут, вопрос только в масштабах этого деяния. И т. д. по линии движения к «Интернету всего» и Искусственному Интеллекту. Если после нескольких такого рода «генетического Чернобыля» с пандемией Covid-19 апокалиптических предупреждений, человечество не попытается как-то этими процессами управлять, тогда нам крышка (Пандоры). Но «прогрессоры» с поразительной умственной слепотой и нежеланием смотреть на реальность продолжают игнорировать любые предостережения и попытки остановить, притормозить и регулировать их движение в неизвестном направлении. Настоящий хаос предположений о возможных результатах у самих специалистов, однако – делают.

Хотя во многом и известное, происходящее на поверхности, все расписано в книгах-антиутопиях, которых пугались, одна социальная система адресовала их ужасы другой (обвинения в «Большом брате», тоталитаризме, всеобщей слежке). В кино, наконец, если вспомнить голливудские фильмы. Они ведь не на пустом месте создаются, а на идеях там же, в Америке, находящейся Силиконовой долины, проектов и намерений ее творцов и во всем мире технократов. Стихийная, нерегулируемая, безоценочная, даже не обсуждаемая гонка технических инноваций по опасным последствиям для человека достигла «уровня преступности», такого состояния, когда на память приходит обращение приговоренного к смерти Юлиуса Фучика к остающимся жить: «Люди, я любил вас. Будьте бдительны».

Расширенное сознание

«Река времен в своем стремлении уносит все дела людей // И топтит в пропасти забвенья народы, царства и царей» (Г. Державин). Не исключая и накопленные человечеством знания. Образованные люди

Нового времени (Просвещения, Модерна) вплоть до XX века имели некое представление о повседневной жизни древних греков и римлян, в университетах изучали латынь, кто-то мог читать Овидия или Горация в подлиннике, кто-то «в конце письма поставить vale». У современного выпускника университета от знания древних языков осталось Veni, vidi, vici, In vino veritas и, может быть, O tempore, o more. Тенденция же такова, что в XX веке по мере развертывания Великой технологической революции (эпоха Постмодерна) подобная участь постигнет и Новое время. От свершившихся в нем великих деяний останется знание об изобретении паровоза, открытии электричества, в искусстве картины Леонардо да Винчи, в науке имена Галилея, и Коперника. Да зачем их знать, когда все есть в компьютере (смартфоне, чипе), скажет выпускник университета с электронным образованием.

Рискнем, однако, предположить, что даже среди on-line образованных найдется человек, который вспомнит Ф. Бэкона, из-за его знаменитого высказывания: *Scientia est potential = Knowledge is power = Знание – сила*. Ведь именно оно, эта идея лежит в основе достижений современного прогресса, то есть информационной революции и общества потребления, зашедшего в своих успехах так далеко, что его члены могут себе позволить ничего не знать и не помнить, ибо в то же мгновение любое знание можно извлечь из Сети. Возникло явление «*расширенного сознания*», другими словами, если вы подсоединены к компьютеру, то знаете несравненно больше, чем может знать самый талантливый человек без такого намозг(рд)ника. В принципе, знаете все – и ничего.

Римляне говорили: *Tantum scimus quantum memoria tenemus* – знаем столько, сколько держим в памяти. Так вот нет – теперь люди могут знать, даже если ничего не знают. Правда, самостоятельно, тем более творчески мыслить они уже не будут, только комбинировать информацию. Без памяти мыслить нельзя. Возникает «посткреативный человек» (понятие, которое уже есть в психологии). Расширенное сознание – (со)знание индивидуально потерянное, растворившееся в интернете, ставшее ничтожной каплей виртуального океана, минимальным узелком информации. «Не ваше». Это процесс самоубийства естественно мыслящего человека, замещаемого, что логично, становлением Искусственного интеллекта. Перевод деятельности в on-line является расчисткой места для него, начальная стадия этого процесса. Таково коварство прогресса, если человек не будет им пытаться управлять.

Под эти тенденции в современном обществе возникла потребность в непонимании, в частности у ученых, ограниченных в своем мышлении узкими рамками специализации. При попытках кого-то из них посмотреть дальше своего носа, более статусные товарищи ему скажут: хватит философствовать, shut up and calculate (заткнись и вычисли). Возникает своего рода «культура зомби», слабоумия как социального блага. Вместо Homo sapiens – Homo dementia. Чтобы не понимать, куда все идет. Самый яркий пример – феномен трансгуманизма. Проблема проблем, о которой, кажется, писал Хайдеггер, что люди перестают мыслить. В смысле – сознать. Это, пожалуй, главная «глобальная проблема» современного человечества.

* * *

Принято, модно спрашивать, «как изменится мир после Covid-19». Предсказывать трудно, но кое-что можно. Почти наверняка. Пресло-

вутый «электронный концлагерь», которым пугали всякие, типа меня, предсказатели, станет реальностью. Почти стал, что проявляется даже в мелочах. Молодые родители говорят, что главное, о чем рассказывают теперь их маленькие дети, придя из школы, – безопасность. О безопасности. Удивляются. Да это просто подготовка к тому, что вам предложат детей непрерывно контролировать, чтобы всегда знать, где они. Чтобы не просто камеры следили извне, а сам ребенок был их носителем. Естественно, ради безопасности. А запуганные дети и родители, с минимальными сомнениями, в основном довольные, согласятся. Всем поставят чипы, как теперь собакам. Но эти чипы будут более «совершенные», чтобы можно было ими, и вообще людьми, управлять. Отслеживать и анализировать кто, что, где и как делает. На работе, «белых воротничков» так уже проверяют. Хозяин теперь всегда может знать, чем подчиненный занимался в рабочее время, на что была направлена его активность. Это будет перенесено на все сферы жизни. «Большой брат» должен знать, что делают его подданные, люди. И совершенствоваться будут не люди, а чипы. Это и есть Internet of everything, «интернет вещей», к которому так стремятся прогрессисты. Впрочем, это не какие-то теоретические предположения, все уже работает в Сингапуре («государство-компьютер»), в том же направлении семимильными шагами идет Китай, да и вся линия на глобализм, суть которого в технологизации всего и вся, превращающей общество в электронный концлагерь. И это есть/будет не метафора, а настоящая реальность.

* * *

Все-таки Ф.М. Достоевский – чудовищно гениальный человек. Предвидел и это, когда писал: *я хотел бы такого общества, где могу сделать преступление, но не хочу, а не такого, когда я хочу его сделать, но не могу*. На наших глазах создается общество, которое этот великий писатель и гуманист не хотел. В результате «преступное сознание» у многих как бы заперто, иногда прорываясь в диких выходах со стрельбой в невинных людей. Вопрос о праве на личную жизнь и выбор человеком своего поведения – снимается. Он только фактор происходящих вовне процессов. Сообщают по телевидению: В Москве какой-то мужчина вышел на свой балкон, после чего система слежения выписала ему штраф за нарушение режима изоляции. Система! (уже и не люди, не полицейские, автоматически). Слежения! Сообщают совершенно бездумно, как некую шутку, без всякой озабоченности.

Куда только смотрят наши моралисты и «мыслители», особенно либералы, которые бы должны рвать на себе волосы и биться головой об стены, рыдая по ценностям Просвещения. Но они молчат, ведь они «за прогресс» и предпочитают бороться с «политическим авторитаризмом», а экспансию нового вида тоталитаризма их пораженное техническим плоскостопием сознание не замечает, на него в их глазах слепое пятно. Вот где в истерии с безопасностью, а это только частный случай, зарыта собака. Кажется, люди совсем перестают понимать, что происходит. «Свобода», «самость», «совесть», «субъектность», «творчество», право на преступление и наказание, нравственная ответственность, да и созна(ва)ние вообще – вы, зомби, восхваляющие возможности техники по замене самостоятельных решений человека тотальным контролем/принуждением/наказанием, – забудьте о них.

Чудеса медицины

Скажем сразу: достижения медицины громадны. Иногда просто удивительны, действительно похожи на чудо: принимаешь таблетку – и «все прошло». Известное выражение Л. Н. Толстого о том, что «Наташа выздоравливала, несмотря на то, что её лечили врачи», несправедливо. Медицина способствует продлению сроков и облегчению жизни. Телесные и психические страдания, болевые ощущения успешно купируются. Это оче-видно. Мы стареем намного позже, чем хотя бы век назад. Живем дольше. Хотя... не больше, не глубже (долгонезжители). Успехи в лечении индивида достигаются за счёт рода, его резервов. Настоящего за счёт будущего. Противоречие между интересами конкретного индивида и человечества как такового – это лезвие бритвы, по которому надо бы стараться пройти. Реально современная медицина идёт, едет, несется, мчится по полосе сиюминутных выгод, способствуя полному прекращению самоочищения родового биоорганизма и подрыву его функционирования.

Побеждая многие тяжёлые болезни, она высвобождает место для более тяжёлых. Налицо явный прогресс:

а) в углублении болезней и сложности их лечения; все болезни становятся хроническими; в отсрочке смерти и болезненности жизни; вместо здоровья или смерти бытие в «третьем состоянии», когда не болен и не здоров! Не болен, потому что работает, функционирует, не здоров, потому что лечится всякими таблетками. Такого раньше не было или было минимально. Возникает феномен больного здоровья (спортсмены прежде всего) и *новая порода людей: хроники*. Хроник – это терпеливый носитель неизлечимой болезни. (Не)здоровый субъект больной жизни;

б) в изобретении болезней, их конструировании в лабораториях как артефактов с последующим нахождением у человека. Зато может обеспечить «лёгкую смерть» – эвтаназию. «У нас умирают комфортно», – с гордостью сказал руководитель одного крупного медицинского центра. Это, по-видимому, и будет самым высшим и неоспоримым достижением человека по пути совершенствования своей жизни.

Когда-то в больницах была детская палата. Потом стали открывать детские отделения. Теперь параллельно существуют взрослые и детские районные и областные больницы, детские федеральные кардио- и онкологические центры и т. п. И их не хватает. Совсем недавно построили громадные корпуса онкологической больницы имени Димы Рогачева. Теперь говорят, надо второй центр. И еще, еще, все с восторгом о «дополнительных возможностях пересаживания костного мозга» и новых способах лечения. Всех. Чем больше, тем лучше. И никаких мыслей о последствиях. Совершенно забыли вопросы – откуда, почему, зачем и куда идет, осталось только «как». Толкуют о синергетике, нелинейности отношений, но на деле не хотят видеть банальных причинно-следственных связей. Какой-то поразивший общество прогрессивный (паралич) идиотизм! Помню, мне казалось нелепым желать ребёнку здоровья. Ведь это само собой разумеется, не старик же. Однако теперь... *Настало время, когда дети болеют больше стариков*. Они больны от рождения. Значит, *больным стал* не человеческий индивид, а человек как *вид*.

Символическим подтверждением этого факта является использование убитых младенцев для омоложения. Но тут важно, как сказать.

По-русски – грубо и неприятно. Скажите профессионально: «вытяжка стволовых клеток abortированных эмбрионов для лечения тяжёлых возрастных болезней». От них теперь лечится чуть не вся богатая элита в медико-косметических салонах. Особенно к юбилеям. Глядишь на дряхлеющую знаменитость: опять помолодел(а).

* * *

Лечиться современными мощными химическими средствами – это менять одну болезнь на другую. Появились так называемые лекарственные болезни. Их изучают и лечат тоже лекарствами и так далее – в тупик дурной бесконечности. Появилась новая категория больных – «залеченные». Для учёта в медицинской статистике надо бы вводить три графы: «пролеченные», «вылеченные» и «залеченные». Только искуснейший врач и умный больной, следуя завету Гиппократов использовать целебные силы природы, способны проскочить между Сциллой и Харибдой двух болезней – той, от которой лечатся, и той, которую, лечась, приобретают.

Успехи современной медицины в борьбе с болезнями напоминают копанье песка у подножия бархана: чем больше его выгребают, тем сильнее он осыпается. Но врачи довольны: высокие технологии, успехи, работа. Бархан большой. Но не бесконечный. О защите от песка через закрепление бархана и другими способами думают минимально или никто.

«Болезни века» – это болезни преобразования человеческого организма под воздействием быстро меняющихся условий. Вид приспособляется к ним через ускорение смены индивидов, через их повышенную смертность, особенно мужчин, так как через этот пол всё живое осваивает изменяющиеся обстоятельства. Природа делает разные попытки ускорить обновление: аппендицит, например, намечался как важнейший путь. Но мы научились, в основном, с ним справляться. Тогда сердце. Тайно и внезапно останавливается: «лёг на диван и умер». Подлинных причин этого никто не знает. Пытаются заменять искусственным. Тогда бунт природы происходит на клеточном уровне – раковая болезнь, СПИД, потом пойдут, вернее уже пошли, все больше и больше, опухоли мозга и т. д. Делая пересадки, подавляют иммунитет, а потом ищут причины дефицита этого иммунитета. Стимулируют иммунитет, а потом ищут причины аллергических реакций и «атак иммунитета» на собственный организм. Дальнорукие или близзоркие? Тсс... ученость, наука.

Стало немало очень волевых, заботящихся о своём здоровье людей. Каждое утро делают зарядку... лекарствами. Динамо-машина превратилась в аккумулятор. Скоро разрядится?... *Идёт бесконечное соревнование медицины с противоестественным образом жизни, особенно в пронизанных электронными излучениями городах-человейниках, приводящее к постепенному демонтажу человека как живого телесного существа.*

Рецепты антропоконсерватора

Я не врач, однако рискну выписать один философский рецепт: непонятные болезни лучше лечить непонятными средствами. Особенно

нервно-психические. Восточная медицина, внушения, заговоры и гомеопатия. Высокотехнологичные методы только усугубляют их, переводя на клеточный и субклеточный уровень. Там уже лечат не человека, а пытаются регулировать химико-биологические процессы. С помощью компьютеров. Суют в них анализы, он выдает диагноз и рецепт лечения. А когда-то твердили про индивидуальный подход. Дорогущие лекарства и врачи, которые знают аппаратуру и не знают болезней, про человеческое тело забыли, как выглядит. Или воспринимают как порнографию.

Я не врач, однако рискну выписать один философский рецепт: при сложных хронических болезнях помогают, в конце концов, самые простые средства. Наиболее простой из них – сменить образ жизни: климат, семью, профессию. Другими словами, стать другим человеком. А болезнь знала прежнего. Так вы и разойдетесь. Но самое простое – всегда самое тяжёлое, почти как смерть. Только социальная. Поэтому большинство предпочитает привычную, биологическую. Умереть проще, чем жить.

Кто-то, допустим, вы, без видимых причин много болеете? Да, я не врач, но рискну поставить философский диагноз: вы живёте не своей жизнью. Не по способностям к тому, чем заняты, и без любви к тем, с кем общаетесь, к миру вообще, а только (пре)терпи(вае)те его. И он вас – (не)терпит. Больше того, вы не только никого не любите, вы даже боитесь быть любимым. Всё время поете не своим голосом. Он у вас второй, а вы напрягаетесь на первый. Тенор, поющий басом. Или наоборот. Когнитивный диссонанс. Душа в тюрьме, и в окошечко, которое ей оставлено для встреч с миром, света проникает очень мало. Так что же вы хотите, вы, чахлое растение? Болезнь – это трение и скрежет телесно-духовного организма из-за плохой подгонки его трущихся частей к внешним поверхностям своего существования. Смазывать надо, хотя бы философией, кто не способен к простой радости. Сам я теперь после книги «Унесенные прогрессом» уже перестал выдумывать «эсфоризмы». Но все-таки для утешения не могу удержаться: «С приближением конца жизни мудрому (а)логично быть оптимистом».

Впрочем, что-то мало помогает. Все же главный залог здоровья – искренность. Души. Как чистота тела (конечно умеренная, без мытья каждый день, которое не дает организму жить самостоятельно). Искренность (конечно, умеренная, не до бесстыдства и наг/о/лости) – это внутренняя свобода в борьбе с внешними обстоятельствами. Тогда возникает мастерство, искусство бытия, которое, впрочем, допускает возможность греха и покаяния. «Грех – это святое». В общем, «всем нам свойственно ошибаться. Главное – знать меру. Надо бы учредить орден «Мастер жизни». Как орден всех орденов – самый высший. И кого-то награждать. Или каждый сам себя, сильной, плодотворной или хотя бы долгой жизнью. Но только посмертно.

В Древнем Китае встречного человека приветствовали словами: «Ешь ли рис?» В некоторых странах Африки: «Как потеешь?» В европейской культуре: «Как здоровье?» Теперь более естественно спрашивать: «Чем болеешь?» А вместо «Как поживаешь?» – «Как выживаешь?» Но это пессимисты. Оптимисты, «вписавшиеся» и «перезагруженные», будут приветствовать друг друга: «Как шопинг(у)ешь?» Или всё это кончится появлением сначала техноидов: мутантов-зомби, кентавров-киборгов (они уже здесь, «при дверях», чтобы обмануть себя, их называют «техночеловеками»), потом чего-то совсем постчеловеческого, того, к чему устремилась современная технонаука. Она хочет заменить

человека роботами, маскируя происходящее, а потом и свою смерть болтовней о бессмертии. Оно будет, но – не наше. Однако у живых (пока) людей нет выхода, кроме как быть оптимистами. Поэтому мой девиз консерватора: отсталость, отсталость и ещё раз о(т)сталость... Человеком.

* * *

Да, я антропоконсерватор. А кем ещё должен быть любой человек, который хочет продолжать жить и чье сознание не похищено силами Иного? Кем, теперь, наконец, я вас и любых технократов, кто еще способен думать дальше своего носа, спрашиваю? Это относится ко всей нашей цивилизации, если бы, конечно, она не впала в состояние прогрессирующего слабоумия в форме тотальности эгоистического разума, заменяя жизнь технологиями = умертвляя свой дух, душу, и вот теперь (идет процесс) сознание и тело. Чтобы в конце концов заместиться искусственным разумом Чужого. А когда он станет «Все́м», то просто «Не-разумом». *Растворит(м)ся в материи.* И будет очередная мертвая планета. Вот что я хочу и чего не хочу.

Разум и/или Человек

Разум – это кинжал, воткнутый в тело человека. Образовалась рана – его душа. Разум – порождение жизни. И ее отрицание, ее смертельный враг. Он заставил ее прятаться в самой главной сфере своего проявления – в акте создания новой жизни, стесняться себя в своем воспроизведении. И осуждает, преследует все другие проявления естественности человека, хотя они только ослабленные следствия первого принципиального проявления акта враждебности. Сейчас это достигло апогея, перебросившись на борьбу со всем «нерациональным», на подавление вещей и материальных отношений информационными, «духовными». Воспевание духовности переходит в воспевание ментальности и информационности. Для рассудка реальность есть пред(до)-рассудок. Идет процесс становления мира на голову. Телесный человек еще нужен, но только как носитель, подставка для ума и «вычислений», без которой сразу не обойдешься. Разум появился как орудие жизни. Пройдя длительный путь развития, он приобрел самостоятельность. «Отпал» от человека. Он предал жизнь и начинает служить себе. Вплоть до перехода в постчеловеческое состояние: Искусственный интеллект. В этом его вина. Перед нами, ибо мы, его носители, все еще живые. В этом наша беда. Бедные, неразумные.

* * *

Ах, этот разум! Под Новый год в деревне наряжаю елку. Она живая, перед окнами. Ставлю стремянку, вверх-вниз, развешиваю шары, гирлянды, «дождь». А мой разум мне говорит: кому и зачем все это надо, твои висюльки, какой от них толк. Ребенок ты, что ли? Отвечаю: Иди отсюда, дурак! Для тебя и жизнь моя непонятно зачем нужна. Потому что хочю. Или другие хотят (так принято).

Говорят: торгует собой, продает собственное тело. Но не говорят: торгует своей душой. Потому что душу можно продать всего один раз.

Больше она не возвращается. А главное, ее нельзя купить. Продать можно, купить нельзя – что за рынок! Душу только *отдают* – Богу. А *продают* – Дьяволу. Не нефть, не золото, не машины, а Души – вот главный товар рыночно-потребительского общества.

* * *

Возгонка всего и вся в разум: не удивлюсь, если на руке заключенного вместо наковки: «нет счастья в жизни» скоро будет: «нет в жизни смысла». Вместо счастья ищут его смысл. Вместо существования началось «смыслование». Бытие разошлось со смыслом. Вот какое несчастье случилось с человечеством в XXI веке. Хотя к концу века оно от него избавится. Будут только считать (его). Смысл расходится с (машинным) мышлением. Счастье – понятие культуры. В цивилизации вместо него – комфорт. В техносе, в результате победы инновационизма и возникновения техногенного рая в виде комфортного концлагеря, такой проблемы вообще не будет. О н(ем)ей забудут.

Явь сме(стра)шного человека

Личность – человек с определенным артиклем. *Это-т* человек. И вот как мы определяемся: либо замороженные, либо отмороженные. Открытых, теплых и горячих совсем немного. Да сам-то я – полу(про)хладный. Эмоциональная импотенция. Не всегда.

По мере подавления жизни разумом, ее человеческие проявления кажутся все более странными, нелепыми и необоснованными. «Смешными». Как телесные, так и духовные.

Собралась толпа людей. В большом здании, которое называют храмом. Поют, бормочут, при этом зажигают огоньки, целуют доски, обращаются с просьбами. К кому? Говорят, что «служат» какому-то Богу, которого никто не видел. Вот другая толпа. Тоже в большом здании, которое называют театром. Прыгают, сучат ногами, соединяются и разъединяются, при этом издают разные горловые звуки. О чем? В основном про какую-то любовь. Остальное время от времени бьют рука об руку, «хлопают».

Да само пребывание на земле: ну родилось мелкое животное, жалкое, ни к чему не годное, писает, орет, какает. Умерло, упаковывают в ящик, несут в яму, у окружающих из глаз вытекает жидкость. Зачем? Все свершилось по законам природы. Объективно.

Или вот это же существо, открывая рот, довольно часто произносит слова: ха-ха, хи-хи, го-го. Что за «слова»? Одновременно морщится, приседает, машет руками. Говорят, «смех».

Или зевота: тут вообще простое открывание рта. К чему? Слов нет как это глупо. Будь я роботом, я бы смеялся (??!) до упаду. До отключки.

А уж в акте любви: ночь, луна. Он, она. Много движений, мало достижений. Лезут друг на друга, слюнявятся, дергаются, стенают... С точки зрения науки и технологии все это абсолютно условно, нерационально, неэффективно. Абсурдно. Тьфу!

Такие вот мы, *под мертващим взглядом разума*. Все более смешные и нелепые. Так давайте быть серьезными, разумными. Увы, это не поможет. Человеческий разум перед лицом искусственного интеллекта нелепым будет всегда. Может, компьютеры над нами уже смеются?

Когда капризничают, издеваются? Нет, давайте считать, что все хорошо в своем роде. И прежде чем плакать, можно посмеяться над нашими роботообразными и их идеологами, так называемыми трансгуманистами, которые хотят угнаться за техникой. Вот что действительно смешно. Вот кто действительно смешон. И страш(е)Он.

Один бывший преподаватель философии и бывший наиболее одиозный постсоветский политик Б. в «семейном» телеинтервью сказал: «Я никого не люблю. Я только уважаю». Потерей чувств, ауры и души он уже гордился. Но он не говорил, а гундосил. И впечатление было, что это не человек, а существо. Гуманоид. Когда спрашивают, где вы видите того, кем пугаете, всяких постчеловеков, теперь можно сказать: вот, смотрите. Смотрите, кто пришел. И представьте, что общество состоит из Б. Кругом одни Б-сы. **Явь страшного человека.**

Грех и преступление в развитии личности

Хотят обычно то, чего нет. Это естественно. Странно было бы хотеть того, что уже есть. Так же странно хотеть то, что можно. Подлинно хотят того, что нельзя. Запретного. (См. первородный грех Адама и Евы; о единственной закрытой двери в сказках и т. д. в жизни.) Таким образом, все заветные жизненные стремления – греховны. Сильные – преступны. Отсюда центральная роль греха в религии и преступления в обществе. Проблема борьбы с ними. С желаниями, с искушениями. С дьяволом. Дьявол – это мифо-идеологическая манифестация искушений нашего Духа. Ведь он – падший Ангел, давший волю страстям. По-стра-давший.

Лев Толстой однажды сказал, что люди, побывавшие под судом, приобретают благородное выражение лица. Лев Шестов расширил эту мысль «до обратного»: благородное выражение лица признак того, что человек побывал под судом. Думается, он банализировал мысль Толстого, тоже недостаточно решительную. По сути, можно сказать так: благородное выражение лица имеют люди, способные на преступление и на подвиг. И совершающие их, хотя бы мысленно, в намерениях. А если на деле, то это зависит от соответствия характера деяния характеру деятеля. Силе его духа.

В одних случаях грех разрушает личность, делая ее мелкой и скользкой. В других – способствует ее росту и возвышению. Второе возможно, если поступок соответствует внутренней силе индивида. Преждевременность вредна, и до 16 (25, 40, 60) лет многое нецелесообразно даже знать, не говоря о том, чтобы делать. Также и после 16 (25, 40, 60) лет кое-что надо уметь забывать.

Предпосылкой благополучного переживания проступка является предварительный труд души. *Интерпретация.* Она, как правило, важнее факта. **Право на грех надо заработать. Вы-стра-дать.**

Что касается преступления: «Тварь я дрожащая или право имею», то ситуация Раскольникова должна интерпретироваться конкретно. Однако я не хочу говорить об этом. **Права не имею.** Право на преступление имеет только гений. Талант может позволить себе грех. Другие должны грешить и преступать без о-прав-дан-и-я. Переживать чувство вины. Есть ли на свете мужество, каждый решает сам. А кто есть кто и объективную меру дозволенного ведает Бог: Мне отмщение, Аз воздам.

Верующий боится Бога. Неверующий себя. Кому легче? Знаю человека, который, спасаясь от себя, увлекся восточными, нет, не единоборствами, а учениями. Хотя, может быть, и единоборством – с собой. И... погряз в молитвах. Так ему легче.

На зло(бу) дня

Всегда ходил на выборы и за кого-то голосовал. Но вот приняли закон о заочном (on-line) голосовании. Чтобы исполнять гражданский долг, не отрывая зада от стула. Вместо этого – отрывая голову от тела. Тело сидит дома, «сознание» пошло голосовать. Формализация, рост отчуждения между людьми и властью.

Причина этой оскорбительной глупости одна: техника *заставляет* себя применять. Даже вопреки интересам хозяина. Ведь ясно, что в прибавившемся числе виртуальных избирателей будет больше безответственных, ни за что никогда не отвечавших людей, маргиналов и просто «игроков». Они всегда критичны. В любом случае, степень взаимного недоверия в обществе возрастет. Оправдание для такого закона как всегда одно: во многих странах уже так голосуют.

Превратности любви

Человеческий «верх» и человеческий «низ» развиваются вместе. Между ними, как теперь модно говорить, констелляция. По своей скрытой тенденции она примерно такая:

Человек чувственный – гетеросексуализм.

Человек духовный – гомосексуализм.

Человек мыслящий – аутосексуализм.

Человек информационный, компьютерный (гомутер) – асексуализм.

И, наконец, «целомудренная машина». Секс-(ро)боты. В Голландии, стране-лидере по реализации «европейских ценностей», все больше мужчин, приобретающих себе «для жизни» женщину-робота, и наконец, открыли бордель, где вместо живых девушек клиенты могут выбрать и заказать работа-проститутку. Она почти полностью идентична женщине. Но всегда вежливая и на все согласна. Вот что инновационно, т. е. подлинное благо цивилизации, а не какая-то там «любовь», о которой плачут консерваторы. Тем более без таких ужасов, как рождение детей. Перед фактом роста техногенного одичания человека в дальнейшем продвинутых в никуда странах, все предыдущие извращения обретают статус нормы. Гомосексуализм и другие нетрадиционные отношения – это консерватизм и традиция, а любовь и секс мужчины с женщиной – реакция архаика. Потому что человеческие, тогда как прогрессивно постчеловеческое. Искусственное осеменение, клонирование. Секс с роботами. Уже не в Голландии, а Москве открыт такой бордель (около Делового центра, цена за сеанс 5 тыс. руб. – из рекламы в Интернете). Техноложество! Торжество новой (а)морали. Искусственного и мертвого. Безвозвратное.

Скотоложество (фи!). Мужеложество (фу!). Техноложество (ура!).

Техноложество – это смертоложество, что уже не разврат, а любовь к мертвому. Мертвая сущность сущего проникает в последние интимные места человеческого бытия. В воспроизводство рода. Естественное вытесняется противоестественным, которое заменяется пост-естествен-

ным. Везде, вплоть до политики. Горе тебе, undeadmodern-men (если бы ты понимал)! *Нужна экология всего живого! Даже в его пре(из)врат(щен)ных формах.*

Да простят меня те, кто с этим не согласен. А еще больше – кто согласен.

Странности антисемитизма

Регистратура хозрасчетной (платной) поликлиники в Москве (в советскую эпоху, когда их было мало). Полно приезжих.

– Бабка, к какому врачу тебя записать, к кому?

– Запиши, милая, к мужчине.

– Так у нас и мужчин много, по какой болезни-то, выбирай давай скорее.

– Вот чтобы к еврею запиши. Они лучше понимают, обходительные.

Некто посылает в журнал свои статьи. Отказы. Если он русский, говорит – еврею засели, своих печатают. Если еврей – зажимают, антисемитизм. Одна знакомая дама пробивает докторскую диссертацию, уровень не в дугу. И вот начала «уставать»: не пропускают, потому, что я женщина. Да что вы, говорю. К женщинам при защите всегда более снисходительны, при всех очередях и обсуждениях ставят вперед. Задумывается... Ну, наверное, потому, что я татарка (а осаждаемую ею кафедру возглавляет член-корреспондент К. – то ли татарин, то ли азербайджанец). – Никто не видит причин в себе.

Почему во всех областях деятельности евреи достигают больших успехов? Прежде всего это феномен диаспоры. Ведь они веками вынуждены бороться за выживание. Даже русские, известные из-за своих природных богатств и пространств увальни, попав в чужую среду, становятся цепкими. Как и другие народы, когда возникает дополнительная мотивация к деятельности. Приезжие, независимо от национальности, везде активнее коренных. А если сотни лет – и все приезжие? Еврейская мама в России практически не мыслит, чтобы ее ребенок не окончил вуза. В Израиле уже мыслит. Достаточно много. Частично это передается потомству. Ламарк и Лысенко, настаивавшие на наследовании приобретенных признаков, в чем-то правы. Детеныш современного человека намного чувствительнее, психически тоньше и болезненнее, чем, например, в начале нашего столетия. Настолько, что и рождается все больше – недоносков.

* * *

Стремясь к успеху театральной постановки, кино, романа, их создатель должен спросить себя: достаточно ли они противоестественны по отношению к природе, насколько служат подавлению жизни и разрушительны для культуры, любых ее высоких ценностей – красоты, добра, истины. И вообще – «анти» и «пост» (человечны). Короче говоря, достаточно ли предлагаемое обществу произведение патологично? Если «да», то можно надеяться на финансирование, одобрение критики и интерес новой, современной массы «потребителей». Если нет – вы отсталые и даже опасные (реалисты, моралисты, националисты, сексисты, гуманисты) люди. Авангард цивилизации увлечен самоотрицанием. В этом проявляется ее прогресс.

Везде и отовсюду слышны радостные клики, что вот и тут избежали человеческого фактора. Который во всем виноват, но уже больше не мешает. То есть хотя и человек, но не мешает. В сумме: мир без человека – радуются уже не слабоумные, не просто идиоты, а почти все. Больше не надо человека, говорят люди.

Люди, не бойтесь и не беспокойтесь. Апокалипсиса не будет. Будет эвтаназия! Она уже идет.

Человек прекрасен, если он человек

Все-таки это хорошо – быть хорошим. Не для других, для себя. И прежде всего для себя. Быть добрым, открытым, дружеским да еще бы щедрым и веселым. Как люди этого не понимают? Не стремятся к этому как к главной задаче жизни? Мучаются завистью, злятся, вредничают, надуманные и тусклые. Плохим – плохо. Страдают, много болеют, жалко их. Не повезло.

* * *

Сильный человек, харизматический лидер, внутренне уверенный в себе человек, личность которого обладает натурой, говорит своим молчанием. Даже и прежде всего – молчанием. Слабый человек, наученный человек, поверхностная личность говорит словами. И только словами. Разговаривает. Его слушают, а первого слушают=ся. Первый – человек бытия. Философ жизни. Второй – человек языка. Философ слов. Филолог. Наверное, как я.

По жизни я встречал всего несколько первых человек. Одного в довольно странной ситуации. На отдыхе, «по курсовке», кажется, в Геленджике. (Советская эпоха.) Мы жили четверо в одной комнате. Я, тогда доцент, какой-то тракторист, тоже взрослый мужик, еще кто-то вполне солидный товарищ. И этот Сашка, который моложе нас, недоучился, бросив в Москве вуз, поехал на севера, толком не работает, играл в джаз-банде, имел дело с милицией и, кажется, иногда запивает. Но мы почему-то слушались его безоговорочно: скажет, сегодня с утра пойдем на пляж – все пойдем, скажет, в город или к девицам, никто не возразит. Что и когда велит сделать – как гуси за вожаком. Хозяева дома, где снимали комнату, само собой, сразу обращались к нему. Потом я думал – какая личность, какой парень пропадает. Мировой руководитель, хоть в президенты, а только в комнате.

* * *

Человек – воплощенное противоречие. Двигаясь между Сциллой желаний и Харибдой долга, он всегда выбирает. Чтобы идти посредине, он выдерживает напряжение их борьбы, и пока ему это удастся, он субъект самого себя, свободен и нормален. Пройти посредине, избежав Сциллы и Харибды, – это значит суметь «не влипнуть» ни в одну из них, сохраняя возможность перемен. Это удастся сильному, слабый либо остается прибитым к одной стороне, либо избегает жизни, держась пошлой середины. Пошлая середина потому пошла, что не знает крайностей. Настоящая середина – стрезень. Он же и стрезень жизни – смысл. Гармоническое развитие – вот утопия всех утопий.

* * *

Самая простая и глубокая игра, которую знают люди, – в прятки. В нее можно играть даже с собакой. Собака не только ищет, но и сама скрывается за препятствиями, выглядывает, ждет, когда ее найдут. Это самая философская игра: был – и вдруг нет. Явился – исчез. Куда уж «бытийней». Люди всю жизнь в нее играют. Друг с другом, сами с собой, с жизнью. Явился – исчез.

Всегда хотел казаться лучше, чем есть, и никогда не был самим собой. Так был ли *этот* человек вообще?

Был честолюбив, энергичен, суетился всю жизнь. И как награда, в конце вытянул на некролог. На «описание смерти».

* * *

Иметь хорошую несбыточную мечту или утопию – это не так плохо. Она и есть настоящая. Мечта, которая может сбыться, не обладает полнотой своего бытия. Не лучше было бы людям, если бы исполнялось все, что они пожелают. Так, кажется, говорили древние. Сбывшаяся утопия не существует вообще. Погибшие мечты – это когда они сбылись или не сбылись?

Все мечты сбываются... когда это уже не нужно. Пусть мечты сбываются! Но не все.

Широкая натура: то жить не хочется, то умереть боюсь.

Прос(ти)щай, человек

Гуманизм – любовь к человеку. К конкретному. А если любовь к человечеству? Ко всему? Уже скользко, ибо все подлости и преступления совершаются под этим лозунгом – любви к человечеству. Но скоро может наступить еще более опасное время, когда о любви к человечеству и человеку не будут даже говорить. По-тихому перестают. Не модно. Модно дискредитировать, называть «выродком эволюции». И вдохновляться эволюцией техники, не зная, на чем, на каком ее образце и этапе остановиться. Если же вдохновляться идеологией «прогресс не остановишь», то это форма дурной бесконечности. Абсурдистика прогресса. И «прогрессменов».

* * *

Игра, Смерть, Онанизм – вот существенные метафоры постмодернизма. Вместо традиционных – Вера, Надежда, Любовь. Прямо или косвенно это признают сами его представители. Особенно последовательные, «чистые» – экстремисты. Гордятся этим. Сначала хоронили советскую литературу и культуру, потом стали порочить русскую, а теперь отрицают культуру вообще. Их главный враг – духовность, душа, потому что ни того ни другого, по их мнению, на Западе уже нет. Мы здесь отстали, а их идеал, чтобы все было как на Западе. Их тексты то чисто физиологичны, то чисто концептуальны или механическая смесь. Ядро духовности – способность к любви, поэтому борьба с духовностью требует борьбы с любовью. Она сейчас разлагается на секс и интеллект. Поляризуется. Выражением духовности в социуме

и культуре является совесть, поэтому борьба с духовностью означает отрицание морали, отказ от различения добра и зла. Отказ от ценностей. Гордятся этим, что «беспочвенные». А значит бесплодные. Постмодернизм – церебральный онанизм. В чем их сила? В том же, что и у могильных червей. Тело культуры, которое гложут, «деконструируют» и растаскивают на цитаты – в прошлом, а они – настоящие. Хотя черви. За ними будущее. Потому что живая культура умирает, а они, мертвые, – (не)живут. В чем причина их неуязвимости, глухоты к, казалось бы, очевидным признакам самоотрицательного характера такой деятельности? Да не только их, а всего «цивилизованного человечества». Потому что – техно(не)генные.

* * *

Еще на моей памяти говорили о формировании всесторонне развитого гармонического человека. Какой вздор! Трагическая утопия. Человеческий распадаётся даже как целое, как единство тела и духа, выражением чего была душа. Вместо души – чистая мысль и голая чувственность. Робот и животное. Совершенствующийся робот и слабеющее животное. С распадением души утрачивается способность к любви. Тем самым утрачивается аура жизни, ее магнетизм, разлитость жизненного начала в теле и вокруг его. Чувственность сосредоточивается на физиологическом уровне и конкретном органе. Потому людям так трудно сблизиться. Они одиноки, ибо их влечение не имеет силы выйти вовне, проникнуть в другого человека, который в свою очередь, тоже не имеет души и ауры. Двигаются рядом как *размагнитившиеся куски железа*. Заняты духовной мастурбацией, а ее результаты поверяют книгам, блогам, вообще – «публике». А сами пустые. Это же одна из причин «извращенности» человека. Гомосексуализм, феминизм, трансвестизм – это все проявления аутосексуализма, любви к себе, перенесенной на другого или даже только при помощи другого. Вместо любви к другому. Сексуальной энергии для преодоления аутизма и взаимной отчужденности хватает лишь на ближайшее состояние – лиц своего пола. Или на себя. Самолюбы, гомолюбы. «От и у» аутосексуалистов начали рождаться дети аутисты. Им сразу никто не нужен. Биологическое завершение социального отчуждения.

Однако совет типа «берегись своих желаний» и простое осуждение их – поверхностны. Для большинства «извращения» не прихоть, но суровая необходимость. Иначе – невротизм, непрерывная боязливость, алкоголизм, секты, ранние инфаркты и даже смерть.

Ставят разные, самые причудливые диагнозы. А он один – *самотравление желанием*.

* * *

Социальная близость, она возникает из общности положения, дел и вытекающих отсюда переживаний – общности судьбы. Вот почему самоценны привычка, привязанность, составляющие ядро дружбы, да, во многом, и любви. Действительно, что за дружба и любовь, когда заранее знаешь, что в любой момент ты будешь не нужен. Это только влечение или «интерес». Связь «на время». «Семья» по контракту. Западное общество: дружелюбно улыбающиеся, глубоко чужие друг другу люди. *Flash smile*, «бизнес-улыбки». Внешнее расположение как бы

компенсирует внутреннюю самодостаточность, когда человек зависит только от себя. Прежде всего в труде, который все больше становится умственным. Для ума нужна не община, а общество, теперь, вернее, информация, а не люди. Конкретный человек нужен для души. А душа в техническом мире фактор брака, которым постепенно становится и сам человек. Со всем своим умом.

* * *

Самый опасный яд – сладкий, доставляющий удовольствие. Наиболее страшное зло всегда выступает в форме блага. Тогда его называют коварством. Но это внешние формы зла. Самый коварный яд тот, который вырабатывается внутри организма, это трагическое зло, вытекающее из блага, являющееся его второй стороной. Таково коварство прогресса, таковы его достижения. Улучшая и продлевая жизнь человека, они «снимают» ее.

Вещизм, мещанство, накопительство, могут быть не только материальными, но и духовными. Тех, кто любит путешествовать, ездить, смотреть, читать – *потреблять* культуру, тоже надо считать мещанами, если они не отдают ничего соответственного другим. Тех, кто плюет на справедливость и заботится только о себе. Отдающий себя делу, детям, другому человеку, много работающий, пусть даже менее знающий и информированный, не посещающий музеи и выставки, заслуживает гораздо большего уважения, чем эти *духовные тунеядцы*, гордящиеся своей культурой, начитанностью и интеллигентностью.

О потере смысла жизни человеком говорят как о чем-то вроде психического заболевания. Вот, мол, как важен интеллектуальный аспект существования. На самом деле за потерей смысла жизни обычно стоит потеря чувства жизни, того бесцельного и бессмысленного ощущения бытия, радости от него, которые дают мотив к деятельности, в том числе умственной. Последняя, особенно в виде информации, разросшись, как раз и подавляет свой источник. Поэтому в глобально-экономическом обществе все больше торгово-развлекательных центров, кружков и групп, где продают удовольствия и «учат чувствовать» – и все меньше радости. Возникает «депрессивное сознание». Все больше прямо с рождения. Аутисты.

* * *

Постмодернизм – это посткультура, когда мир текст, а жизнь дискурс. «Риторика». Культура – тормоз прогресса, и борьба с ней – главная задача идущих в России, да и всем мире тотально-технологических реформ. Вместо Общества возникает Технос. Посткультура – это игра творцов смерти культуры. Имитаторы бытия, создатели симулякров. *Постчеловеческое (не)творчество.*

Предел посткультуры – постбытие. Наше Ничто. Никто. Непрерывный инновационный процесс, поток, который размывает идентичность предметов. Размывает «присутствие». И уносит человека. «Не быть» диктуется всем. «Быть» – ваше Личное дело. И тем, кто хочет выжить и спастись, я говорю: «На выход. Без вещей. *Следуйте за мной*».

Навстречу 800-летию Нижнего Новгорода: эпохи, судьбы, факты

ВЕКОВ МИНУВШИХ ШЕЛЕСТЯТ СТРАНИЦЫ...

Нижегородские архивисты готовят научное издание писцовой книги начала XVII века

Предисловие

Появление крупного и серьезного документального исторического источника для исторической науки всегда событие. Мы, нижегородцы, не избалованы этим. Хотя не стоит и забывать, что наша родина дала России знаменитую Лаврентьевскую летопись, в которой содержалась «Повесть временных лет», а сама Нижегородская земля во все не является забытым уголком, откуда «три года скачи, никуда не доскачешь». Отраднo, что подготовка к празднованию 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода позволила найти средства для издания весьма серьезного документа – «Писцовой книги» 1621–1623 по Нижегородской земле. Руководитель этого издательского проекта – заместитель директора Центрального архива Нижегородской области Ольга Аржанова, а в подготовке и издании непосредственно участвует и руководитель комитета по делам архивов Борис Моисеевич Пудалов, однако не в качестве начальника, а как кандидат филологических наук и специалист по средневековым рукописям.

1621 год, когда проводилась перепись и создавалась «Писцовая книга», позволяет рассматривать его как своеобразную веху после пришедших к своему окончанию весьма серьезных исторических процессов, в которых наша нижегородская родина была в центре ключевых событий русской истории, творения Российского государства. Напомню, что только-только закончились Смутное время, эпоха Рюриковичей, Шуйских, Лжедмитриев, борьба с шведской, польско-литовской интервенциями, только что заключен Деулинский мир и на землю русскую вернулся патриарх Филарет – отец царя Михаила Романова, наконец наступило единство светской и церковной власти, примирение низов и верхов, и можно было наладить мирную жизнь людей в государстве.

Стоит приглядеться повнимательнее к этому историческому моменту: что сохранилось от прежнего уклада, что кануло в Лету, что появилось нового. Это вдвойне важно для пограничных и активных земель, какой являлась наша Нижегородчина.

Новый этап жизни на нашей земле и на Руси в целом начинался в изменившихся, как сказали бы сейчас, геополитических условиях: сравнительно недавнее присоединение Казани и Астрахани сделало всю Волгу русской рекой, а присоединение Сибири открыло новые возможности движения на Урал и в Сибирь и по Чердынскому тракту, и по Каме. В этих обстоятельствах складывается и наша Нижегородская земля. Писцовая книга дает возможность рассмотреть этот процесс в деталях.

В XVII веке наша земля выступила как начало многих богатств и движения этих богатств на восток – сотни лет шли нижегородцы по Чердынскому тракту и осваивали Пермский край, а Строгановы вложили громадные средства в экспедицию Ермака для завоевания и последующего освоения Сибири. Появляется Нижегородская (тогда Макарьевская) ярмарка, и Нижний становится точкой притяжения торговых капиталов мно-

гих стран. В этом же веке, как известно, произошел раскол Православной церкви. И в этом страшном духовном и социальном разломе громадную роль сыграли нижегородцы. В середине века в Москве господствовал Кружок ревнителей благочестия, в котором влияние нижегородцев была столь велика, что нередко и сам кружок исследователи называют Нижегородским. Из его известных деятелей стоит напомнить хотя бы духовника царя нижегородца Степана Вонифатьева (фигура до сих пор недостаточно изученная), патриарха Никона и протопопа Аввакума. В публикуемом ниже интервью речь идет и о них.

Интерес представляет и этническая сторона вопроса. Материал «Писцовой книги» делает сомнительной известную легенду о происхождении названия Арзамаса от мордовского «эръзя». Видимо, требуются дополнительные исследования. Мнение о мордовском происхождении Никона и тем более Аввакума также несостоятельно. Никон и Аввакум по происхождению русские. Расхожая сентенция «поскреби русского, получишь татарина» также оказывается ложной и одновременно находит свое объяснение (сродни нашему недавнему увлечению американизмами или галломанией в XIX веке).

Все сказанное позволяет заключить, что наши архивисты внесли весомый вклад в понимание прошлого не только нашего края, но и России в целом.

Подробнее – в нашей беседе.

*Николай БЕНЕДИКТОВ, член Союза писателей России,
доктор философских наук*

Борис ПУДАЛОВ

Родился в 1962 году в Калининграде. Окончил историко-филологический факультет Горьковского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. Кандидат филологических наук. Руководитель комитета по делам архивов Нижегородской области.

Автор книги «Смутное время и Нижегородское Поволжье в 1606–1612 годах», монографий «Начальный период истории древнейших русских городов Среднего Поволжья (XII – первая треть XIII вв.)», «Русские земли Среднего Поволжья (вторая треть XIII – первая треть XIV в.)», учебного пособия «Письменные источники по истории Нижегородского края XIII – начала XVIII вв.», а также многочисленных статей историко-архивной и краеведческой тематики, составитель сборников документов, в том числе «Нижегородский край в конце XVI – первой половине XVII в. (Акты приказного делопроизводства)». Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, памятной медалью «Патриот России». Лауреат премии Минина и Пожарского Законодательного собрания Нижегородской области, дважды лауреат премии Нижнего Новгорода.

НУЖНО УМЕТЬ ПОСТАВИТЬ ВОПРОС

Николай БЕНЕДИКТОВ: Итак, Борис Моисеевич, прежде всего: что такое писцовая книга?

Борис ПУДАЛОВ: Научное определение гласит: «Писцовые книги содержат подворную перепись населения с описанием городов, сел, деревень и других населенных пунктов, а также земель и угодий». Писцовые книги, или, иначе, «книги письма и меры», составлялись регулярно (примерно раз в двадцать-тридцать лет) на протяжении XV–XVII веков,

а начало проведения таких переписей вызвано, по-видимому, образованием Русского централизованного государства. Переписи велись отдельно по каждому уезду (губерний и областей в те времена не существовало), и составители книг, называвшиеся «писцами уезда», поименно записывали владельцев каждого населенного пункта (помещиков или вотчинников), принадлежавших им крепостных крестьян и бобылей, количество пашни господской и крестьянской, размеры других угодий (например, количество сена, условия пользования лесом и т. п.). В уездном городе и в селах кроме собственно населения и угодий подробно описывалась каждая церковь: чаще всего деревянная, рубленая в виде клетки («древяна, клецки»), на чьи средства построена – властями, помещиками или сельским «миром», какие имеются иконы, книги, ризы, сколько церковных дворов (обычный причт того времени – поп, дьякон, пономарь и просвирница), размеры церковной пашни и откуда выделена земля для нее.

Даже этот беглый обзор содержания обычной писцовой книги показывает, каким ценным источником она может стать для изучения экономической и социальной истории родного края, а также для исследований по генеалогии – причем не только дворян, но и податных сословий, по антропонимике (анализ имен собственных, наиболее употребительных в то время у разных сословий), по исторической географии, церковной истории... Для историков и филологов это поистине кладезь информации!

Н. Б.: Значит ли это, что писцовые книги давно и много изучались и сейчас хорошо известны?

Б. П.: К сожалению, источниковые возможности писцовых книг ученые осознали значительно позже, чем, например, летописей. На то были свои причины: в глазах историков XIX века политическая история с ее деяниями государей была явно привлекательней, чем история социально-экономическая, имеющая дело с сухими перечнями имен и владений, требующая глубокого статистического анализа. Лишь к началу XX века пришло понимание того, что политические события во многом (не во всем!) обусловлены экономическими причинами, приводящими в действие сложные социальные процессы. В таком понимании истории свою роль сыграла, безусловно, методология исторического материализма: именно в этот период марксизм овладевал умами. Но примечательно, что к этому же приводила и практика исторических исследований! Так, В.О. Ключевский, весьма далекий от исторического материализма, уделял в своих работах большое внимание истории хозяйственной деятельности, обусловившей формирование слоев общества, а его младший современник С.Ф. Платонов (тоже ни разу не марксист) поставил в связь политику регионов Московского государства в период Смуты начала XVII века с особенностями их экономического развития и статуса уездных дворянских корпораций – так называемых «служилых городов».

Но решающее значение имели все же труды академика С.Б. Веселовского (1876–1952). Буквально накануне революции Степан Борисович издал двухтомный труд «Сошное письмо», в котором детально проанализировал историю организации переписей в Русском государстве и привел их сводный перечень по упоминаниям в документах того времени. Фактически Веселовский стал для писцовых книг примерно тем же, чем был А.А. Шахматов для русских летописей. И, хотя общий фон для объективного изучения отечественной истории порой бывал в XX веке

по разным причинам неблагоприятным (вспомним и двадцатые, и тридцатые, и сороковые годы), и хотя многие работы Веселовского увидели свет спустя десятилетия после его смерти, все же значение писцовых книг и близких к ним по составу источников уже не подвергалось сомнению. Самый яркий пример – четырехтомный труд «Аграрная история Северо-Запада России», выполненный в 1970-е годы коллективом ученых под руководством проф. А.Л. Шапиро на основе статистической обработки обширного массива писцовых, переписных книг и подобных им памятников массовой документации XV–XVII веков по Новгородской и Псковской землям и Русскому Северу. Именно так были получены важнейшие данные, позволившие по-новому взглянуть на многие проблемы социально-экономической жизни средневековой России.

Н. Б.: Насколько полно сохранились писцовые книги по Нижегородскому краю?

Б. П.: Увы, сохранность писцовых книг по Новгороду Нижнему гораздо хуже, чем по землям «Господина Великого Новгорода». На протяжении веков пожары и войны погубили немало старинных документов, и переписи населения не стали исключением. Московский пожар 1626 года, уничтоживший, среди прочего, столичные приказы с их документацией, современники недаром называли «великим». В итоге по нашему краю от переписей XV века остались лишь «обмолвки вскользь» в более поздних текстах, а от XVI века – чудом сохранившиеся «отрывки из обрывков». Например, почти двадцать лет назад, готовя к изданию документ 1509 года, наткнулся на фразу о нижегородских книгах 1481/82 годов; чудом сохранилась и опубликована перепись (так называемая «сотная») 1533 года на Узольскую волость...

Иное дело – XVII век, в течение которого было проведено три больших, фактически валовых переписи всех уездов: в начале 1620-х, в середине 1640-х и в 1670-х годах. Здесь сохранность писцовых книг значительно лучше. Сотрудник Российского государственного архива древних актов М.Ю. Зенченко и его коллеги опубликовали сводный указатель-справочник по всем реально сохранившимся рукописям, содержащим писцовые книги, с точными поисковыми данными и сведениями об имеющихся публикациях. В 6-м томе этого справочника помещены сведения о писцовых книгах Нижегородского края. К сожалению, этот том стал последним для Михаила Юрьевича, жизнь которого безвременно оборвалась в результате тяжелой болезни. Но теперь мы имеем надежную основу для планирования публикации писцовых книг родного края.

Н. Б.: Неужели за весь XX век нижегородские историки не издавали писцовые книги?

Б. П.: Имеющиеся издания относятся преимущественно к началу XX века, и выходили они в сборниках трудов Нижегородской губернской ученой архивной комиссии. Инициатором публикаций был А.Я. Садовский (1850–1926) – последний дореволюционный председатель комиссии и первый советский руководитель государственной архивной службы в нашей губернии (губархбюро). Научные взгляды и исследования Александра Яковлевича формировались в основном под влиянием трудов Ключевского и Платонова. Поэтому неслучайно под редакцией и при непосредственном участии Садовского увидели свет писцовая книга по Балахне 1674–1676 годов и дозорная по Нижегородскому уезду 1613 года; по Арзамасскому уезду 1621–1623 годов. Эти публикации не потеряли научного значения, но, к сожалению, нередко

они были бессистемны, правила передачи древнерусского текста не вполне соответствуют современным требованиям; к тому же многое не удалось завершить: помешала Первая мировая, за которой последовали две революции, Гражданская... А потом внимание ученых-историков в Горьковском университете оказалось привлечено к иным эпохам и проблемам, так что специалисты, умевшие работать с подлинными рукописями XVII века, оказались, по сути, «случайно уцелевшими кадрами»...

Н. Б.: Видимо, настало время «собирать камни».

Б. П.: Можно и так сказать. Методика публикации текстов писцовых книг уже отработана специалистами; сейчас в нашем распоряжении есть необходимая справочная литература и новейшие технологии. Появилась возможность вести компьютерный набор текста, используя цифровые копии рукописей XVII в., причем трудный для понимания фрагмент легко увеличить на мониторе, лучше разглядеть ту или иную «завитушку» в приказной скорописи...

Учитывалась специфика Нижегородского края. В XVII веке его территория в основном входила в три самостоятельных уезда – Нижегородский, Балахнинский и Арзамасский. Власти каждого из этих уездов напрямую подчинялись Москве. Заселение и освоение уездов происходило в разное время и при разных обстоятельствах, что отразилось и на документации, и на степени ее изученности. Разумеется, наибольшее внимание привлекает Нижегородский уезд и его центр – Нижний Новгород. В 2015 году вышел в свет фундаментальный двухтомник «Материалы по истории Нижегородского края конца XVI – первой четверти XVII века», подготовленный специалистами Российского государственного архива древних актов (именно там хранятся подлинники наиболее ценных документов этого периода). Этот труд по праву считается образцом для последующих изданий такого рода. Сейчас московские коллеги работают над источниками по истории Балахны и лесного Заволжского края. Поэтому для нас первоочередная задача – публикация писцовых материалов по истории Арзамасского уезда.

Как известно, этот уезд значительно «моложе» Нижегородского и Балахнинского: он сформировался в составе Русского государства во второй половине XVI в. Но именно это обстоятельство позволяет достаточно подробно изучить процесс заселения и освоения Арзамасской округи. При этом наиболее ранние арзамасские документы (до начала XVII века) были опубликованы и введены в научный оборот еще С.Б. Веселовским. Сейчас вышел в свет сборник документов Арзамасской приказной избы допетровской эпохи (до 1682 года), по сути, хронологически продолживший труд Веселовского. Глубокое комментирование документов этого сборника, с анализом исторических судеб местных служилых землевладельцев, побудило подготовить к изданию так называемые «десятни» – военно-учетные списки всей уездной дворянской корпорации, содержащие краткие сведения об имущественном состоянии и о боеспособности («конно, людно и оружно»). Арзамасские десятни 1630 и 1649 годов – ценнейший источник по военной истории, генеалогии и антропонимике – должны увидеть свет в конце 2020 года. Итогом данного этапа работы призвана стать публикация писцовой книги Арзамасского уезда 1621–1623 годов.

Н. Б.: Ответы на какие вопросы сможет дать эта писцовая книга?

Б. П.: Прежде всего, она объективно покажет экономическое состояние Арзамасского уезда к этому времени. Как известно, сама валовая перепись всех уездов Русского государства, предпринятая в 1621–1623 годах,

как раз и призвана была показать, с чем страна выходит из Смуты, длившейся с 1604 по 1618 год. Надо было учесть количество податного населения, крестьянских дворов, с которых можно было собирать налоги, а заодно и выяснить состоятельность местных дворян (в те времена они именовались «дети боярские»), которые не прочь были уклониться от военной службы, ссылаясь на разорение своих поместий: «мы-де бедны, деревнишки наши разорены, крестьянишки посечены или разбежались, и на службу нам подняться нечем без государева жалованья». Для Арзамаса это особенно актуально, так как в уезде неоднократно велись боевые действия в 1607–1612 годах.

Во-вторых, мы получим полный перечень всех населенных пунктов того времени, потому что наряду с уездным городом Арзамасом в писцовой книге перечислены все села, деревни, починки и пустоши, существовавшие к началу 1620-х годов. И все это – с четкой привязкой к речкам, оврагам, полянкам, главным дорогам, так что специалистам по исторической географии останется только нанести эти данные на карту.

В-третьих, очень важно восстановить персональный состав «служилого города» (уездного дворянства), потому что местные землевладельцы играли ключевую роль в освоении Арзамасского уезда и обороне от внешних врагов, да и вообще во всех событиях в жизни региона. Публикация писцовой книги позволяет связать ее сведения с имеющимися данными на 1615 и 1630 годы, выстроив непрерывную цепочку истории «служилого города» за целое столетие.

Н. Б.: Что вообще представляли собой арзамасские дворяне того времени: сколько их было и откуда они взялись на этих землях?

Б. П.: Формирование уездной корпорации служилых землевладельцев, то есть «служилого города», происходило одновременно с возникновением Арзамасского уезда, то есть со второй половины XVI века, примерно с 1560-х годов. После присоединения Казани (1552) и Астрахани (1557), когда Волга стала русской рекой, земли юга нашего региона вошли в состав Московского государства, и на этих землях были помещены «служилые дети боярские» – представители низшего и самого многочисленного слоя тогдашних феодалов (в то время значение термина «дворяне» было несколько иным). Новые помещики обязаны были нести военную службу, поэтому набирали их преимущественно из приграничных регионов, где воевать было делом привычным. Общая численность арзамасского «служилого города» составляла в разные периоды от 300 до 500 с лишним русских детей боярских, которых сопровождало некоторое количество боевых холопов, а также полторы-две сотни служилых татар – подданных русского царя. В итоге весь этот отряд поместной конницы по численности превосходил «служилый город» Нижнего Новгорода. Оно и понятно: приграничье...

До строительства города-крепости Арзамаса, то есть до 1560-х или даже начала 1570-х, уезд управлялся из Мурома, поэтому основная масса местных помещиков «первого призыва» – муромчане. Потом к ним добавились выходцы с других окраин страны: Рязанского края, Пскова с «пригородками», несколько меньше – из Нижнего Новгорода. Кстати, происхождение служилых проявлялось и в языковых особенностях делопроизводства: в отличие от традиционного нижегородского «оканья» (написания типа «Орземас», «Олексей»), для арзамасских документов характерно «аканье» («аклатчики», «Графимко», «асмина»).

Н. Б.: Какие задачи приходилось решать арзамасцам после того, как граница была отодвинута от нашего края?

Б. П.: Даже после «Казанского взятия» мир пришел в наш край далеко не сразу. Сначала, в 1560-е годы, пришлось отражать набеги поволжских народов в ходе «черемисских войн», и это привело к поэтапному, вплоть до начала 1580-х, расширению территории Арзамасского уезда. Затем арзамасцам довелось участвовать в походах в Нижнее Поволжье, на Северный Кавказ, нести охрану южных границ Руси... Практически ежегодный сбор войска не обходился без арзамасцев, но заметных прибылей им это не приносило: почти невозможно было ни повысить свой социальный статус и войти в состав Государева двора, ни добиться прибавки к поместьям или перевести их в вотчину, ни получать стабильное денежное жалованье. Служба была тяжелой, а служить по Арзамасу считалось менее престижным, чем, например, по Нижнему Новгороду. Вот это противоречие и подтолкнуло арзамасский «служилый город» поддержать Лжедмитрия II во время Смуты, в надежде на то, что-де «природный государь наш Дмитрий Иванович пожалует верных слуг своих». Это стоило карьеры, а то и жизни некоторым честолюбцам и продолжалось недолго: в 1612 году арзамасцы приняли активное участие в ополчении Минина и Пожарского и впредь «в воровстве замечены не были». Но и правительство нового царя Михаила Романова тоже сделало выводы: верхи арзамасского «служилого города» стали приниматься в Государев двор наравне с нижегородцами, а отличившимся в обороне Москвы в 1618 году пожаловали вотчины и т. п.

Впрочем, имения, которые приходилось делить между детьми, мельчали, а значит, сызнова приходилось искать «землицу и людишек на ней». Во второй половине XVII века арзамасских дворян стали наделять поместьями на вновь осваиваемых землях: в Саранском, Пензенском, Симбирском и других уездах. В результате и там стали появляться свои Языковы, Нечаевы, Лопатины, а арзамасский «служилый город» постепенно утратил свое значение.

Н. Б.: В фамилиях коренных арзамасских дворян нередко звучат тюркские корни. Характерный пример – Чаадаевы. Может ли это свидетельствовать о татарском происхождении русских дворян?

Б. П.: Далеко не всегда! Эти фамилии происходят от мирских имен-прозвищ, которые служилые люди русского средневековья носили вполне официально, наряду с крестильными, каноническими христианскими именами. В десятнях да и в писцовых книгах сплошь и рядом встречаются русские православные дети боярские с именами «Савлук», «Севрюк», «Салтан», «Шарап», попался даже один «Мурза»; у их потомков эти имена-прозвища становились фамилиями. Но когда начинаешь внимательно изучать происхождение этих Шараровых, Чуфаровых, Болтиных по сохранившимся поместно-вотчинным документам, выясняется, что старые легенды или нынешние заверения о татарских корнях, мягко говоря, голословны.

Пристрастие к именам-прозвищам тюркского происхождения – это проявление особой воинской субкультуры служилых людей XV–XVI веков. В ту эпоху татарские всадники были эталоном воинов, да и сама тактика русской поместной конницы в значительной мере основывалась на татарском боевом опыте. Поэтому нет ничего удивительного, что профессиональные воины подражали татарам не только в военном деле, но и в повседневности (которая, впрочем, почти всегда была связана с боями и походами). Известен, например, курьезный случай, когда один из князей Шаховских, коренной русак и потомственный Рюрикович, у которого татары в родне и близко не стояли, писал

в родословце о своем происхождении от «татарского выезжего мурзы». Психологически это напоминает пресловутую галломанию XIX века, когда не только столичном салоне, но и в любом «усть-ухрюпинском» захолустье дворяне русские (и ни разу не французы!) именовали себя и друг друга «Жан», «Поль», «Пьер», «Мишель»... Что-то подобное произошло и у Петра I, называвшего себя на голландский манер «Питер», а новую столицу – «Санкт-Петербург». Из более близкого к нашему времени уместно вспомнить характерное для некоторых молодежных компаний 1980-х годов пристрастие к именам-прозвищам на американский манер: «Сэм», «Фил», «Джордж», «Майк»...

Видимо, к концу XVI века образ почти непобедимого татарского воина в сознании русских дворян сильно потускнел, но прозвища успели стать фамилиями. Вот и остались потомки русских псковичей с фамилией Болтин (от тюркского «болта» – топор), а не менее русских Протасьевичей – с фамилией Чаадаев (от тюркского «чегодай», «чаадай» – храбрый, честный, искренний). Следовательно, фамилия того или иного корня не может считаться достаточным основанием для выводов о происхождении: необходимо внимательное (и весьма критическое!) изучение генеалогии по всем доступным документам. В противном случае велик риск сочинений на тему о «Кирише Минибаеве». И еще добавлю: в исторических исследованиях местечковый национализм, а также великодержавный шовинизм и любой другой политизированный «изм» абсолютно недопустимы, ибо превращают науку в шоу-бизнес.

Н. Б.: Мы с вами затронули тему межэтнических контактов в русском пограничье. Какие свидетельства может дать писцовая книга и другие документы Арзамасского уезда?

Б. П.: Судя по сохранившимся источникам, в Арзамасском уезде во второй половине XVI – первой четверти XVII веков проживали представители трех этносов: русские, татары и мордва. Прочее – на уровне «исторических курьезов». Например, есть упоминания о трех служилых иноземцах-«литвинах» Яне Богатом, Ульяне Панове и Станиславе Ружинском, верой и правдой служивших Московскому государству еще в конце XVI века, но говорить об их «этнически значимом» вкладе в историю края не приходится. По сути, остался лишь след в названии бывшего поместья: село Яново под Сергачом. А в селе Микулино на речке Ежати, в вотчине стольника князя П.Г. Ромодановского, писцовая книга среди крестьян называет некоего «Гришку новокрещена, родиною латыша», который жил в зятях у местного сапожника. О том, какая нелегкая занесла этого латыша в Арзамасский уезд, можно только догадываться, но уже дети его наверняка обрусели. Кстати, к началу 1620-х годов в уезде упоминается несколько русских крестьян с поместьями «смольянин», «вязьмитин»: они бежали в наш край в период Смуты из-под Смоленска и Вязьмы, не пожелав стать подданными Речи Посполитой. Ранее известно было о лишь о беженцах-дворянах, привыкших воевать с поляками, но, как свидетельствует писцовая книга, крестьянам тоже было не все равно, под чьей властью находиться, и патриотические чувства им были не чужды.

Но это, повторяю, единичные случаи. Большинство населения в Арзамасском уезде к началу 1620-х составляли русские, им посвящен основной массив сохранившихся документов. К сожалению, нет данных по численности и социальному составу татарского населения: видимо, «книга письма и меры» на татар составлялась отдельно, как и десятни. Судя по сохранившимся актам приказного делопроизводства,

арзамасские татары-«мишари» были служилыми людьми: их конный отряд участвовал в походах русского войска, и за эту службу они получили земельные владения на юго-востоке уезда, где значительно позже был создан Сергачский уезд (и отсюда еще одно наименование: «сергачские татары»). Лишь у немногих представителей знати, таких как князья-мурзы Чегодаевы (не путать с Чаадаевыми!) и Мустофины, владения были сравнительно большими вотчинами; у большинства же их соплеменников это были мелкие поместья, зачастую без крепостных крестьян, так что работать служилым татарам приходилось самим. Происхождение «татар-мишарей» нуждается в дополнительном изучении: их отличие от татар казанских очевидно. По-видимому, в Арзамасский уезд служилые татары пришли вместе с русскими из Муромского уезда в середине – второй половине XVI века. О каких-либо конфликтах в уезде татар-мусульман с русскими на национальной и религиозной почве нет свидетельств вплоть до середины XVII века: правительственные меры по принуждению татар к крещению принимались позже, так что об ассимиляции татарской знати в Нижегородской губернии можно говорить не ранее XVIII века.

Коренным, исконным (автохтонным) населением территории Арзамасского уезда была мордва, относящаяся к волжско-финской подгруппе финно-угорских народов. Писцовая книга 1621–1623 годов содержит неполные сведения о мордовских поселениях: судя по тексту, мордва более или менее компактно проживала на нескольких лесных территориях, в сравнительно крупных деревнях, и занималась преимущественно лесными промыслами, прежде всего бортничеством. Местная знать издавна владела бортными ухажьями, и ее имущественные права были подтверждены русским правительством, но социальный статус мордвы был ниже, чем у татар: по сути, это были дворянские крестьяне, платившие подати и работавшие на государство.

Интересно, что ко времени возникновения Арзамасского уезда в составе Московского царства местная мордва в массе своей оставалась язычниками, но изредка там упоминаются носители мусульманских имен. Напрашивается осторожное предположение, что в период до падения Казани (1552) какая-то часть мордовской знати подверглась исламизации со стороны казанских татар. Зная нравы Казанского ханства, процесс этот едва ли был мирным и добровольным. Угроза насильственной исламизации могла стать одной из причин вступления мордвы в русское подданство: не «покорение» и не «братское единение», а что-то вроде «брака по расчету». И действительно, русским не было дела до верований и жизненного уклада мордвы, которая пользовалась неким подобием автономии, да и подати поначалу были не слишком обременительны. Тяжкими эти подати стали на рубеже XVII–XVIII веков, а попытки массового насильственного крещения мордвы предпринимались начиная с 1740-х годов. Но все это произошло значительно позже, и об этом есть не потерявшее актуальности исследование А.А. Гераклитова об арзамасской мордве, основанное на писцовых и переписных книгах последней трети XVII – первой трети XVIII веков. А в более ранних документах, в том числе относящихся к началу 1620-х годов, нет упоминаний о конфликтах, зато в некоторых мордовских деревнях вместе с мордвой вполне себе мирно проживали русские бортники в качестве, так сказать, «национального меньшинства». Здесь, по-видимому, могли быть и смешанные браки. Известно, впрочем, несколько запутанных дел о спорах из-за угодий, но причиной их, разумеется,

была не этническая или религиозная рознь, а обычное хищничество отдельных русских помещиков, пытавшихся округлить свою пашню за счет лесов мордовских соседей.

Для изучения истории отношений русских и мордвы в начальный период формирования Арзамасского уезда очень показателен тот факт, что практически все названия небольших речек и оврагов в XVII веке – мордовского происхождения: Ошнара, Ежать, Ашкилей, Червалей, Коломалей... В то же время названия абсолютного большинства сел и деревень уезда – русские, происходящие от фамилий их русских владельцев-основателей, например, Лопатино, Анненково, Левашовка, Болтино, Чуфарово, Саврасово, либо от их имен: Ондросово (Ондрос Нечаев), Смолино (Смола – мирское имя одного из Шадриных). Реже встречаются и названия, происходящие от прозвищ помещиков, например Ветошкино, основанное Дмитрием «Ветошкой» Лопатиным. Известен случай, когда в названии села – сразу фамилия и имя помещика-основателя: Паново-Леонтьево (Леонтий Панов был русским однофамильцем, но не родней служилого «литвина» Ульяна Панова).

Приведенные примеры – пусть косвенное, но очень важное свидетельство по истории заселения юга нашей области. Получается, что до прихода русских значительные территории оставались пустыми и мордва на них не селилась, предпочитая лесные массивы. Русские первыми поставили на пустовавшей земле свои села, деревни и починки, распахали пашню и стали заниматься земледелием. Мордва же сохранила свои деревни в лесах и традиционные лесные промыслы. Скорее всего, в этом различии хозяйственных интересов – первопричина длительного мирного сосуществования двух народов, или даже трех, считая служилых татар-«мишарей». По крайней мере, сохранившиеся выписки из писцовых книг 1580-х годов, опубликованные когда-то С.Б. Веселовским, показывают процесс наделения земель русских помещиков в восточном, Залесном, стане Арзамасского уезда и при этом не содержат никаких упоминаний об изгнании с этой земли мордвы, захвате или разрушении мордовских поселений, да и вообще о присутствии здесь таковых. Зато сплошь и рядом звучит в писцовых книгах выражение «дикое поле»...

Н. Б.: Приведенные вами примеры показывают, насколько публикация писцовых книг начала XVII века интересна для историков. Но представляют ли они интерес для других гуманитарных наук, например для филологов?

Б. П.: В моем понимании филология – это неотъемлемая часть исторической науки: история языка и история литературы. И неслучайно с дореволюционных времен вплоть до недоброй памяти «перестройки» в университетах существовали единые историко-филологические факультеты. Поэтому нет ничего странного, что крупнейшие историки в своих работах постоянно касались филологических вопросов, а великие филологи работали с историческими источниками. Нашим читателям рекомендую вспомнить, например, очерк В.О. Ключевского «Грусть» или труды А.А. Шахматова и Д.С. Лихачева о русском летописании. Каждое документальное свидетельство прошлого способно стать важным источником и для историка, и для филолога, нужно только уметь поставить вопрос и искать на него ответ, но при этом помнить: рукописи не говорят, если не научиться их понимать.

Одно из возможных филологических исследований на материале писцовых книг – это анализ антропонимики. Переписи содержат тысячи

личных имен и отчеств людей из разных социальных слоев. Интересно выяснить, какие личные имена были наиболее популярны в тот или иной период, как и под влиянием каких причин менялись нравы. Применительно к истории конца XVI – первой трети XVII веков очень важно проследить соотношение православных канонических («молитвенных») и неканонических, «мирских» личных имен у представителей разных социальных слоев, чтобы через имянаречение постараться понять психологию людей того времени. Подготовленные к публикации десятки служилых арзамасцев 1630 и 1649 годов свидетельствуют, что при преобладании христианских имен (здесь ожидаемо лидировало имя Иван) доля мирских имен была заметной, причем употреблялись эти неканонические имена вполне официально. Как правило, это были славянские слова, обозначающие свойства характера (Любим, Смирной, Замятня, Злоба) либо последовательность рождения детей в семье (Первуша, Третьяк, Пятуня); изредка даже попадаются «псевдоэтнонимы» (Мордвин, Чуваш). Принято считать, что мирские имена чаще встречались у крестьян, чем у помещиков, но так ли это? Можно ли считать, что официальное употребление мирских имен в делопроизводстве продолжалось до петровских времен, либо оно сошло на нет в результате реформ Никона?

Ученые с давних пор искали ответы на эти вопросы: есть, например, интересные работы московского историка В.Б. Кобринина и нижегородского филолога Н.Д. Русинова. Писцовые книги, составлявшиеся на протяжении всего XVII столетия, дадут большой и надежный материал для таких исследований.

Н. Б.: Насколько полны и надежны сведения самих писцовых книг? Есть ли в них сознательные искажения, не говоря уже о ошибках переписчиков?

Б. П.: Разумеется, писцовые книги XVII века не «всемогущи»: в них нет прямых сведений об уровне грамотности населения и о каком-либо обучении, например при церквях; нет статистики урожайности, рождаемости и смертности населения, что было бы очень важно для ученых. К тому же следует помнить, что должностные лица, присланные из Москвы для переписи («писцы уезда»), сами отнюдь не колесили по всем деревням и пустошам и не считали каждый двор, людей, проживавших в нем, их пашню и копны сена. Писцы перемещались между уездным городом и селами – центрами станов, куда землевладельцы или их приказчики доставляли свои записи («сказки») о количестве дворов, крестьян и угодий, составленные в меру собственного разумения. Естественно, при желании можно было попытаться что-то скрыть – например, излишки земли сверх положенного поместного оклада либо беглого крепостного, нашедшего пристанище в чужом поместье, а то и попросту прикинуться «сиротой казанской» и, жалуясь на разоренье, слезно челобитничать о прирезке чужих земель. В научных работах упоминаются отдельные случаи (по северо-западным регионам России), когда деревеньки в писцовых книгах были показаны обезлюдевшими, но по другим документам того же времени «безвестно сшедшие» крестьяне преспокойно проживали в своих избах, никому не платя налоги.

Разумеется, писцы уезда обязаны были соблюдать государственный интерес и не допускать ошибок и искажений; в случае сомнений они перепроверяли помещичьи «сказки». Изредка бывало, что представленные в столицу писцовые книги не утверждались, писцов наказывали, а в уезд посылали новых переписчиков. Тем не менее сведения

«книг письма и меры» по большей части достоверны, а критическое к ним отношение – необходимая часть источниковедческого анализа. Как говорится, доверяй, но проверяй.

А сюрпризы писцовые книги действительно могут преподнести! Вот, например, два наших выдающихся земляка – патриарх Никон и протопоп Аввакум Петров. Оба появились на свет и выросли, судя по их биографиям, в начале XVII века в соседних селах Нижегородского уезда, так что есть возможность найти упоминания об их семьях в опубликованной «Писцовой книге Нижегородского уезда Дмитрия Лодыгина со товарищи» 1621–1623 годов. Давайте попробуем сделать это вместе.

Никон, в миру Никита сын Мины, родился примерно в 1605 году в селе Вельдеманово; современники не раз именовали его мордвином, и это воспринято в краеведческой литературе. Между тем, судя по писцовым материалам, Вельдеманово было мордовской деревней в XVI веке, но к XVII веку это было уже русское село, с русским крестьянским населением, причем помет «новокрещен» нет. К тому же село было сожжено в период Смуты, а затем отстроено вновь, и это заставляет предполагать движение населения: кто-то погиб, кто-то «сшел безвестно», на их место поселились новопришельцы... Иными словами, мордовское происхождение Никона далеко не очевидно и требует доказательств, а «честному краеведческому слову», как и обзывательствам староверов, доверять безоговорочно не стоит. Но дело не только в этом. В перечне жителей села Вельдеманова начала 1620-х годов нет ни Никиты (которого могли и не упомянуть из-за юного возраста), ни, что важнее, вообще ни одного Мины! Что же это: лживая биография или ошибка составителей писцовой книги? Видимо, ни то ни другое. К селу Вельдеманову были приписаны несколько близлежащих деревенок, жители которых как вельдемановские переселенцы продолжали именоваться по своему селу (нечто подобное, кстати, происходит и сегодня, когда проживающие в деревне Кузнечиха с полным основанием называют себя жителями Нижнего Новгорода). Так вот, в деревне Шершово (ныне село в Перевозском районе), населенной вельдемановцами, проживало в начале 1620-х годов два Мины – крестьянин Минка Киреев и бобыль Минка Иванов. К сожалению, неизвестно, как звали деда у Никона, поэтому определить, был ли кто-то из этих двоих отцом будущего патриарха, пока не удастся.

Еще сложнее с Аввакумом. В своем «Житии» огнепальный протопоп вполне определенно утверждал: «Рождение же мое в нижегородских пределах, за Кудьюмою рекою, в селе Григорове. Отец мой был священник Петр...» По отдельным упоминаниям возраста можно установить, что родился Аввакум примерно в 1620 году (как говорится, «плюс-минус»). В «Писцовой книге Нижегородского уезда» 1621–1623 годов находим село Григорово Закудемского стана. Как положено, описание сельской церкви и ее причта помещено в самом начале, но... попа Петра там нет! В церкви служат поп, дьякон, пономарь с совершенно другими именами. Что же получается? Семья Аввакума переехала куда-то после рождения сына или, напротив, «не доехала» до Григорова? Но ведь сам Аввакум ни о каких переездах семьи из Григорова ни разу не обмолвился: семья так и жила в Григорове, да и куда переезжать, если, как писал протопоп, «отец мой прилежал к питию хмельному»?

Впервые наткнувшись на эту загадку, нижегородский профессор Н.Ф. Филатов предложил в своей книге «На родине огнепального

Аввакума» (Н. Новгород, 1991) такое объяснение: отцом Аввакума был Петр Кондратьев, названный в писцовой книге 1588 года попом в селе Поповском. А так как, по Филатову, это был единственный в округе поп Петр, то его и пригласили на вакантное (?) место попа в Григорово, где успел родиться Аввакум, а потом выгнали с этого места за пьянство, так что в переписи 1621–1623 годов Петр Кондратьев в качестве попа не указан. Версия Н.Ф. Филатова не выдерживает критики: профессор не удосужился внимательно изучить писцовые материалы по Закудемскому стану, иначе он бы нашел, что Петр Кондратьев никуда не переезжал, а всю жизнь оставался попом в селе Поповском – и в 1588, и в 1613, и в 1621–1623 годах. Более того, к началу 1620-х годов он оброс семейством и постарался пристроить его тут же, в Поповском: один из его сыновей был уже вторым попом и готовился занять место состарившегося отца, второй был дьяконом в той же церкви... Следовательно, Петр Кондратьев – не отец, а тезка отца Аввакума.

Между тем возможны и другие объяснения. Родители Аввакума могли обосноваться в Григорове вскоре после переписи 1621–1623 годов, так что незадолго до того родившийся Аввакум мог с полным основанием считать Григорово своей родиной. Либо его отец Петр жил в Григорове как «безместный поп», что вполне возможно, учитывая его страсть «к питию хмельному». В этом случае он с семейством в писцовую книгу записан не был. Объяснимо и отсутствие в переписи кузнеца Марка, на дочери которого мать женила Аввакума. Действительно, в писцовой книге 1621–1623 годов кузнец Марко в селе Григорове не указан, но ведь Анастасия Марковна, жена Аввакума, родилась, судя по упоминанию «Жития», в 1624 году, а знакомство и женитьба состоялись в Григорове примерно в 1638-м, так что семейство кузнеца могло поселиться в Григорове и после переписи. Либо, в силу каких-то причин, кузнец был «сокрыт» от переписчиков в 1621 году, что менее вероятно: слишком заметной фигурой на селе был кузнец.

Приведенные примеры показывают, какие загадки способны иной раз преподнести писцовые книги. И это делает их изучение особенно интересным.

Протоиерей Владимир ГОФМАН

Родился в 1953 году в городе Городце Горьковской области. Окончил Рыбинский авиационный техникум, историко-филологический факультет Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского и Московскую духовную семинарию. До рукоположения в сан священника работал литейщиком на производстве, журналистом. С 1993 года – священник Русской православной церкви.

Автор ряда поэтических сборников, книг прозы и множества публицистических статей. Лауреат ряда литературных премий, за книгу рассказов «Персиковый сад» в 2012 году удостоен диплома 3-й степени Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

КУПОЛА, СМОТРЯЩИЕ В НЕБО

Храмы Нижнего: между прошлым и будущим

Продолжение. Начало в № 5, 2019 – 3, 2020

ТАК ХРАМ ОСТАВЛЕННЫЙ – ВСЕ ХРАМ... СКОРБЯЩЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Есть такая, почитаемая верующими людьми икона Божией Матери – «Всех скорбящих Радость». По давней российской традиции храмы, которые строились как больничные, освящались в честь этой иконы. Не стала исключением и наша нижегородская церковь, что на перекрестке улиц Минина и Нестерова. Она носит это имя, потому что до революции 1917 года являлась домовым храмом при Мартыновской больнице.

Экскурс в историю

В царствование Екатерины II издается немало указов по медицинским вопросам и, как результат, во всех губерниях появляются своего рода министерства здравоохранения – Приказы общественного призрения, призванные заниматься вопросами лечения больных и заведовать богоугодными заведениями (приюты, богадельни).

Надо сказать, что до этого времени в Нижнем Новгороде не было центральной больницы, необходимость же в ней была достаточно острая. И вот для того чтобы разместить больничный комплекс, была куплена у отставного полковника С.М. Мартынова земля, и началось строительство лечебницы. В 30-е годы XIX столетия строился главный

корпус, а к середине века тут уже расположился целый комплекс больничных зданий.

Согласно законам Российской империи, попечение о всех богоугодных заведениях возлагалось на Православную церковь. Поэтому в новом больничном комплексе появилась сначала небольшая церковь. Она разместилась в главном корпусе губернской больницы и была освящена в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». (От этой церкви сохранился антиминс, освященный епископом Нижегородским и Арзамасским Иоаникием (Рудневым). На строительство отдельного храмового здания пока что не было средств.

Богоугодное дело никогда не останется втуне. Господь действует через людей, а равнодушными людьми наша земля всегда была богата. Купеческая вдова Александра Якимовна Горбунова в память о своем муже предложила настоятелю домовый Скорбященской церкви протоиерею Константину Коринфскому первоначальный взнос на новый храм в размере 4000 рублей. Это были немалые деньги. Они были переданы в Губернскую земскую управу. На очередном земском собрании в декабре 1893 года было принято постановление немедленно приступить к постройке новой больничной церкви, выделив для этого еще 2000 казенных рублей. Общая стоимость всех работ по возведении храма оценивалась губернским земством более чем в 19 000 рублей.

Внимание властей к комплексу и в том числе к храму было пристальным. Достаточно сказать, что Губернская больница в Нижнем Новгороде и Скорбященский храм при ней на протяжении XIX столетия дважды удостоивались посещения особ императорского дома из династии Романовых. 22 августа 1858 года в домовом больничном храме молился государь император Александр II. 17 августа 1866 года Скорбященский храм и больничный комплекс были осмотрены великим князем Александром Александровичем – будущим императором Александром III и его братом Владимиром.

После пожертвования вдовой Горбуновой солидной суммы дело ускорилося. Земство обратилось к правящему тогда епископу Владимиру (Никольскому) за благословением. Дело в том, что Александра Якимовна попросила один из приделов будущего храма освятить в честь пророка Даниила (это имя носил ее муж). Владыка дал благословение. 22 августа (по ст. стилю) 1894 года состоялась торжественная закладка больничной церкви и освящение места под ее строительство. Дата была выбрана в память о посещении Нижнего Новгорода и нижегородской больницы, в частности, императором Александром II. Закладку храма возглавили епископ Нижегородский и Арзамасский Владимир (Никольский) и епископ Балахнинский Алексей (Опоцкий).

Началось активное строительство. Первоначально архитектором был назначен В.Н. Брюхатов, а после его смерти – А.Н. Никитин. Главным источником финансирования, традиционно для храмового строительства, стали именно частные пожертвования. Окончательная стоимость постройки храма составила 26 372 рубля 41 копейку. Освящение храма преосвященным Владимиром, епископом Нижегородским и Арзамасским, было совершено в воскресенье, 4 августа 1896 года. Ему сослужили нижегородские священники: протоиерей Александр Крылов, настоятель церкви при Нижегородском Аракчеевском корпусе, ключарь Спасо-Преображенского кафедрального собора протоиерей Павел Серебровский, протоиерей Алексей Порфирьев и священник Константин Коринфский.

Не была забыта и просьба вдовы. 3 ноября (по ст. стилю) Нижегородский святитель своей архипастырской резолюцией благословил совершить освящение дополнительного храмового престола настоятелю церкви протоиерею Константину Коринфскому. Храм в крипте задуман как усыпальница и освящен в память мужа А.Я. Горбуновой Даниила Горбунова в честь пророка Даниила. При отделке храмовой усыпальницы с приделом был использован резной иконостас из старого больничного храма, а иконы для него были написаны вновь.

До революции, начиная с 1896 года, богослужения в больничном Скорбященском храме осуществлялись в воскресные и праздничные дни. Официально в этом приходе числились жители окрестных домов и все служащие больницы. С началом Первой мировой войны в стенах земской Мартыновской больницы размещались палаты для военного госпиталя.

Новый век. Храм – не храм

Уникальна судьба этого храма и в советское время. В 1920 году распоряжением Нижегородского отдела юстиции больничный храм во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» был закрыт. Несмотря на все усилия верующих и врачей больницы, через год на очередном заседании президиума губернского исполкома было принято еще одно постановление, подтверждающее решение о закрытии храма.

Весной 1922 года богослужения возобновились, но только в верхнем помещении церкви, а нижний храм-усыпальница был занят под нужды больницы. В 1930-е годы решением городских властей храм был вновь закрыт. В годы Великой Отечественной войны здесь находился морг и аптечный склад военного госпиталя.

При всех переменах в судьбе храма одно оставалось неизменным – он всегда оставался в ведении больницы. В феврале 1965 года исполком областного Совета депутатов вынес решение о передаче Скорбященской церкви областной больнице им. Семашко. При этом выделялись средства «на реконструкцию-приспособление помещения бывшей церкви под радиологический кабинет. Здание претерпело большие перестройки как внутри, так и снаружи. О прежнем религиозном его назначении напоминала лишь необычная декоративная отделка фасада. Не узнать бывший храм было и внутри. Вся площадь церкви (как первого, так и второго этажа) была разделена на отдельные небольшие помещения (комнаты, кабинеты). В нижнем цокольном этаже для размещения рентгеновской аппаратуры были возведены мощные железобетонные ограждения. На уровне второго этажа самого храма и под бывшей звонницей был смонтирован фальш-потолок.

На этом мытарства не закончились. Не прошло и десяти лет, как здание храма было передано на баланс Научно-исследовательского радиофизического института для размещения в нем лаборатории и отдела радиофизических методов медицины. Затем оно оказалось на балансе Института прикладной физики (ИПФАН). В храме была организована лаборатория по исследованию механизмов старения и установлена гамма-установка для проведения лучевой терапии (для чего в цокольном этаже была смонтирована бетонная стена со свинцовыми прокладками).

И снова – храм

В год крещения Руси подул ветер перемен. Пока еще слабый, но все же – свежий. Здание храма как памятник архитектуры регионального значения было передано в распоряжение городского управления культуры. Тогда в нем планировалось организовать музей основоположника высшего пилотажа П.Н. Нестерова. Однако управление культуры стало сдавать помещение храма в аренду медицинскому институту для размещения в нем отдела физиологии.

В 1990 году на основании обмеров и сохранившихся фотографий был разработан и утвержден проект реставрации Скорбященской церкви в первоизданном виде (авторами его являлись нижегородские специалисты-реставраторы А.Н. Васильева и В.А. Каравашкин). Летом 1993 года здание церкви было окончательно освобождено арендаторами и передано Нижегородской епархии. Как обычно в те годы, за работу по приспособлению храма для молитвы взялась, по благословению митрополита Нижегородского и Арзамаского Николая (Кутепова), небольшая приходская община, и наконец в декабре 1994 года в нижнем цокольном этаже Скорбященской церкви стали совершаться богослужения.

24 сентября 2005 года митрополит Нижегородский и Арзамаский Георгий (Данилов) совершил чин великого освящения возрожденного храма.

Христос сказал, что Церковь, созданную Им, не одолеют врата ада: «...Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее...» (Мф. 16:18). Церковь – это прежде всего верующие люди. Но это еще и храм, как Дом Божий. И мы видим на живых примерах истинность слов Спасителя.

Николай БЛОХИН

Родился в 1952 году в селе Калюжном Ставропольского края. Окончил отделение журналистики Ростовского-на-Дону государственного университета, редакторское отделение Высшей партийной школы при ЦК Компартии Украины. Работал в редакциях газет и журналов Ставропольского края, Волгоградской и Ворошиловградской областей, Киева.

Автор тридцати книг, среди них – «Изгнание Параджанова», «Михаил Булгаков на Кавказе». Публиковался во многих литературно-художественных журналах и газетах России и Украины. Лауреат ряда российских и украинских журналистских премий.

Живет в Ставрополе.

КАРАНТИН ДЛЯ ПУШКИНА

«Маленькие трагедии», в цикл которых входит и пьеса «Пир во время чумы» – творческая переделка трагедии английского драматурга Дж. Вильсона «Чумный город», А.С. Пушкин написал в Болдинскую осень 1830 года.

В пьесе Вильсона насчитывается тринадцать сцен. Пушкин, убрав второстепенные детали, взял лишь одну сцену: «Улица. Накрытый стол. Несколько пирующих мужчин и женщин». Герои пьесы поминают усопшего друга, вспоминают времена, когда «процветала в мире наша сторона», слушают жалобную песню Мери об опустевших церкви, школе, селенье и о кладбище, куда «поминутно мёртвых носят». Кругом страх, плач над мёртвыми телами: лишь одна улица веселится, собравшиеся за столом слушают гимн в честь чумы, сочинённый Председателем. Старый священник закликает прервать чудовищный безбожный пир «среди ужаса плачевных похорон» и разойтись по своим домам. Ему возражает Председатель, утверждающий, что «юность любит радость», и просит старика оставить его. Священник уходит, и пир продолжается.

В пьесе Вильсона рассказывалось о чуме, поразившей Лондон в 1665 году, во время которой умерло приблизительно около ста тысяч человек, или двадцать процентов горожан. Подробности этой трагедии Пушкин знали по книге Даниеля Дефо «История великой лондонской чумы 1665 г.», имевшейся в его библиотеке. Выбор сюжета был не случаен: южные губернии России поразила эпидемия холеры. И докатилась до Москвы.

Александр Сергеевич Пушкин поехал в Болдино по хозяйственным делам. В июле 1830 года отец Сергей Львович Пушкин выделил сыну в связи с его решением жениться на Наталье Николаевне Гончаровой

часть земель, которые с 1619 года принадлежали дворянскому роду Пушкиных.

По ревизии 1794 года в Болдине числилось 243 дома и 2720 жителей. Пушкиным принадлежало и соседнее с Болдином небольшое сельцо Кистенёвка (или Кистенёво). Как установил А.И. Звездин, автор книги «О Болдинском имении А.С. Пушкина в Нижегородской губернии и о пребывании в нём поэта в 1830-х годах», изданной в Нижнем Новгороде в 1912 году, по седьмой ревизии 1817 года в Кистенёве проживали 429 крестьян мужского пола и 45 дворовых. По Клировой ведомости болдинской церкви за 1830 год, к приходу которой относилось и Кистенёво, в деревне числилось 119 крестьянских дворов. К приезду поэта в Кистенёве проживали 485 мужчин и 500 женщин. Ещё в трёх дворах жили дворовые люди – десять мужчин и восемь женщин. В трёх солдатских дворах числились шесть мужчин, детей, подростков и двадцать две женщины.

Пушкин увековечил Кистенёво в русской литературе. Нижегородского помещика Андрея Гавриловича Дубровского – литературного героя будущего романа «Дубровский» – поэт «поселит» со своими дворовыми в Кистенёвке.

Для того чтобы обрести права на выделенную часть Кистенёва, Пушкину необходимо было отправиться в Болдино и оформить надлежащие бумаги.

Незадолго перед поездкой в Нижегородскую губернию, где находилось Болдино, Александру Сергеевичу исполнился тридцать один год. Позади помолвка, впереди свадьба, и тут... ссора с матерью невесты Натальей Ивановной Гончаровой. Будущая теща резко отозвалась о зяте, обвинив его во всех грехах: и не чиновен, и не богат, и не религиозен, и не серьёзен, и не пользуется доверием у царя, и прочее, и прочее. К тому же, у Пушкиных и Гончаровых одни долги. Не о таком муже для дочери мечтала Наталья Ивановна.

«Я уезжаю, рассорившись с г-жой Гончаровой. На следующий день после бала она устроила мне самую нелепую сцену, какую только можно себе представить. Она наговорила мне таких вещей, которых я, по чести, не мог стерпеть. Не знаю ещё, расстроилась ли моя женитьба, но повод для этого налицо, и я оставил дверь открытой настежь. Мне не хотелось говорить об этом с князем (Вяземским. – *Н. Б.*), скажите ему сами, и оба сохраните это втайне. Ах, что за проклятая штука счастье! Прощайте, милая княгиня! Напишите мне словечко в (Лукоянов в село Болдино)», – писал Пушкин своему другу-утешителю Вере Фёдоровне Вяземской, княгине, жене Петра Андреевича Вяземского, литературно-го критика, историка, близкого друга.

Летом 1830 года Вяземская с детьми проживала в Подмосковье, в усадьбе Остафьево, которое для поэта было «святылицем русской истории», где двенадцать лет жил и работал над «Историей государства Российского» Николай Михайлович Карамзин.

В свой первый приезд Пушкин пробыл в Остафьеве с 1 по 5 июня 1830 года. Пушкинисты полагают, что в тот приезд поэта в Остафьево, видимо, обсуждался вопрос о предстоящей свадьбе Александра Сергеевича и Натальи Николаевны. Об этом свидетельствует письмо князя П.А. Вяземского жене, в котором он спрашивает её: «Что Пушкин?.. когда свадьба и где? У нас ли в Остафьеве?»

Наталье Николаевне Гончаровой в те же дни Пушкин писал: «Я уезжаю в Нижний, не зная, что меня ждёт в будущем. Если ваша матушка решила расторгнуть нашу помолвку, а вы решили повиноваться ей, – я

подпишусь под всеми предложениями, какие ей угодно будет выставить, даже если они будут так же основательны, как сцена, устроенная ею мне вчера, и как оскорбления, которыми ей угодно меня осыпать.

Быть может, она права, а не прав был я, на мгновение поверив, что счастье создано для меня. Во всяком случае, вы совершенно свободны; что же касается меня, то заверяю вас честным словом, что буду принадлежать только вам, или никогда не женюсь».

Размолвка произошла 27 августа 1830 года (все даты по старому стилю. – *Н. Б.*) на улице Никитской в московском доме Гончаровых, где отмечались именины Натальи Николаевны и ее матери Натальи Ивановны.

За неделю до именин, 20 августа 1830 года, скоропостижно умер дядя поэта Василий Львович Пушкин, старший брат отца Сергея Львовича. В семье Пушкиных траур. Свадьба поэта висит буквально на волоске.

Поэт уезжает из Москвы в Болдино 31 августа 1830 года. Ранее Пушкин не бывал в Нижегородской губернии. Правда, однажды, в мае 1826 года в письме князю П.А. Вяземскому поэт вспомнил «про болдинскую вотчину»: «Письмо это тебе вручит очень милая и добрая девушка... Приюти её в Москве и дай ей денег, сколько ей понадобится, а потом отправь в Болдино, в мою вотчину, где водятся курицы, петухи и медведи...»

Пушкин поехал в Болдино, когда кругом уже говорили о холере. Князю П.А. Вяземскому из полученных писем уже было известно, что холера подходила к Москве. Пушкин рассказывал, как Вяземский сам показал письмо, в котором ему писали о холере, уже «перелетевшей» из Астраханской губернии в Саратовскую.

«Из некоторых губерний приходят к нам сюда довольно печальные известия... cholera morbus делает в них свои опустошения, – писал князь П.А. Вяземский 2 сентября 1830 года из Остафьева Елизавете Михайловне Хитрово, дочери генерал-фельдмаршала М.И. Кутузова. – Но не беспокойтесь: это не в той стороне, куда уехал Пушкин».

Утешение в конце письма было не совсем искренним: Пётр Андреевич знал, что смертоносное и крайне опасное заболевание уже пришло в южные губернии России. Пришло оно из Азии и уже угрожает Москве.

Это была первая в истории России вспышка холеры – самого смертоносного в XIX веке инфекционного заболевания. Холера, как писали современники Пушкина, пришла с берегов Ганга. Болезнь была занесена из Индии в Среднюю Азию, попала в Хиву и Бухару. Через Киргиз-Кайсацкую степь с караванами азиатских купцов в сентябре 1829 года холера достигла Оренбурга. Первые заболевшие были зарегистрированы в казначействе Форштадте и солдатской Слободке.

Годом раньше первых умерших от холеры хоронили в Ставрополе, через который лежал путь обоза с золотом из Персии, которое она выплачивала России после заключения Туркманчайского мирного договора от 10 февраля 1828 года. Во время похорон солдат, умерших от холеры, охрана персидского обоза разбежалась. Этим воспользовались мошенники, и один из восьми сундуков с персидским золотом пропал. Тайна драгоценностей, пропавших сто лет назад, до сих не дает покоя искателям сокровищ.

В 1830 году началась вторая волна эпидемии: опасная болезнь пришла из Персии в Тифлис, а затем в Астрахань, Ставрополь. Попытки сдержать распространение инфекции путем введения карантина (запрета на передвижение) привели к «холерным бунтам». Как писал неизвестный автор статьи в «Кавказском календаре на 1855 год»,

ставропольские купцы богатели за счёт эксплуатации как горского, так и русского населения, причём «в способах увеличения своих капиталов они не стеснялись». Ставрополь расположен на торговом перекрёстке, одинаково удалённом от Чёрного и Каспийского морей, где в XIX веке сходились дороги из Санкт-Петербурга и Москвы, Воронежа и Черкаска, Екатеринодара и Крыма, Астрахани и Кизляра, Екатеринограда и Тифлиса. В 1830–1833 годах ставропольские купцы удвоили, утроили, а некоторые и учетверили свои капиталы, и нажили их прежде всего от торговли хлебом.

В тревожные сентябрьские дни 1830 года ни Вяземский, ни Пушкин, никто ещё не знал, что по официальным данным из 466 457 заболевших в России холерой умрёт 197 069 человек. В 1830–1831 годах холера проникнет в тридцать одну губернию России и расползётся по всей Европе: сначала поразит Польшу, затем Пруссию и Францию.

Пушкина, когда он ехал в заражённый холерой край, судьба уберегла. Спустя год в заметке «О холере» поэт рассказал, как он лично столкнулся с эпидемией: «По всему видно было, что она не минует и Нижегородской (о Москве мы ещё не беспокоились). Я поехал с равнодушием, коим был обязан пребыванию между азиатцами (в Закавказье, во время путешествия в Арзрум, в 1829 г. – *Н. Б.*). Они не боятся чумы, полагаясь на судьбу и на известные предосторожности, а в моём воображении холера относилась к чуме, как элегия к дифирамбу». В Арзруме, писал Пушкин, «я отправился с лекарем в лагерь, где находились зачумлённые». Приехав в лагерь, поэт не сошел с лошади. Из предосторожности стал по ветру: «Из палатки вывели нам больного; он был чрезвычайно бледен и шатался, как пьяный. Другой больной лежал без памяти. Осмотрев чумного и обещав несчастному скорое выздоровление, я обратил внимание на двух турков, которые выводили его под руки, раздевали, щупали, как будто чума была не что иное, как насморк». На базаре Пушкин встретил нищего: «Он был бледен как смерть: из красных загноенных глаз его текли слезы». Мысль о чуме опять мелькнула в воображении поэта. От декабриста П. Коновницына поэт узнал, что в Арзруме чума. Пушкину представились ужасы карантина, и он решил оставить армию графа Паскевича, с которым простился 19 июля 1829 года. Спустя год Пушкин окажется в карантинном плену.

«Сейчас еду в Нижний, то есть в Лукоянов, в село Болдино», – писал Пушкин своему другу и издателю Петру Александровичу Плетнёву.

Поэт ехал не один: в дороге его сопровождал слуга Никита Тимофеевич Козлов, который был старше барина на двадцать один год. Родом он был из села Большое Болдино, которого приставили «дядькой-воспитателем» к маленькому Саше Пушкину. И с той поры Козлов не был в Болдине.

Пушкин ехал в Болдино и надеялся управиться с делами за месяц. Поэт провёл четверо суток в дороге: она показалась ему длинной. Сначала Пушкин поехал по печально известному старинному Владимирскому тракту, по которому отправляли осужденных на каторгу в Сибирь. За Богородском (ныне Ногинск. – *Н. Б.*) проехал деревню Платава Московской губернии, далее были – Покров, деревня Липино, село Дмитриевское.

За Владимиром поэт приказал кучеру повернуть коляску на Судогду. Ехал через Мошок, Драчево, Муром.

Пушкин с интересом рассматривал Муром, его церкви, улицы, старинные купеческие дома, торговые ряды. В памяти всплывали рассказы

его бабушки по материнской линии Марии Алексеевны Ганнибал о дремучих Муромских лесах, среди которых она жила в молодости. С этим городом связана судьба и родного деда поэта Осипа Абрамовича Ганнибала, сына знаменитого Арапа Петра Великого – Абрама Петровича Ганнибала. Осип Абрамович переехал из Тамбовской губернии в Муром Нижегородской губернии в 1773 году, вскоре после женитьбы на Марии Алексеевне. Осип Абрамович и Мария Алексеевна Ганнибалы прожили в Муроме около двух лет. Их дочери Надежде Осиповне Ганнибал, родившейся 21 июня 1775 года, суждено было стать матерью поэта.

Оказавшись впервые в Муроме, Пушкин не мог не вспомнить своих именитых предков, рассказы про Муромские леса.

Проехав через последнюю почтовую станцию Савастлейку (так именовалась она в подорожных XIX столетия, хотя в письмах Пушкин называет ее Сиваслейкой. – *Н. Б.*), затем Арзамас, Пушкин встретил торгашей, бежавших от холеры с Макарьевской ярмарки. «Бедная ярманка! – писал поэт. – она бежала, как пойманная воровка, разбросав половину своих товаров, не успев пересчитать свои барыши!»

После Арзамаса Пушкин повернул на Лукоянов – небольшой уездный городишко. Здесь заканчивалась его подорожная. Далее надо было добираться на вольных. Пока Никита Козлов договаривался о лошадях, Пушкин заглянул в гостиницу Агеева, пожалуй, самое бойкое место в Лукоянове. Для проезжающих хозяин устраивал «горячие бани», на первом этаже в трактире у самовара постояльцы вели оживлённые разговоры, слушали мелодии из «Аскольдовой могилы», доносившиеся из музыкальной машины...

Третьего сентября 1830 года, преодолев на лошадях последние из пятисот вёрст, Пушкин въехал в Болдино, не подозревая, что застрянет в нём до самой зимы. Болдино оказалось со всех сторон в карантинном оцеплении: в течение трёх месяцев невозможно было проехать ни по одной из дорог, ведущих в Москву.

Но это было потом, а пока поэт, впервые посетивший Болдино, осматривал имение, принадлежавшее его отцу. Оно состояло из старинного одноэтажного деревенского дедовского дома, вотчинной конторы, церкви и длинной деревни с избами, крытыми соломой и тёмсом. В окрестностях небольшой пруд, склонившиеся над водой серебристые ивы, кистенёвская роща и чернозёмная степь.

Отец Пушкина никогда подолгу здесь не жил, приезжал редко, на самое короткое время. Известны два его посещения Болдина – в 1825 и в 1836 годах. Управление имением он доверил своему крепостному Михаилу Калашникову. Барская усадьба с годами пришла в запустение. «Господский дом деревянный, сада нет» – из описания села Болдина, составленного в 1798 году.

Пушкин поселился в старом дедовском доме. В первые дни поэту пришлось всё же вникать в деловые бумаги. Но вскоре они ему наскучили, и он поручил вести дела вотчинному писарю Петру Кирееву, который и занялся сочинением бумаг на «высочайшее имя». В этом деле он был посильнее Александра Сергеевича. Бумаги пересылались в Сергачский уездный суд, из которых следовало, о чём «просит дворянин коллежский секретарь Александр Сергеев сын Пушкин, а о чём тому следуют пункты». А пункт в этих бумагах был всего лишь один. Пушкин просит суд ввести его во владение двумя сотнями «душ мужеска пола с жёнами их и рождёнными от них после 7-й ревизии обоего пола детьми, и со всеми их семействами... с пашенною и непашенною

землёю, с лесы, с санными покосы, с крестьянским строением и заведениями, с хлебом наличным и в земле посеянным, со скотом, птицы».

В конце прошения рукою Пушкина приписано несколько строк: «Прошение сие верю подать, по оному хождение иметь и подлинную запись получить, человеку моему Петру Кирееву».

В письме Н.Н. Гончаровой от 9 сентября 1830 года Пушкин писал: «Я думал, что земля, которую отец дал мне, составляет отдельное имение, но, оказывается, это – часть деревни из 500 душ, и нужно произвести раздел».

В упомянутой выше книге А.И. Звездина «О Болдинском имении А.С. Пушкина в Нижегородской губернии...» говорилось: «Сельцо Кистенёво (Темяшево тож), соседнее с Болдином, в пограничном Сергачском уезде, при реке Чеке, впадающей в Пьяну, расположено улицами, которые носили особые названия: Самодуровка, Кривулица, Стрелецкая и Бунтовка. Уже наружный вид построек в 1830 году ясно говорил постороннему взору, что кистенёвские крестьяне жили в большой нужде, чёрно и грязно. Только 1/4 часть крестьянских домов были крыты тёсом на два ската и топились “по-белому”, а остальные 3/4 представляли из себя подслеповатые курные избёнки, крытые соломой...» Вот таким был свадебный подарок отца поэта.

Пока Пётр Киреев писал, ездил, хлопотал, коллежский секретарь Александр Пушкин жил в доме, читал, писал письма невесте, друзьям, сочинял сказки, встречался с крестьянами. Поэта позвали, когда в Болдине скоропостижно умер мальчик. По воспоминаниям одного из болдинских крестьян, Александр Сергеевич «приходил и расспрашивал, как и отчего умер, и сказал, что не от холеры».

Село, встревоженное слухами о холере, попросило Пушкина разъяснить им предписания правительства, как уберечься от страшной болезни: что означает «не выходить на улицу босиком, иметь в доме редьку и вино», прислушиваться, нет ли «беспрерывного урчания в животе». Пушкин прочитал мужикам в церкви, с амвона «проповедь о холере», используя информацию в своих целях: «И холера послана вам, братцы, что вы оброка не платите, пьянствуете. А если вы будете продолжать так, то вас будут сечь». Мужики-то газет не читали и не понимали, что происходит, и потому верили молодому барину.

Народ с тревогой наблюдал, как на дорогах Нижегородской губернии, в том числе и вокруг Болдина, по распоряжению нижегородского губернатора устанавливаются карантинные посты: военные на дорогах останавливают. Мужики напуганы: помнят прежние карантинны.

Правда, Пушкин считал, что установленные карантинны представляли собою только «средство к притеснению и причины к общему неудовольствию». Первая такая застава находилась в двадцати верстах на север от Болдина.

Узнав из писем, полученных в Болдине 29 сентября 1830 года от Петра Плетнёва и Натальи Гончаровой, что холера уже в Москве, поэт решает ехать в «белокаменную». 23 сентября под редакцией историка, писателя и публициста Михаила Погодина вышел первый номер официального бюллетеня «Ведомость о состоянии города Москвы», прозванный в народе «холерной газетой» или «холерным листком». Распоряжение об издании подписал московский военный генерал-губернатор князь Д.В. Голицын.

Бюллетень издавался «для сообщения обывателям верных сведений о состоянии города, столь необходимых в настоящее время, и для пресе-

чения ложных и неосновательных слухов, кои производят безвременный страх и уныние» и раздавался бесплатно. В качестве приложения рассылался и подписчикам вместе с газетой «Московские ведомости». В бюллетене печатали «официальные известия о приключившихся внезапных болезнях и смертях; известия о действиях холеры в прочих местах; разные наставления о том, какие должно жителям принимать предосторожности; известия о мерах, принимаемых правительством для отвращения заразы». Всего вышло 106 номеров. Последний – 6 января 1831 года.

«Здравствуй, душа моя, – писал Пушкин 29 сентября 1830 года Плетнёву, – каково поживаешь, а я, оконча дела мои, еду в Москву сквозь целую цепь карантин. Месяц буду в дороге по крайней мере. Месяц я здесь прожил, не видя ни души и не читая журналов...»

Сохранившееся до наших дней письмо Пушкина всё истыкано иглой: на почте каждый конверт прокалывали в нескольких местах и окуривали серой «холерный дух».

В тот же день, 29 сентября, в Москву приехал Николай I и обратился к ее жителям о необходимости введения карантина. Через день Белокаменную заперли: въезд в Москву и выезд из Москвы были запрещены. Министр внутренних дел России и одновременно генерал-губернатор Финляндии А.А. Закревский был назначен руководителем по ликвидации холерной эпидемии. Он возглавил «Центральную комиссию для пресечения холеры». О Закревском писали, что он принял «очень энергичные, но совершенно нелепые меры, всю Россию избородил карантинами, – они совершенно парализовали хозяйственную жизнь страны, а эпидемии не остановили. Тысячи людей и лошадей с товарными обозами задерживались у застав, высиживая карантин. В тех, кто пытался пробраться через оцепления, приказано было стрелять».

Но всего этого Пушкин ещё не знал, потому и письмо его от 30 сентября 1830 года, адресованное Наталье Гончаровой, написано иначе, нежели Петру Плетнёву, несдержанное, с нагнетанием ужасов и страхов. Знал ведь, что письмо это прочтёт и будущая его теща, поэтому и пишет, что «дела мои не закончены...», а Плетнёву – «оконча дела мои, еду...»

Пушкин той же почтой отсылает письмо Наталье Николаевне: «Я уже почти готов есть в экипаж, хотя дела мои ещё не закончены и я совершенно пал духом. Вы очень добры, предсказывая мне задержку в Богородецке лишь на 6 дней. Мне только что сказали, что отсюда до Москвы устроено пять карантин, и в каждом из них мне придётся провести две недели, – подсчитайте-ка, а затем представьте себе, в каком я должен быть собачьем настроении. В довершение благополучия полил дождь и, разумеется, теперь не прекратится до санного пути. Если что и может меня утешить, то это мудрость, с которой проложены дороги отсюда до Москвы: представьте себе, насыпи с обеих сторон, – ни канавы, ни стока для воды, отчего дорога ставится ящиком с грязью, – зато пешеходы идут со всеми удобствами по совершенно сухим дорожкам и смеются над увязшими экипажами. Будь проклят тот час, когда я решился расстаться с вами, чтобы ехать в эту чудную страну грязи, чумы и пожаров, – потому что другого мы здесь не видим... Наша свадьба точно бежит от меня; и эта чума с карантинами – не отвратительнейшая ли это насмешка, какую только могла придумать судьба? Мой ангел, ваша любовь – единственная вещь на свете, которая мешаает мне повеситься на воротах моего печального замка... Не лишайте меня этой любви и верьте, что в ней всё моё счастье. Позволяете ли вы обнять вас? Это не имеет никакого значения на расстоянии

500 вёрст и сквозь 5 карантин. Карантины эти не выходят у меня из головы. Прощайте же, мой ангел...»

Письмо Н. Гончаровой из Болдина уйдёт в один день вместе с письмом П. Плетнёву, и тоже будет окурено почтмейстером. В доме Гончаровых письмо прочтут и поймут, что из-за карантина Пушкин сможет добраться до Москвы за семьдесят суток. Так, кстати, оно и вышло.

В тот же день, 30 сентября 1830 года, Пушкин отправился из Болдина в имение княгини Голицыной, чтобы, как писал поэт Н.Н. Гончаровой, «точнее узнать количество карантин, кратчайшую дорогу и пр. Так как имение княгини расположено на большой дороге, она взялась разузнать всё доподлинно».

Долгие годы в пушкиноведении не совсем было ясно, о какой княгине Голицыной идёт речь. Занимаясь болдинской биографией поэта, директор Музея-заповедника А.С. Пушкина в Болдине Ю.И. Левина попыталась уточнить эпизод, связанный с поездкой Пушкина 30 сентября 1830 года.

По архивным документам землевладельцев Нижегородской губернии ей удалось установить, что в том же Лукояновском уезде, где числилось село Болдино, располагалось и наследственное имение князей Голицыных – одной из ветвей старинного и многочисленного русского рода.

На старых губернских (и поездных) картах «большим столбовым дорогам» 1830-х годов можно увидеть, что через Арзамас и Лукоянов проходил большой почтовый тракт, соединявший Москву с Саранском и Пензой. Скорее всего, именно этот прямой путь на Москву и мог заинтересовать Пушкина в первую очередь, когда он пытался выяснить кратчайшую дорогу, расположение карантин и возможность выезда из Нижегородской губернии.

Непосредственно на этом тракте, недалеко от «заштатного» города Починки, расположенного в двухстах пяти верстах от Нижнего Новгорода, и находилось село «Рождественское, Пеля Хованская тож», принадлежавшее Голицыным. По сведениям экономических поездных описаний в конце XVIII века, там уже стоял «господский деревянный дом» с фруктовым садом, обсаженным «преспектом», насчитывалось двести крестьянских дворов, имелись церковь «деревянная, Рождества Христова» и «казённый питейный дом».

В 1830-х годах владельцем села был князь Владимир Сергеевич Голицын, человек очень известный в обществе того времени. Участник Отечественной войны 1812 года, бывший флигель-адъютант Александра I, в 1820-х годах он воевал на Кавказе, дослужился до генерал-майора, тайного советника и сенатора. Для своего времени Голицын был человеком образованным и одарённым. Большой знаток и любитель музыки, он не чуждался и литературы: в его доме устраивались музыкальные вечера, собирались артисты и литераторы. Ему принадлежали переводы на русский язык нескольких оперных либретто и музыка на слова татарской песни из поэмы Пушкина «Бахчисарайский фонтан»: «Дарует небо человеку...»

В.С. Голицын был хорошо знаком с поэтом. Летом 1830 года они встречались и беседовали о «Дон Жуане» Моцарта. Знал поэт и Прасковью Николаевну Голицыну, урождённую Матюнину.

«Завтра в восемь часов вечера, – сообщал ему Голицын в письме от 25 февраля 1831 года, – жена моя и я <...> ожидаем Вашего посещения с нетерпением...»

В 1830 году Прасковья Николаевна Голицыной было тридцать два года. В одной из своих работ пушкинист Ю.И. Левина высказала предположение,

что, может быть, Прасковья Николаевна и является той «княгиней Голицыной», которая ещё до приезда Пушкина к ней в имение, как сказано в его письме, уже «взялась разузнать всё доподлинно».

Первая попытка покинуть Болдино – «остров, окружённый скалами», как назвал его поэт в одном из писем Наталье Гончаровой, окончилась неудачно.

«Несколько мужиков с дубинами охраняли переправу через какую-то речку, – вспоминал Пушкин в рассказе “Холера”. – Я стал расспрашивать их. Ни они, ни я хорошенько не понимали, зачем они стояли тут с дубинами и с повелением никого не пускать. Я доказывал им, что, вероятно, где-нибудь да учреждён карантин, что я не сегодня, так завтра на него наеду, и в доказательство предложил им серебряный рубль. Мужики со мной согласились, перевезли меня и пожелали многие лета».

Миновав первую заставу, Пушкин был задержан на следующей. И ему пришлось вернуться назад в Болдино. Решив, что лучше ехать «тише», но «дальше», Пушкин шлёт губернатору Нижегородской губернии И.М. Бибикову письмо, в котором просит выдать ему «свидетельство» на проезд через цепь карантинных. А пока суть да дело, 11 октября 1830 года Пушкин пишет Наталье Гончаровой: «Въезд в Москву запрещён, и вот я заперт в Болдине...»

Поэт рассматривает географическую карту, висящую на стене, и шутливо замечает, «как бы дать крюку» и приехать в Москву через Кяхту или Архангельск.

Тем временем из Нижнего Новгорода приходит уведомление, что пропуск Пушкин может получить в Лукоянове. В Лукоянове Александр Сергеевич встретился с предводителем уездного дворянства по фамилии В.В. Ульянин.

Но Владимир Васильевич Ульянин, предводитель дворянства Лукояновского уезда Нижегородской губернии, наотрез отказал поэту выдать пропуск на проезд, ссылаясь на то, что он назначен надзирателем за карантинном своего округа. Более того, В.В. Ульянин предложил Пушкину должность инспектора над карантинами. Поэт отказался от предложения, сославшись на то, что он не является помещиком здешней губернии, и написал нижегородскому губернатору жалобу на самоуправство лукояновского предводителя.

Пушкин делает ещё одну попытку прорваться сквозь расставленные карантинные посты. И отправляется в Москву без пропуска. По скверным осенним дорогам Пушкин переезжает с востока на запад южную часть Нижегородской губернии. Но недалеко от Муром Владимирской губернии, в Севастлейке, его экипаж остановили и потребовали «свидетельство» о том, что он едет не из заражённой местности. Пушкин возвращается в Лукоянов и требует от Ульянина выдать ему такое «свидетельство». Лукояновский предводитель неприступен. И поэт снова получает отказ. Позднее Пушкин встретил Ульянина в Английском клубе Петербурга, подошёл к нему и с присущим ему сарказмом сказал: «Кажется, это вы меня так притесняли во время холеры?»

«В Болдине, всё ещё в Болдине! – писал Пушкин 18 ноября 1830 года Наталье Николаевне Гончаровой. – Выехав на большую дорогу, я увидел, что вы правы: 14 карантинных являются только аванпостами – а настоящих карантинных всего три. – Я храбро явился в первый (в Севастлейке, Владимирской губ.); смотритель требует подорожную и заявляет, что задержит меня лишь на 6 дней. Потом заглядывает в подорожную. – Вы не по казённой надобности изволите ехать? – Нет, по собственной, самонужнейшей...»

И тут выясняется, что Пушкину следует ехать по другому тракту, а этот уж три недели как закрыт. Пушкин недоволен: «И эти свиньи губернаторы не дают этого знать?» Смотритель растроган, дескать, «мы не виноваты-с». Пушкину от этого не легче. И ему немного жаль бедного стационарного смотрителя. За время путешествия по России Пушкин насмотрелся на бедных и бесправных стационарных смотрителей, что дало ему обильный материал для повести с одноимённым названием.

«Кто не проклинал стационарных смотрителей, кто не с ними не бранивался? Кто, в минуту гнева, не требовал от них роковой книги, дабы вписать в оную свою бесполезную жалобу на притеснение, грубость и неисправность? Кто не почитает их извергами человеческого рода, равными покойным подьячим или, по крайней мере, муромским разбойникам?...» – так начинается известная повесть.

«...Нечего делать, – писал Александр Сергеевич в Москву Наталье Николаевне 18 ноября 1830 года, – еду назад в Лукоянов; требую свидетельства, что еду не из зачумлённого места. Предводитель здешний не знает, может ли после поездки моей дать мне это свидетельство – я пишу губернатору, а сам в ожидании его ответа, свидетельства и новой подорожной сию в Болдине да кисну». Пушкин с грустью замечает, что проездил таким образом 400 вёрст. И все хлопоты оказались напрасными.

О последней неудачной поездке Пушкин рассказал также и в письме издателю «Московского вестника» М.П. Погодину: «Я было опять к вам попытался: доехал до Севаслейки (первого карантина). Но на заставе смотритель, увидев, что еду по собственной самонужнейшей надобности, меня не пустил и протурил назад в моё Болдино...»

Письмо Погодину оказалось последним посланием, отправленным из Болдина. На почтовом штемпеле отметка: «Лукоянов 1830 дек. 2».

Накануне князь Пётр Иванович Шаликов, редактор «Московских ведомостей», известил Пушкина, что «холера затихает». «Вот первое хорошее известие, дошедшее до меня за три последних месяца», – замечает поэт.

Следующее хорошее известие Пушкин получил из Нижнего Новгорода: почтальон, которого поэт ругает за перепутанные письма, наконец принёс ему пакет от губернатора, а в нём было долгожданное свидетельство на проезд из Болдина в Москву.

«...несчастный зачумлённый нижегородец», как назвал себя Пушкин в одном из писем Е.М. Хитрово, дочери М.И. Кутузова, благополучно проехал все посты, хотя и с карантинными задержками, за семь суток.

Пятого декабря 1830 года Пушкин приехал в Москву, где его ждала ещё одна хорошая новость: холера не тронула его друзей, его семью и семью Н.Н. Гончаровой. В дорожном сундучке поэта лежали несколько больших тетрадей и стопы бумаг, которые он исписал за месяцы болдинского заточения.

В Болдине Пушкин написал тридцать два стихотворения, «Повести покойного Ивана Петровича Белкина», «Маленькие трагедии», «Сказку о попе и о работнике его Балде», несколько публицистических статей о состоянии критики для «Литературной газеты» Антона Дельвига. Наконец, в Болдине, в карантине, Александр Сергеевич дописал заключительные главы романа в стихах «Евгений Онегин», 8-ю и 9-ю, который критик В.Г. Белинский назвал «энциклопедией русской жизни».

Александр ЦИРУЛЬНИКОВ

Родился в 1937 году в городе Николаеве УССР. После эвакуации с 1941 года живет в Нижнем Новгороде. Окончил историко-филологический факультет Горьковского госуниверситета имени Н.И. Лобачевского.

Работал редактором общественно-политических и информационных программ Горьковской студии телевидения, собкором Гостелерадио СССР, ГТРК «Останкино», телекомпании ОРТ в Нижегородской области, представителем издательства «Воскресение», ведущим и старшим редактором Нижегородской государственной телерадиокомпании НТР.

Прозаик, поэт, публицист, автор 29 книг прозы и стихов. Член Союза писателей России. Лауреат литературной премии «Болдинская осень», премий Нижнего Новгорода, областной премии имени А.М. Горького, кавалер ордена Дружбы, ордена Почета.

ВНУК НАРКОМА

С Ириной Фёдоровной Шалапиной я познакомился летом 1964 года. Тогда, в 28-ю годовщину со дня смерти Алексея Максимовича Горького, на его родину на ежегодные «Горьковские чтения» приехали Екатерина Павловна Пешкова, Ирина Фёдоровна, литературовед Борис Бялик, кто-то ещё из тех, кто лично общался с великим писателем. Мне довелось снимать для телевизионного выпуска «Горьковских новостей» возложение цветов к памятнику Алексею Максимовичу на площади его имени. Сюда пришли московские гости, руководители области, местные писатели Николай Иванович Кочин, Нил Григорьевич Бирюков, Михаил Васильевич Шестериков, Алексей Иванович Елисеев... Все они тоже в свое время общались с Алексеем Максимовичем. Кочина, можно сказать, он благословил в большую литературу. А Алексей Иванович Елисеев, который был первым директором литературного музея А.М. Горького в Горьком на улице Минина, рассказывал в интервью, как в августе 1935 года в музее ждали Алексея Максимовича, приехавшего в родной город вместе с внучками Марфой и Дарьей. Но, когда вышли к подъехавшей «эмке», то встретили только двух девочек, которых дед послал познакомиться с экспозицией. Сам же по природной скромности воздержался от посещения...

Помню короткий в две стихотворные строки экспромт – комментарий Лазаря Шерешевского, который он прочитал мне, когда к монументу выстроилась длинная очередь с букетами цветов:

К памятнику веники
Носят современники...

Екатерина Павловна и Ирина Фёдоровна положили свои цветы первыми и стояли в стороне справа от памятника на заасфальтированной

дорожке. А по зеленому травяному газону бегал мальчик лет девяти, а может, на год-два постарше, который во время возложения шел рядом с Екатериной Павловной, держа её за локоть правой руки. У мальчика были темные волосы с ровно подстриженной чёлочкой на лбу, чуть – чуть вздёрнутый носик. Я сказал Екатерине Павловне, что он внешне напоминает Алёшу Пешкова из фильма Марка Донского по повести «Детство».

– Так это же наш с Алексеем Максимовичем правнук Серёжа! – громко сообщила Екатерина Павловна. – Это сын нашей внучки Марфы Максимовны. Если ещё не знаете, то вы никогда не догадаетесь, как его фамилия...

Я признался, что не знаю. Но тут к нам подошли руководящие товарищи из обкома КПСС и облисполкома, писатели. И разговор сам собой прервался.

Вечером обе пожилые женщины в сопровождении директора Литературного музея А.М. Горького Николая Алексеевича Забурдаева приехали ко мне на телевидение для интервью в информационном выпуске «Горьковских новостей». До начала передачи оставалось около получаса, и мы вчетвером обсуждали, как скоро может воплотиться в жизнь план Забурдаева создать в доме Киршбаума, где была последняя нижегородская квартира Алексея Максимовича и Екатерины Павловны Пешковых, мемориальный дом-музей, куда можно было перевезти из Москвы, а точнее, вернуть на привычные места вещи и мебель, сохранённые Екатериной Павловной.

– Там у отца была своя комната, в которой он останавливался, когда приезжал в Нижний Новгород, – заметила Ирина Фёдоровна. – Есть вещи, которые тогда были при нём, их можно было бы в этом музее показывать...

– Конечно, мы организовали бы там постоянно действующую экспозицию – комната Шаляпина, – согласился Забурдаев. – Надо, чтобы городские власти пошли нам навстречу и выделили квартиры под расселение живущих в доме семей. Его надо как можно скорее освободить от жильцов, чтобы хотя бы к столетию Алексея Максимовича, через четыре года, там был уже музей из одних подлинных экспонатов уровня пушкинского дома на Мойке, 12 в Ленинграде, толстовской Ясной Поляны...

Собственно, об этом и был потом разговор в эфире.

Кстати, музей в доме Киршбаума открылся только в 1971-м, когда отмечалось 750-летие со времени основания Нижнего Новгорода... Екатерине Павловне побывать там уже не довелось, она умерла в марте 1965 года. Но летом 1964 года, на следующий день после телепередачи, вместе с Забурдаевым приходила в этот заселённый чужими людьми перестроенный за долгие годы дом, ходила по нему, показывала и рисовала на тетрадной бумаге в клеточку, где какая комната была тут в 1902–1904 годах, какое она имела назначение и кто в ней жил или останавливался на время...

Музей действительно получился совершенно удивительный. Не в обиду Екатерине Павловне будет сказано, а в почтение и благодарность ей за то, что она оказалась великой барахольщицей. И благодаря этому за шесть с лишним бурных десятилетий сберегла всё до мелочей, вплоть до ночных тапочек, каких-то салфеток, серебряных чайных ложек и той самой надтреснутой фарфоровой чашки, из которой пил кофе Шаляпин... Более двух тысяч предметов, которые жили рядом

и вместе с семьёй Алексея Максимовича в доме на бывшей Мартыновской улице в начале XX века, вернулись сюда и стали экспонатами музея... Они были переданы внучками Марфой и Дарьей Максимовнами и их матерью Надеждой Алексеевной во исполнение завещания Екатерины Павловны в год столетия со дня рождения А.М. Горького и три года обитали в разных хранилищах, пока не обрели постоянного места в экспозиции.

Поистине подвигом Николая Алексеевича Забурдаева было то, что он привез в Горький тот самый рояль, на котором в гостях у Алексея Максимовича Исая Добровейн играл в присутствии Владимира Ильича Ленина бетховенскую сонату «Аппассионату». На инструмент претендовали другие музеи и видные музыкальные вузы и учреждения, но пока они выясняли отношения и приоритеты, Забурдаев организовал экспедицию в Москву и вернулся оттуда с роялем. И с той самой лампой под потолком, которая светила музыканту и его слушателям...

В марте 1968 года мне довелось вести пятиминутную передачу от стен дома Киришаума на всю страну – прямое включение в программу «Эстафета новостей». Мы установили наши телекамеры в разных точках рядом и недалеко от дома. Тогда возле него росли высоченные раскидистые тополя, которые в тот весенний день только-только стряхнули с себя зимний снег. Эти тополя наравне с домом и были героями нашего репортажа, потому что помнили тех, кто тут жил, и, словно на магнитофонный диск, записывали прошлое на свои годовые кольца. Я показал тогда на телекамеру сделанную в 1903 году Максимом Петровичем Дмитриевым фотографию, на которой, между прочим, запечатлена и его лошадка в упряжке. Видимо, фотомастер приехал со своей массивной треногой и большим фотоаппаратом в деревянном корпусе в семью Горького, чтобы сделать снимки на память, а заодно заснял и дом, и всё, что было возле него на перекрёстке. Когда эта фотография однажды попала мне на глаза, первое, что меня поразило, были деревья – молоденькие, робкие, тоненькие, стволы которых можно было зажать в горсти. И вот они в марте 1968-го – в несколько обхватов, вынесшие крону выше крыши двухэтажного здания. Они олицетворяли, а точнее овеществляли, само прошедшее время и говорили о прожитых семи десятилетиях XX века нагляднее и естественнее, чем что-либо другое. Особенно впечатляющим был тополь на фасадном углу дома, выходящим на Мартыновскую улицу. К сожалению, именно этого дерева нет сейчас в живых: в начале девяностых годов оно заболело, и из-за опасности обрушения его пришлось спилить... Помню, как тогда, в марте 1968 года, я рассуждал под его кроной о том, каким близким кажется давнее прошлое, когда до него можно просто дотянуться рукой и ощутить пальцами шершавую кору самой жизни. И вдруг из дома вышел не предусмотренный никаким сценарием седой старик в синем речном кителе со стоячим воротником, чёрных брюках и войлочных чувках на ногах. Увидел из окна, что ведётся телепередача, и вышел. Опираясь на палку, перешагивал через лужи. Это был один из тех жильцов, которые ждали расселения. Между прочим, мы с ним были давно знакомы. Его фамилия была Калмаков, и он возглавлял совет ветеранов Волжской военной флотилии времён Гражданской войны. Подойдя ко мне, он стал говорить, как ему пришлось в 1907 году по заданию городского комитета РСДРП на пристани встречать и провожать приезжавшего на день на родину в Нижний Новгород Германа Александровича Лопатина, друга Карла Маркса и Фридриха Энгельса, первого переводчика «Капитала»

на русский язык. И хоть это воспоминание не имело никакого отношения к отмечаемому тогда столетию со дня рождения А.М. Горького, оно было уместно по самой сути разговора, потому что в квартире писателя часто собирались нижегородские «седые» и «серые» – социал-демократы и социалисты-революционеры. А «Капитал» в переводе Германа Лопатина, конечно же, был среди книг у Алексея Максимовича.

Вообще-то я слишком далеко ушёл от того, с чего начал этот рассказ. А тогда, в июне 1964 года, меня по-настоящему заинтриговали слова Екатерины Павловны Пешковой по поводу настоящей фамилии её правнука Серёжи. И после передачи в студии телевидения, когда Николай Алексеевич Забурдаев продолжал обсуждать с Екатериной Павловной проблемы создаваемого мемориального музея, а мы с Ириной Федоровной Шаляпиной на короткое время остались вдвоём, я почти шепотом спросил её, что же такое имела в виду Екатерина Павловна. И Ирина Федоровна, поднеся ко рту ладонь, словно кто-то мог по движению её губ понять, о чём она говорит, тоже почти шепотом поведала мне, что мальчик Серёжа является внуком расстрелянного врага народа Лаврентия Берии, так как женой его сына Серго является старшая внучка Пешковой Марфа. Серго Берия – крупный инженер в области ракетостроения, секретный учёный. После ареста и казни его отца он был выслан на Урал, в тамошний «почтовый ящик» под Свердловском с документами на имя Серго Гегечкори. Такую фамилию носит его мать. Екатерина Павловна попросила Никиту Сергеевича Хрущева принять её по семейным обстоятельствам, и аудиенция назначена на послезавтра. Екатерина Павловна собирается просить Никиту Сергеевича во имя сохранения семьи разрешить Серго вернуться в Москву, все-таки уже больше десяти лет прошло, как он в ссылке...

Чем закончилась встреча Екатерины Павловны Пешковой с Никитой Сергеевичем Хрущёвым и состоялась ли она вообще, не знаю. Сам Серго Берия в книге своих воспоминаний пишет, что после ссылки на Урал он много лет работал на закрытом оборонном предприятии в Киеве...

Через много лет в нашем музее я спросил Марфу Максимовну, бывал ли ее сын Сережа на родине прадеда – А.М. Горького. Она ответила: «Нет, не бывал!» Пришлось возразить и рассказать о мальчике, который ходил по площади у памятника Алексею Максимовичу, держась за руку прабабушки – Екатерины Павловны Пешковой.

Вообще с Марфой и Дарьей Максимовными я познакомился в начале 1960-х годов, когда они часто приезжали на родину деда по разным юбилейным и другим делам. Не помню сейчас, когда, скорее уже в семидесятых годах, когда мы уже общались как старые знакомые, спросил Марфу Максимовну про ее свекра – Берию. Как она относится к тому, что говорят, что его убили прямо в доме или возле дома тогда же, 26 июня 1953 года, и не было никакого ареста, суда и расстрела в декабре того же года.

Она отошла от меня на шаг или два шага в сторону, осмотрелась вокруг и оттуда, как бы никому и ни по какому-то поводу, тихо сказала: – Серго придерживается этой версии...

Больше этой темы мы никогда не касались.

Но хочу вспомнить то, что услышал от моего давнего товарища поэта Фелиса Чуева, с которым познакомился в 1963 году на 4-м Всесоюзном совещании молодых писателей в Москве, после чего он приезжал ко мне на передачу вместе женой поэтессой Татьяной Кузовлевой и композитором Яном Френкелем, представляя коллег с радиостанции «Юность».

В конце 1989 или в начале 1990 года, точно не помню, Феликс приехал от Союза писателей России на открытие мемориальной доски на доме, где, вернувшись из сибирской ссылки, жили на Большой Печерской в Нижнем Новгороде декабрист Анненков и его жена француженка Полина Гебль.

После короткого торжества мы пошли с Чуевым в Нижегородский кремль к губернаторскому дому. И я сказал, что здесь начинали свои политические и государственные биографии Микоян, Молотов, три брата Кагановичей, Жданов, Щербаков, Шахурин, Родионов. И послевоенные руководители Горьковской области, тоже ставшие московскими начальниками, – Игнатов, два Ефремовых, Катушев, Масленников...

– Только бы не заколотили этот дворец мемориальными досками! – обеспокоился Феликс.

И тогда я спросил его, насколько интересны его встречи с Молотовым?

– Феноменальный мужик с фантастической памятью на факты, даты, на цифры, на документы под номерами и параграфами. А в таких беседах самое важное – мелочи, детали. Вот, например, спросил Вячеслава Михайловича:

– Сталина убил Берия?

Он ответил:

– Судите сами: 1 мая 1953 года на трибуне мавзолея приветствуем демонстрантов, он оборачивается ко мне и говорит так, чтобы Маленков с Хрущевым слышали: «Если бы не я, этого уже никогда бы не увидели ни вы, ни они!» Я сделал вид, что пропустил его слова мимо ушей. Он, конечно, понял, что я притворяюсь, потому что акустика на мавзолее такая, что говоришь и слышишь друг друга, не напрягая голоса и слуха. А те двое наверняка всё услышали и расслышали, и потом было 26 июня...

Марианна ДУДАРЕВА

Родилась в 1992 году в городе Кохме Ивановской области. Окончила Ивановский государственный университет (филологическое отделение) и аспирантуру филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Кандидат филологических наук, литературовед, фольклорист. Работала заведующей отделом литератур народов России и СНГ журнала «Юность». Преподаватель кафедры русского языка №2 Р факультета русского языка и общеобразовательных дисциплин Российского университета дружбы народов.

Автор многочисленных научных статей о русской литературе и фольклоре и трех монографий: «“В один голос”: фольклорная традиция в поэтике С.А. Есенина и В.В. Маяковского» (2016), «Mortality in Russian literature. Pushkin, Yesenin, Balmont, Bunin» (2017), «Поиски “иног царства” в русской литературе XIX – начала XX века: фольклорная эстетика» (2018). Работы переводились на английский, турецкий языки. Лауреат премии имени Владимира Лакшина за 2017 год от журнала «Юность».

Живёт в Москве.

«ИЗ ДАЛЬНИХ ДАЛЕЙ СЛОВО...»

О книге стихов Андрея Шацкова «Лебеди Тютчева» (Триптих). – СПб.: издательство «Любавич», 2020.

Писать сегодня стихи немодно. Вернее, писать настоящие стихи немодно, поскольку это требует от человека полной духовной отдачи, времени, а результат не всегда известен... Хотя А. Фет и написал в далеком XIX веке в своем ставшем уже хрестоматийным стихотворении «Не знаю сам, что буду // Петь – но только песня зреет», на что Тургенев остро заметил «дескать Фет с ума сошел». Но слово, настоящий Логос восходит к формулам, простирающимся вдаль времен (понятие А. Н. Веселовского), вводит поэта вглубь веков, и преданья старины глубокой само собой оживают и тревожат нас. А как иначе? Поэзия немислима без национальных основ, космо-психо-логоса. Ведь «поэт в России больше чем поэт», по точному замечанию другого большого мастера слова.

Так, я держу в руках новую книгу Андрея Шацкова «Лебеди Тютчева», о которой можно было бы сказать словами Фета: «Вот эта книжка небольшая // Томов премногих тяжелей». В книге всего 16 страниц – удивитесь этому! Но в этих страницах сокрыта история, подпочвенная

глубина нашего народа, как бы сказал русский философ И. А. Ильин. Книга, а это именно цельная по своему содержанию, семантической напряженности книга, состоит из триптиха. Первая часть, историческая, посвящена далеким кровавым дням времен Мамаева побоища. Поэт, сосредоточиваясь на фигуре Захария Тютчева, известного по «Сказанию о Мамаевом побоище» и некоторым устным преданиям, ведет читателя праведной верной дорогой далекого предка великого поэта:

Ах, что за осень в это время,
 Когда в начале сентября
 Ты ехал с князем – стремя в стремя –
 В кулак поводья собирая.
 И верил, знал: Рязань не выдаст,
 И не ударит братьям в тыл.
 Не может по-другому выпасть
 Тому, кто сердцем не остыл.
 Неся на Куликово поле
 Завет отцов из тьмы веков:
 О вере, доблести и воле,
 И одоленьи на врагов!
 А в синеве, расправив крылья,
 Сопровождая княжью рать,
 Летело лебедей обилье —
 Небесных витязей отряд!..

И здесь впервые, вскользь, возникает образ лебедей, собственно, которым как бы и посвящена новая поэтическая книга А. Шацкова. С одной стороны, читатель вместе с лирическим героем становится свидетелем исторических событий, обмана, битв и побед, с другой стороны, в первой части триптиха возникает историософский, онтологический план:

Свершилось! На берёзах серьги
 Осенний ветерок качал,
 Когда полки с победой – Сергей
 В воротах Кремника встречал.
 И ты, Захар, с двуперстьем руку
 На отчую, вернувшись, выть
 Поднял – неведомому внуку
 Грядущий путь благословить!

И этот путь должен и будет проходить красной нитью через судьбы уже других героев, другого Тютчева, неведомого внука.

Вторая часть книги обращена уже к усадебному пространству, родовому имению Тютчевых, образовавшемуся в конце XVIII столетия:

Тяжеле вериги – поэтов судьба
 В России, покрытой морозною пылью...
 Но гордо в щите родового герба
 Распластаны лебеда белые крылья!
 Их выводок плещет в заветном пруду,
 И ходит эскадренным строем по кругу...
 Я к ним попрощаться с поклоном приду.
 И горького хлеба отрежу краюху.

Елена ВИНОКУРОВА

Родилась 1980 году в Невинномысске, Ставропольский край. Училась в Таганрогском радиотехническом университете, специальность – экономист. Занимается автоматизацией учета на различных предприятиях. Живет в городе Сергиевом Посаде.

РУБАНОВ. РОМАН В РАССКАЗАХ

Рубанов – автор, которому удалось написать для мужчин. В этом его большая заслуга. Читающих людей не так уж много, и женщины среди них преобладают. Именно они атакуют детские полки книжных магазинов, активно посещают презентации, они пишут отзывы, ведут книжные блоги, они, они, они. Они эмоциональны и восприимчивы. И в книгах про них: все Золушки и Белоснежки, детективы, дамские романы, мелодрамы, даже все коучи мира, а мужчинам что же?

Мужчинам нужно жестко, им нужно не то чтобы угрюмо, но прямолинейно вполне: про важные вещи. Им тоже нужно отражение, объяснение, им тоже нужно прочесть, чтобы сказать: да, это я, сынок, твой папа был таким, и ты тоже будешь. Многого не удастся избежать, но ты прочти.

Рубанов уловил интонацию, баланс между необдуманностью человеческого поступка и началом ненужной рефлексии. И, как точно показано у собрата-по-литературе Елизарова в романе «Земля» – судьба ведет и ведает; и неслучайно именно Рубанову, жилистому, невысокому, неброскому, испытавшему и оставшемуся при своих, досталось это право: отпечатывать реальность и втаскивать в нее тех самых своих. В итоге мы наконец-то видим мужчину в современности. Мы спокойно его разглядываем: он нравится нам. Он не изменился нисколько, тот самый русский мужик. Его не сбить ни гламуром, ни тюрьмой, ни химерами, прикидывающимися родиной, ни предательством, притворяющимся дружбой. Он, если нужно, сможет все. Заработает миллионы; потеряв свободу, обретет ее; выживет в Москве; напишет книгу, затем еще; станет известным писателем, будет говорить на равных... да с кем угодно, хоть с министрами в компании людей, отвечающих за свои поступки, сказанные и написанные слова, и поэтому обладающих правом спрашивать с других. Вот только судить других он не будет – не смог и не сможет присвоить себе это право. Он спокойно познает обе стороны финансовой медали: невероятный поток рискованных денег и почти полное их отсутствие: и то и другое дисциплинирует. Он раскрывает

и закрывает тему «мужчина и деньги», здесь все ясно, понятно, не культово. Есть темы более важные: «мужчина и его Родина», «мужчина и его женщина». Он знает, что бывает уместным кинуть понты, и что мужчине может быть не стыдно признаться в своих слезах, но стыдно – в подвигах. Он, выживая, делает себе редкий подарок: пишет песню и поет ее.

Вот те водка, вот те шмаль,
Вот те правая педаль,
Я поеду, я помчуся
В необъятную даль.

И мчится. И достигает, и добивается своего.

В руках у автора – посылка. Из прошлого века нынешнему. От поколения юных в восьмидесятые, стремительно взрослеющих в девяностые, многоопытных в десятые нам же сегодняшним, и новым, завтрашним. И ему удалось ее доставить по назначению.

Давайте распакуем и разглядим, что там внутри. Конфеты и шоколад или горькая настойка на кедровых шишках. Посылка для внука от бабушки или от деда передатка из дальних мест? Получаешь иногда такие ящики, в них иные шлюют сплошной гуталин, и черно от него и слишком ароматно.

Рассказы очень удобный для подобного анализа жанр. Многосюжетность, многоплановость, многофактурность. Сколько поступков может вместить человеческая жизнь, и как меняется человек под воздействием не самых простых с полярным уровнем счастья событий. Если, конечно, герой плюс-минус один и тот же – мы можем за ним проследить. Здесь именно тот случай, и так мы и сделаем, не без удовольствия.

Сборник «Стыдные подвиги» вышел в 2012 году, «Жестко и угрюмо» – в 2019-м. Герой в них – и мальчик и муж, служилый и сиделец, отец и сын, прожигатель жизни, друг, приятель, товарищ, поделщик. Счастливый то от ощущения остроты жизни, то от одиночества, то от того, что оно неожиданно закончилось. Героя рассказов (за немногим исключением) зовут Андрей Рубанов, он симпатичен читателю и открытостью своей и честностью, и упертостью, и крестьянской жилкой. Сборники можно читать подряд, можно одновременно, или попеременно. Самое главное, что в них многое узнаваемо: время, которое автор услышал и отобразил; персонажи «Да это же вылитый друг Димон!», «А этот – точно я»; розовое клеверное поле, на котором мама мечтала построить дом; друзья твои, и недруги, то букет дорогого вина на губах, то соленый вкус крови. Обычная жизнь со всеми ее парадоксами и противоположностями, взлетами и падениями. Книги рассказов вышли с разницей в семь лет. Лирический герой за эти годы сильно изменился, оставшись при этом самим собой. В первом сборнике он одинок, во втором – уже нет. Это меняет многое, и оставляет неизменным самое главное.

Рассказы Рубанова – это мозаика одного из его романов. Того, который пишется жизнью и поступками. Читателя не обманешь, он знает, что лирический герой – это без малого автор и немного – он сам.

В «Подвигах» герой вызывает симпатию с ходу. И неудивительно: он же друг детства, товарищ по пионерлагерной смене, вместе с ним мы смотрели первые боевики и ужастики, мазали лица девчонок (мальчишек) зубной пастой, махали ногами не хуже «Брусли». Воображали

себя героями фильмов, побеждали и терпели поражения. Взрослели вовремя: сама жизнь, среда, армия, наконец, учили лучше любой школы и вуза. Осваивали реальные профессии. Плотник-бетонщик в трудовой из рассказа «Под Микки Рурка» – это почти как кровельщик из «Выживая в Москве»: не грех и напомнить, что мужчине незачем уметь работать руками, и это вполне может способствовать сохранению внутренней свободы после вновь обретения внешней.

Но почему герою пришлось выживать и чего пришлось стыдиться? Ах, незабвенные, крышесносные девяностые годы! Они отпустили «на волю, всех на волю», и молодые, или, во всяком случае, «новые» люди, как поплавки, закачались на волнах относительно легких и вполне сумасшедших денег. По итогам этих заплывов некоторые получили в награду жизненный опыт. Иным и вовсе ничего не досталось. И тем и другим есть что вспомнить и о чем предупредить. Но право говорить об этом сначала пришлось заслужить.

Вот и персонажи рассказов несут и выносят то тяжелую суму, то нелегкую тюрьму, то не самую простую жизнь после освобождения. Далее Рубанов ведет читателя вслед за основным героем подалее от буйной столицы: в Чечню, в Электросталь, в Коломну. Дает возможность взглянуть на жизнь людей иной ментальности и на быт «людей, презирающих выгоду», посмотреть вокруг глазами подруг, решить остаться навсегда, и уехать на следующий день, чтобы никогда уже не вернуться. В завершающем «Подвиги» рассказе, птица-воробей Яшка снова проходит, точнее, пролетает весь путь от голода до сытости, от разочарования до поиска счастья, и от отчаяния до надежды. С мыслью о последней он взмывает ввысь.

В «Жестко и утрумо» все выполнено: герой уже не один. Он известен, даже знаменит, любим и отчасти растворен в отношениях. Его суровый рахметовский тип не привык к таким приливам теплых чувств, и, наблюдая за волнами, омывающими берега острова Пасхи, он подстраивает свое дыхание под ритм Тихого океана, сливается с ним (рассказ «Пацифик»). На остров его привели воля судьбы и собственное желание. Он все еще рефлексирует порой по прошлому, но присутствие близкого человека в его жизни перераспределило приоритеты. Поэтому в книге много женщин. Та, изменившая его «Три слезы в черном марте», «Воздух», и вообще, почти везде; странная поклонница («Вдовьи бреды»); родная бабушка, прокатившаяся на удивительном социальном лифте самого главного эксперимента XX столетия («Бабкины тряпки»). Несколько неровной походкой, опираясь для равновесия на лимонную воображаемую трость, то чуть усиливаясь, то чуть слабее, автор проводит героя через питерские подворотни то на один край света, омываемый со всех сторон океаном, то на другой – дальневосточный.

При этом, все самые ценные вещи остаются на месте. Мудрое отношение к Отечеству, его вехам, уважение и понимание старших и – понимание и готовность к уважению (если за дело) младших. Герой проговаривает важные слова. Он – продукт реальности, не искажающий ее. И тем убедительнее спокойный его голос, чем точнее формулировки. Мы уже слышали молодого человека, внука, сына, мужа. Может быть, услышим и отца?

Ведь несмотря на то что та самая посылка упакована, место в ней еще есть.

Сергей КУЛАКОВ

Родился в 1964 году в Архангельске. Поэт, прозаик, драматург, переводчик. Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Студия» (Германия), «Союз писателей» (Харьков), «Урал», «Журнал Поэтов», «Волга» и других, американской, немецкой и украинской периодике.

Живет в Ялте.

КОШМАР УЛИССА

Уже довольно значительное время меня не оставляет в покое одна немного странная мысль. Она касается истории странствий небезызвестного древнегреческого царя, рассказанная слепым аэдом почти три тысячи лет назад.

В Гомеровой версии Улисс (разумеется, по воле богов, которым он не всем нравился) почти треть жизни провел в скитаниях, желая лишь одного – поскорее вернуться домой. От начала своих странствий; пожалуй, с того дня, когда он разбрасывал соль по полю, вспаханному странной упряжкой, это желание пустило в нем корни и потом крепло с каждым новым днем, в котором не было ни дома, ни жены, ни сына. Только спустя 20 лет ему удастся вернуться и обрести потерянное.

Кажется, будто призрак Марселя Пруста начертал здесь два этих слова. Это не так уж и абсурдно, как может показаться, ведь история Улисса – всё та же история долгого возвращения к тому, что дорого. Возвращения через многие беды и лишения, сквозь плотную толщу времени, наконец. Так переплетается в литературе далёкое с близким, древнее и современное; пожалуй, только во снах ещё происходят подобные вещи. Однако призраки появляются и исчезают... Пора вернуться к нашему разговору.

Итак, судьба забрасывает Улисса на другой конец известного ему мира, а время погребает под своими пластами. Приходится, извиваясь, выбираться из глухой могилы чужбины, где судьба, время и жестокие – к тому же ещё и жульничающие – боги, хотят его замуровать. Однако настырность этого «ненавистного богам» в достижении своего желания в конце концов удивляет даже обитателей Олимпа, и, наконец, кое-кто из них, вместо того чтобы снова и снова шпынять упрянца, начинает ему помогать.

В истории, изложенной Гомером, Улиссу удастся добраться домой. Кое-кто утверждает (вероятно, основывая свои гипотезы на пророчест-

ве Тиресия), что позже он вынужден был продолжить свои странствия и погиб вдали от дома, угодив в недра Тартара. Кто-то, напротив, считает, что Улисс больше никогда не покидал своего дворца и, состарившись, мирно отправился в поля Элисия. Были такие, кто считал, что погиб он от руки собственного сына, рожденного нимфой волшебного острова. Это не имеет значения. Гомерово повествование завершилось. Мой рассказ движется в ином направлении.

В то давнее время, о котором рассказывает история Улисса, крошечный мир, в котором обитали герои Гомера, казался им огромным. Покидая порог родного дома, странник годами мог пропадать в туманной неизвестности отдаленных областей этого мира... Но разве подобное возможно в наши дни?

Время от времени я размышляю над тем, что современный Улисс каждый день вынужден был бы отправляться в свои путешествия, которые редко уводили бы его далеко от дома. Вечером он возвращается. Вероятно, боги стали крайне педантичны вдобавок к своей изощрённой жестокости: теперь они желают, чтобы Улисс возвращался каждый день, каждый день. В этих дисциплинированных, доведенных до абсурда *same back'ax* и есть новая Улиссиада, а попросту говоря, ад Улисса. Всё перевернуто с ног на голову: боги никому не собираются помогать – им слишком весело от своей новой забавы; Улисс ненавидит богов, ненавидит себя и всё вокруг; Телемаху безразличен отец; женихи, разумеется, не являются в дом Улисса, а Пенелопа сама желает легкого *adultère*, без каких-либо дальнейших обязательств.

Иногда воображение немного меняет эту ужасную картинку. Но незначительно, незначительно: Улисс вообще никуда не отправляется. Лежит на диване, или сидит в кресле, или на стуле (на выбор); читает газету, или смотрит TV, или играет за компьютером (на выбор). Всё остальное не меняется: богам – весело; сын тихо ненавидит отца; с женой тоже всё ясно... Возможно, нечто подобное этим жутким видениям могло сниться Улиссу во время его невероятно долгого скитания, о котором рассказал нам Гомер.

Чуть ранее уже упоминалось о том, что в литературе, как и во снах, часто смешивается то, что происходило очень давно, с тем, что случилось, например, вчера. Отчего не допустить, что во сне может открыться такое, чего никогда ещё не было? То, что даже вообразить бывает невыносимо! Не так ли мучают нас кошмары? Я думаю, что подобные кошмары (в определённой редакции) вполне могли присниться Улиссу либо в доме волшебницы Кирки, либо во время его долгого плена на острове Огигия, затерянном посреди огромного моря.

Далекое — близкое

Герман САДУЛАЕВ

Российский писатель, публицист. Родился в 1973 году в селе Шали Чечено-Ингушской АССР. После окончания школы уехал в Ленинград, где поступил на юридический факультет университета.

Автор ряда книг художественной прозы и публицистики. Сборник «Я — чеченец!» переведен на испанский, немецкий, английский, польский и шведский языки. Рассказы Садулаева включены в антологии современной русской литературы на английском языке, Academia Rossica в Великобритании и Rassказы в США. Финалист премий «Русский Букер», «Национальный бестселлер», «Большая книга».

Живёт в Санкт-Петербурге.

АСЫ И ВАНЫ

В июле 1942 года 4-я воздушная армия потеряла 186 самолётов. Из них 76 самолётов были сбиты противником в воздушных боях. 43 самолёта были сбиты огнём зенитной артиллерии противника. 18 самолётов потерпели аварии, в том числе, разбились при посадке из-за поврежденных, полученных в боях. На земле сгорели 13 самолётов, уничтоженных при налётах противника на аэродромы и подорванных своими из-за невозможности эвакуации. Ещё 36 самолётов числились «без вести пропавшими» с формулировкой «не вернулись с задания», никто не смог заявить о том, что видел, как они падали, сбитые в воздушном бою или огнём ПВО противника, но они не вернулись. За один месяц целая воздушная армия практически погибла.

Согласно справке о боевой работе 4 ВА в воздушных боях в том же июле сбиты 94 самолёта противника и ещё 14 уничтожены на земле; всего 108 самолётов. Если принять эти данные за правду и добавить потери немцев от зенитного огня, то страшные цифры наших потерь окажутся вполне сопоставимыми с потерями немцев. Однако согласно той же справке на земле уничтожено 585 немецких танков. К сожалению, мы не можем признать эти сведения правдивыми. Если бы вермахт понёс такие огромные потери в танках только от авиации, то наступательный порыв немцев иссяк бы уже в июле и захватчики не дошли бы до Терека. Скорее всего, данные о нанесённом врагу атаками «воздух–земля» ущербе завышены в несколько раз. Ведь оценивались они с неба, «на глаз», а проверить в условиях отступления возмож-

ности не было: поле боя снова и снова оставалось за немцами. Вполне вероятно, что и данные об уничтоженных самолётах противника неточны. Но здесь речь не может идти о завышении «в разы», скорее на треть, не более. Потому что сведения о сбитых самолётах тщательно проверялись, да и воздушные бои проходили в небе, у всех на виду, свидетелей хватало. Ты не мог просто написать в отчёте, что уничтожил «585 самолётов».

Наши сбили, согласно отчётам, 42 истребителя «мессершмитт-109», 11 истребителей «мессершмитт-109ф», 3 истребителя «хейнкель-113», 2 истребителя «макки С-200», 16 тяжёлых истребителей «мессершмитт-110», 4 бомбардировщика «хейнкель-111», 9 разведчиков «фокке-вульф-189», 1 бомбардировщик «юнкерс-87», 4 штурмовых бомбардировщика «юнкерс-88», 1 разведчик «хеншель-126», 1 бомбардировщик «дорнье-215». Всего 74 истребителя, 10 разведчиков и 10 бомбардировщиков. Много истребителей и очень мало бомбардировщиков. Это значит, что немецкие истребители хорошо выполняли свою работу: защищали бомбардировщики, которые терзали отступающие советские войска. Краснозвёздные истребители пытались воспрепятствовать бомбардировкам, но «мессершмитты» навязывали им бой в небе, а «юнкерсы» продолжали штурмовать цели на земле. У нас в воздушных боях было потеряно 43 истребителя и 33 бомбардировщика, а ещё 29 сбиты зенитной артиллерией врага. Нашим истребителям не удавалось обеспечить защиту своих бомбардировщиков и штурмовиков так же хорошо, как это удавалось немцам.

Однако говорить о том, что в июле 1942 года в небе над Доном безраздельно господствовали самолёты люфтваффе, а советские самолёты не могли ни контратаковать в воздухе, ни беспокоить наземные части вермахта, было бы несправедливым преувеличением. Иногда и немцы ошибались, а русские пользовались этим, и удача в небе бывала и на нашей стороне.

22 июля около 17 часов над Батайском появились 8 «юнкерсов», шедших с северо-запада на юго-восток. Очевидно, они собирались штурмовать дорожную развилку восточнее Батайска. Развилка была во всякое время суток забита, запружена отступающими войсками, грузовиками, тракторами, а вдоль дороги шёл скот. Самолёты были замечены одиночным МиГ-3, который летел встречным курсом восточнее в верхнем эшелоне на разведку вдоль Дона. Разведчик сообщил в штаб дивизии, и с аэродрома под Батайском немедленно были подняты в воздух 9 Як-1 истребительно-авиационного полка. С высоких небес на русских тотчас же обрушились истребители прикрытия: пара «мессершмиттов», которые шли невидимые над «юнкерсами». Одно звено русских истребителей вступило в схватку с «мессерами», остальные два звена ударили по «юнкерсам».

Штурмовики хорошо защищены от атак спереди, сзади и сверху несколькими пулемётами, но уязвимы для атаки сбоку. «Юнкерс-88» быстрый и маневренный, однако только когда он пустой, а с полным набором бомб становится тяжёлым и неуклюжим. Русские оказались достаточно опытными и хитрыми, зашли в бок, а ещё и от солнца, которое уже катилось от полудня к горизонту заката. Унтер-офицер Артур Дитман, стрелок-радист, сидевший спиной к пилоту, пытался развернуть пулемёт и стрелять по атакующим истребителям, но трассеры улетали в солнце и гаесли в ослепительном блеске. Дитман увидел, как справа взорвался гауптман, командир эскадрильи, его самолёт с грохотом

разлетелся на куски, сдетонировал полный боекомплект. Пилот экипажа Дитмана, лейтенант барон фон Спанхейм, принял на себя командование эскадрильей и отдал по радиации приказ сбросить бомбы. Бомбы полетели куда попало, в основном разрывая на красное мясо гуртовавшийся у обочин скот. Облегчённые штурмовики взмыли в высокие эшелоны неба, развернулись и, бешено огрызаясь пламенем всех пулемётов, уходили к Дону. Серо-жёлтые «мессершмитты» ястребами кружили в смертельном танце с соколами большевиков. Один русский истребитель задымил, подбитый, и снизился, стараясь дотянуть до своего аэродрома. Другие уже не атаковали так беззастенчиво. Но барону не удалось вывести свой самолёт из-под огня. Заглох левый двигатель, что-то горело, штурман-бомбардир сник с окровавленной головой, отрубил хвостовые стабилизаторы, самолёт терял управляемость. Лейтенант приказал прыгать. «Юнкерс» завалился в пике. Сдвинулся фонарь, вывалился барон, за ним Дитмана подхватил тугой противоток воздуха. В небе раскрылись два парашюта. Но Дон был далеко, и спустились лётчики прямо на русских.

На что надеялся барон, непонятно. Когда его на земле окружили русские автоматчики, он пытался отстреливаться из своего испанского пистолета «астра» и был убит. Дитман не стал сопротивляться. Злые, в выжженных гимнастёрках, небритые солдаты обшарили его, отобрали пистолет, зажигалку, портсигар, часы, сумку, грубо связали ремнями, бросили в грузовик и повезли.

Унтер-офицеру Артуру Дитману был 21 год. Он был австрийским немцем и жил в Инсбруке, где его отец держал канцелярскую лавку. Дядя Дитман, родной брат отца, в 1934 году принял участие в тирольском мятеже, а после аншлюса триумфально вернулся в Инсбрук функционером НСДАП. Не дожидаясь мобилизации, старшие устроили Артура в лётную школу. Лётчиком всё же престижнее, чем пехотинцем или даже танкистом. В лётчики шли многие отпрыски дворянских семейств. Для того чтобы стать сразу ещё и офицером, протекции дяди не хватило. С весны 1942 года Дитман был зачислен в экипаж лейтенанта фон Спанхейма, который тоже только что получил звание и должность. Лейтенанту было 22 года. Бомбардир, 36-летний Иоганн Блум, выглядел рядом с ними стариком.

Лейтенант оказался ничуть не чопорным, сразу устранил лишнюю субординацию, не подчёркивал разницу между собой, офицером и бароном, и Артуром, сыном лавочника и солдатом. Он сказал: зови меня просто Хельмут. Но, конечно, только наедине. И пойдём выпьем.

Ах, как они гуляли в увольнительных по кабакам австрийской столицы! Их запасной авиакорпус дислоцировался на большом военном аэродроме под Веной. Где-то на востоке уже шла большая война, непохожая на аншлюс и прочие европейские операции. Время от времени укомплектованные эскадры отправлялись с венского аэродрома в сторону неведомой Азии. Иногда корпус посещали прославленные асы. Рассказывали о том, что коммунисты не умеют летать. У них бумажные самолёты. Каждый немец сбивает дюжину русских на завтрак, а к обеду приносит ещё дюжину скальпов.

Артур запомнил одного лётчика, гауптман Роберт-Георг Фрайхерр фон Малаперт-Нойфвилле был 30-летним, опытным и дерзким, он тоже летал на «юнкерсе». Приезжал весной вдохновлять молодых лётчиков, рассказывал о том, как использовать преимущества немецкого штурмового бомбардировщика, как охотиться на русские самолёты, даже

на истребители. Летом стало известно, что он погиб: при налёте на мост был сбит зениткой, сел в тылу русских, почти пробрался к своим, но, не дойдя несколько шагов до немецкой траншеи, был убит русским снайпером. Точным выстрелом в затылок.

А они с Хельмутом шатались вечерами по прекрасным улицам Вены, чуть в подпитии и в прекрасном настроении. Сладко пахли цветы после дождя, ещё слаще пахли духами венские девушки. Хельмут, человек высокой витальности, крутил сразу пять или шесть романов, но Артур влюбился в одну молодую женщину, преподавательницу музыки. Они встретились случайно во время прогулки. Ларисса несла ноты, картонная папка распахнулась, и линованные листы со значками зашифрованной музыки белыми голубями разлетелись по мостовой. Дитман бросился собирать листы, а подняв голову, увидел над собой редкой белизны лицо, похожее на лица мраморных статуй Девы Марии в католических соборах. Через месяц Артур лежал на кровати дешёвого отеля для свиданий и гладил ноги Девы Марии, Лариссы, гладил, играя, слегка небритые, против короткой жёсткой чёрной щетины, такой, однако, милой. Она была добра и поверила в чистоту намерений Дитмана. Унтер-офицер и не хотел никого обманывать, он сообщил своим родителям о помолвке. Скромную свадьбу решили сыграть после боевого крещения, в первом же отпуске.

Потому что война уже дышала в лицо. Скоро, скоро на восток. Россия пожирала эскадру за эскадрой. Самолёты люфтваффе растворялись в русском небе, как в кислоте.

10 июля 1942 года эскадрилья из 12 «юнкерсов-88» вылетела в город Юзовка освобождённой от большевиков Украины. При Советах город назывался Сталино. Лететь было полторы тысячи километров. По пути сделали две остановки. Не особенно торопились. К месту назначения прибыли 12 июля. И сразу началась работа. Кошмарная работа. По 2-3 боевых вылета в день. Летали за сотню километров от аэродрома, на восток и юго-восток, бомбили и штурмовали позиции русских, потом отступающие, бегущие русские войска. В последние дни бомбили переправы через Дон, заполненные остатками красноармейских частей, техникой, артиллерией на марше. Зенитное прикрытие переправ было слабым. Тем не менее 4 из 12 самолётов эскадрильи получили повреждения и ремонтировались. От русских истребителей надёжно охраняли звенья «мессершмиттов». Погибших и раненых в экипажах до 22 июля не было.

В этот день эскадрилья из 8 боеготовых «юнкерсов» уже отбомбилась по переправе с раннего утра. Вылетали на рассвете, когда алый глаз небес поднимался в лёгком тумане, предвещающая ясный и жаркий день. Вернулись к обеду. Успели поесть в столовой, пока самолёты осмотрели, заправили, зарядили боекомплект, подвесили бомбы. И вылетели снова, на этот раз за Дон и всего с двумя истребителями. Командование заявило, что опасности нет. Русская авиация раздавлена, все русские самолёты сожжены, остатки воздушной армии коммунистов в спешке перелетают за Кубань, на новые аэродромы. «Мессершмитты» полетели добивать подранков в небе. Боевая задача – сбросить бомбы и штурмовать скопление войск на развилке восточнее Батайска, за Ростовом.

«Свободная охота», воздушные охотники, асы. Летать сопровождая «юнкерсы» было скучно. Гораздо веселее рыскать по небу в поисках русских самолётов, летящих на разведку или передислоцирующихся

на новые аэродромы, чтобы свалиться камнем с высокого эшелона, убить и уйти на предельной скорости. Росли результаты, ближе Железный крест, слава аса. С двумя четырёхсамолётными звеньями «юнкерсов» полетели только два «мессершмитта», лётчики остальных отдыхали либо были заняты своей «свободной охотой».

...Привезли в какое-то село, выгрузили, сняли ремень с ног и толчками повели в глиняный дом. В доме развязали руки. Дали воды, опраться, и сразу начался допрос. Допрашивал через переводчика сам начальник разведотдела штаба 4 ВА полковник Дроздов. Спрашивали про часть, про боевые задания. Дитман отвечал. Он где-то слышал, что это нормально. Это не предательство. Попавший в плен солдат может отвечать на вопросы и сообщить номер своей части, имя командира, общую информацию. Только если у него есть особо секретная штабная информация, только тогда он должен молчать. У Дитмана не было особо секретных сведений. Он отвечал. Часть номер 37119. Базируется на аэродроме Юзовка. Сталино? Да, Сталино. Около сотни самолётов. Может, двести. В России с 12 июля. 25 боевых вылетов. Из Австрии. Да, австриец. Вся эскадрилья из Австрии, прилетели из Вены. Да, Венская опера, да, был, да, Штраус. Нет, сам не музыкант. Радист-стрелок экипажа Ю-88. Командир экипажа и звена пилот лейтенант Хельмут фон Спанхейм. Что с ним? Ясно.

На ночь определили в сарай. Дали кружку воды, кусок белого хлеба и большой красный томат. Артур запустил зубы в овощ, и алый сок брызнул на его шею и грудь. От волнений и страхов пробрал понос, и Дитман сидел на отхожем ведре, брызгая фекалиями, не попадая в ведро. Плохо было, что не помыться. Ночью едва спал, забывался ненадолго тревожным сном.

Рано утром конвоир зашёл, повертел носом, сморщился. Велел вынести ведро в отхожую яму, сопроводил. Дал другое, целое ведро чистой воды. Артур помылся, даже штаны слегка застирал. Думал: пока не убили, наверное, будет новый допрос. Но нового допроса не было. Но ведь не зря же кормили, поили, дали поспать и помыться?

Вокруг всё куда-то эвакуировалось. Дитман думал: повезут в тыл, в штаб, в лагерь военнопленных или передумали и тут расстреляют? Видно же, бегут, до пленных ли им? И, говорят, красные пленных расстреливают сразу после допроса. Дитман подумал: это жаль. Ведь он ещё молод. А Ларисса... выходит, что он её обманул... забрал её невинность на застиранных простынях отеля для свиданий, а оставил не женой, не вдовой, а чёрной невестой, но ведь он не хотел, он не хотел так. И Хельмут мёртвый. Весёлый Хельмут теперь мёртв. Почему же так вышло?.. Да чёрт с ними, с Лариссой и Хельмутом, себя, себя жалко. Дитман сидел у сарая рядом с конвоиром и тихонько плакал.

Конвоир ткнул прикладом и сказал: давай, фриц, шнель! Артур встал и пошёл. Ноги дрожали и грудь тряслась. Дитман ждал выстрела в затылок. Но конвоир толкал его к грузовику. Пленного связали, снова бросили в кузов, вместе с мешками, ящиками, с каким-то имуществом, двое красноармейцев с винтовками сели на ящики, постучали по крыше кабины: поехали! Грузовик тронулся. У Дитмана отлегло. Если не расстреляли сразу, значит, эвакуируют! В тыл, в штаб, в лагерь. Значит, он будет жить! И, может быть, скоро вернётся домой, в Австрию. Через полгода война закончится. Русские подпишут какой-то мир. Может, у них отнимут западные территории, как уже не раз отнимали. Война всегда заканчивается миром. Главное – выжить. И пока что это полу-

чается. Дитман молился Иисусу Христу и Деве Марии, сжимая свой серебряный крестик, который не отобрали при пленении солдаты. Дитман был католиком, не протестантом, как немцы из Германии. Что касается нацистов, то с их верой всё было сложно. Дядя Дитман говорил, что надо возродить древнюю веру в германских богов. Древних германских богов называли асами. Асы. Теперь асами звали лучших из лётчиков. Ведь они тоже летают, как боги. И побеждают в небе. Асы враждуют с ванами, ваны тоже боги, но древние, варварские. Как русские иваны – ваны. Асы обязательно победят. Когда асы не побеждают, наступает рагнарёк, но до этого ещё далеко. Дитман верил в асов, ванов и Рагнарёк, но думал, что сейчас лучше молиться Деве Марии, потому что она добрая, как Ларисса, и Христос добрый, а ему, Дитману, сейчас нужна доброта богов, нужно прощение, потому что он пленный, он сбитый ас, он на земле, в плену у иванов, а Дева Мария может его защитить, и молитвы Лариссы.

Дитман думал сумбурно, кочковато, и кочковатой была дорога, трясло на ухабах, и с каждой встряской мозги словно бы начинали думать заново и по-новому, хотя всё время про одно и то же: очень хотелось жить. Ехали по просёлку час и два, потом выехали на шоссе и влились в медленный, тягучий, как сусло и венозная кровь, вязкий поток машин, тракторов с прицепами, усталых и безразличных людей, лошадей и повозок. Дитман лежал на спине и смотрел в небо, ярко-голубое небо, перевёрнутое ложе асов. Чистое небо. Пустое. Без облаков. Без русских истребителей. И ему стало страшно.

Скоро с запада раздался гул двухмоторных бомбардировщиков. Дитман узнал по звуку. Он приподнялся на локтях и вскоре увидел. Шли «юнкерсы», не 88-е, не венской эскадрильи, другие, 87-е. Дитман взмолился: где же русские асы, где русские ваны, иваны, русские истребители?! Смотрите, вот идут «юнкерсы» убивать вас, русских, и меня вместе с вами, меня, унтер-офицера Артура Дитмана, австрийца, католика, о, Дева Мария, подними с аэродрома русские истребители, защити меня, защити нас!

Но Дева Мария не слышала. Безучастной несказанно белой мраморной статуей она стояла в нишах католических церквей Вены, склоняла голову свою над младенцем Иисусом Христом и то ли улыбалась, то ли плакала, а бомбы падали на дорогу, пулемётные очереди били в камни и пыль, люди бежали от обочин, кони вставали на дыбы, грузовики переворачивались и горели, и алый сок человеческих тел надрывал трещащую от напряжения жизни бледную тонкую кожу.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

О. А. Рябов

ШЕФ-РЕДАКТОР

Андрей Иудин

МАКЕТ

Арсения Костромина

ДИЗАЙНЕР ОБЛОЖКИ

Анатолий Гришин

КОРРЕКТОР

Лев Зелексон

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Валерия Белоногова

Николай Бенедиктов

Дмитрий Бирман

Ирина Горюнова (Москва)

Диана Кан (Новокуйбышевск)

Елена Крюкова

Захар Прилепин

Андрей Рудалёв (Северодвинск)

Роман Сенчин (Екатеринбург)

Евгений Эрастов

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Сергей Горин

Олег Захаров

Людмила Калинина

Александр Котюсов

Ольга Лисятникова

Владимир Седов

Выпуск издания осуществлен
по заказу
правительства
Нижегородской области

Издание осуществлено
при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
в Федеральной службе по надзору
в сфере связи, информационных
технологий
и массовых коммуникаций
ПИ № ФС77-60285
от 19 декабря 2014 г.

УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ ООО «КНИГИ»

Адрес редакции:
603057, Нижний Новгород,
ул. Бекетова, 24/2, ООО «Книги»
Тел. (831) 412-16-04
Рукописи принимаются в редакции
или по электронной почте:
jurnalnn@yandex.ru
Сайт журнала: www.jurnalnn.ru

Тексты для публикации присылаются
отдельным файлом Word с указанием ав-
торства, наименования произведения и
краткой биографической справкой. Неот-
корректированные рукописи с большим
количеством ошибок не рассматриваются.

Редакция не вступает в переписку.
Рукописи не рецензируются и не возвраща-
ются. Ответственность за достоверность
фактов несут авторы материалов. Мнение
редакции может не совпадать с мнением
авторов.

При перепечатке материалов ссылка на
журнал «Нижний Новгород» обязательна.

Подписано к печати 04.08.2020.
Выпущено в свет 26.08.2020.
Формат 70×108 ¹/₁₆. Усл. печ. л. 21.
Тираж 800 экз. Заказ
Свободная цена.

Отпечатано в АО «ИПК «Чувашия»,
428019, Чувашская Республика,
Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, д. 13